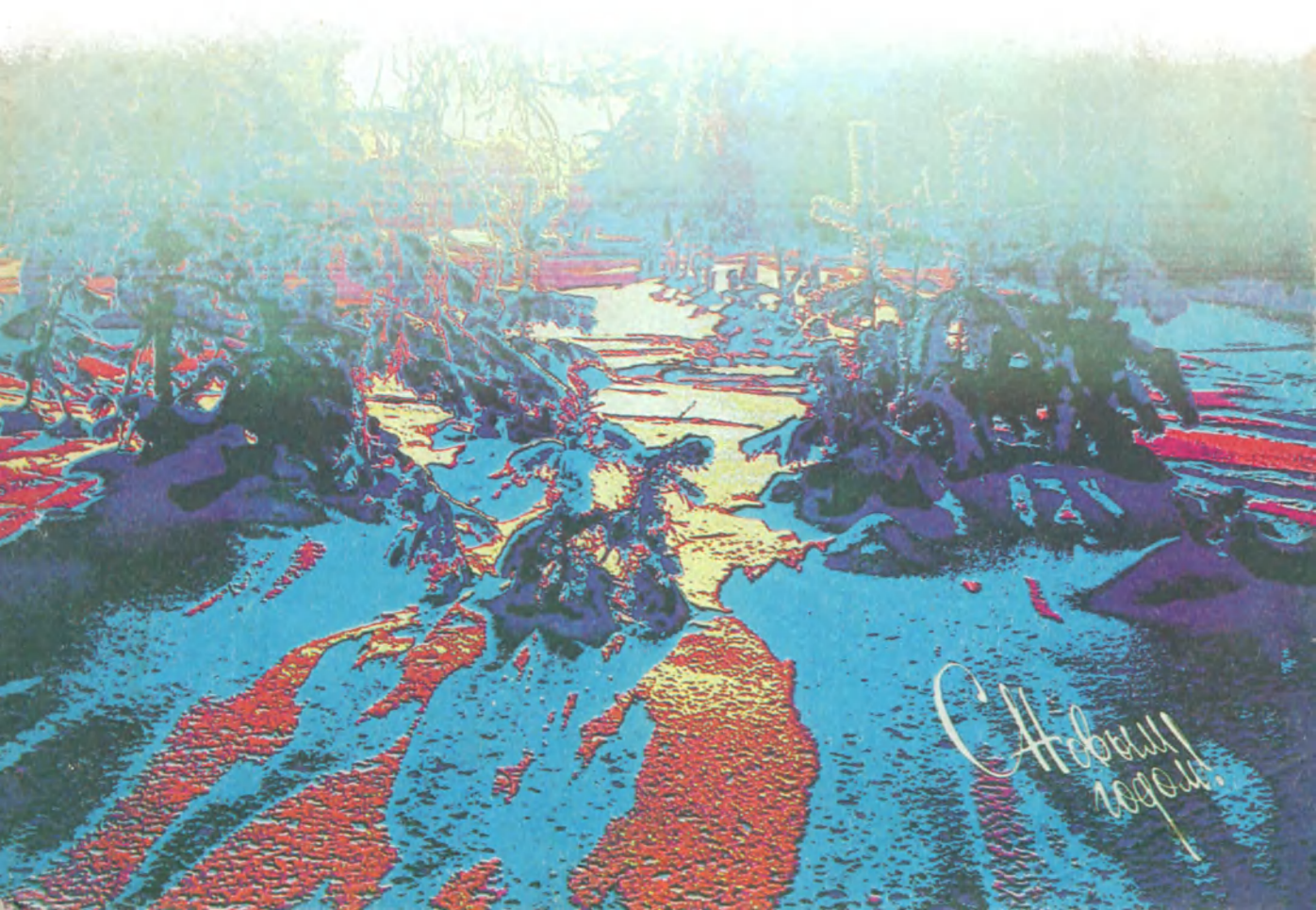


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

1 '86



С Новым годом!



А. МОРДАНЬ.

Рабочий.

ЮНОСТЬ

1⁽³⁶⁸⁾

86



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Мария ОЗЕРОВА
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда»
Москва

В НОМЕРЕ:

Проза

Евгений ЦЫГАНКОВ. Рассказы	4
Сатеник МКРТЧЯН. Самый старый сапожник. Рассказ	12
Роланд ШАРОЯН. Выше облаков, дальше звезд. Рассказ	15
Георгий СЕМЕНОВ. Жасмин в тени забора. Повесть	21
Олег ШЕСТИНСКИЙ. Рассказы	59

Поэзия

Назир ХУБИЕВ	11
Виктор ВИШНЯК	18
Буллат ОКУДЖАВА	19
Махмуд ЮЛДАШЕВ	55
Юрий САПОЖКОВ	56
Григол АБАШИДЗЕ	57
Николай НАТАРОВСКИЙ	58
Таир ТАЙСОГЛЫ	69
Иван ТАРБА	82
Михаил АНДРЕЕВ	83

Публицистика

Год съезда	3
Павел ПЭНЭЖКО. Хутор на Киренге	63
Ксения АВДЕЕВА. Что же дальше!..	70
Артем БОРОВИК. «Из глубин ада взываю...»	77

Критика

Вячеслав САВАТЕЕВ. Живая сила традиций	84
Лев РАЗГОН. Необыкновенные собеседники	89
Ал. ГОРЛОВСКИЙ. Поэзия и судьба	90
Нина ИСКРЕНКО. Вернемся к Вознесенскому	92
Константин ВАНШЕНКИН. «Предстоит на свете жить...»	97

Литературная юность

Кому дописывать повесть!	95
------------------------------------	----

Наука и техника

Инга АГЛИЦКАЯ. «Спасибо, коллега!»	100
--	-----

Спорт

Геннадий ШВЕЦ. Кто перепрыгнет футбольные ворота!	105
В. НАЙПАК. Знакомьтесь: Яна Цаплина	109
Ю. ЛЕОНИДОВ. И вновь — Андрей Чесноков	109

Зеленый портрет

Анатолий ПРЕЛОВСКИЙ. Иронические миниатюры	110
Берите в руки карандаш...	111
Владислав ДЬЯКОВ. Осуществление мечты	112
Юрий ШАНИН. Без переэкзаменовки	112

Оформление обложки
С. Костромина.

Художественный редактор
О. Кокин.

Художник
Ю. Цишевский.

Технический редактор
О. Трепенюк.

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького,
№ 32/1.

Т е л е ф о н ы:
Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел критики — 251-96-76
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83
Отдел сатиры и юмора 251-05-06

Сдано в набор 04.11.85.
Подп. к печ. 03.12.85.
А 15043
Формат 84×108¹/₁₆.
Высокая печать
Усл. печ. л. 12,18.
Уч. кр.-отт. 18,48
Тираж 3 300 000 экз.
Изд. № 73
Заказ № 1825.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865 Москва А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

Письмо
читателю

ГОД СЪЕЗДА



руг наш читатель!

Перевёрнуты первые листки календаря 1986 года. Наша страна, а вместе с нею и мы с вами уверенно вступили в новый год жизни. Чем характерен он и чем отличается от предыдущих лет? Восемьдесят шестой—это год очередного съезда нашей партии, на котором будет утверждена новая редакция Программы КПСС, приняты изменения в Уставе партии и Основные направления экономического и социального развития страны на двенадцатую пятилетку и вплоть до третьего тысячелетия. Это год серьезных перемен, которые во многом будут носить переломный характер.

Из Основных направлений вы знаете, что за оставшиеся пятнадцать лет нынешнего века намечено создать такой экономический потенциал, который по своим масштабам будет примерно равен накопленному за все предшествующие годы Советской власти. И создавать его нам с вами: и тем, кто уже сегодня занят в общественном производстве, и тем, кто пока еще учится — наращивает знания за школьной партой или в студенческой аудитории. Огромная ответственность ложится на наши плечи. Многие придется пересмотреть, передумать, переделать. Нужно перестраиваться психологически, а это нелегко. Значит, помимо добросовестного, высокопроизводительного труда, от вас потребуются и изрядные бойцовские качества: принципиальность, умение до конца отстаивать общественные интересы, неукоснительно следовать линии нашей партии на ускорение социально-экономического развития страны.

Вы знаете, что эта линия всесторонне обоснована. Она опирается на лучшее из опыта, накопленного за годы Советской власти, на могучие резервы нашего общества.

«Мы строим железную дорогу на Ямбург,—пишет в редакцию Виктор Молозин из Тюменской области.—И как эта стройка не похожа на ту, которую мы вели под Тобольском в конце шестидесятых, нацеливаясь на Сургут! Здесь мы работаем быстрее и качественнее, хотя вроде бы и техника прежняя, и квалификация у моих подопечных — монтеров пути — самая обычная. А секрет — в принципиально ином подходе к делу. Да, верно, мы выкладываемся на работе, как говорится, до конца, но не физически изнуряя себя. Прежде чем приступить к делу, мы думаем, коллективно держим совет, задаем друг другу вопросы. Как сократить простои, заблаговременно заготовить рельсы и шпалы? Как заставить технику работать с большей отдачей, а наших смежников — ритмично и без проволочек? Как сэкономить, чтобы экономия не оказалась во вред, не отразилась бы на качестве? Наконец, как наилучшим образом организовать быт строителей, чтобы человек не испытывал неустраиваемости?»

Прославленный строитель, Герой Социалистического Труда Виктор Васильевич Молозин хорошо понимает, что без нормальных условий для жизни и отдыха невозможно серьезная деловая отдача.

Минувшим летом журналистская бригада «Юности» побывала на КАТЭКе,—на строительстве Березовской ГРЭС и города энергетиков и угольщиков Черненко. Картина перед нами предстала тревожная. Хотя город было задумано построить «по уму», без палаток и временок, межведомственные распри, недооценка научных рекомендаций привели к тому, что жители города Черненко до недавнего времени не имели ни достаточного количества магазинов, ни кинотеатров, ни стационарных поликлиник. Родильный дом размещался в квартирах. Жилья хронически не хватало. Бывали перебои с водой, электричеством, теплом. По-разному реагировали молодые строители на эту ситуацию. Многие уезжали. А вот бригада Игоря Спивакина бросила вызов неустраиваемости. По примеру свердловчан, построивших МЖК — молодежный жилищный комплекс, ребята с КАТЭКа своими силами, в нерабочее время, в основном из некомплектных деталей построили пятиэтажный сорокаквартирный дом для себя и особо остро нуждающихся. Дом этот — загляденье. К сожалению, молодежная инициатива не всем пришлась по душе и на каком-то этапе даже встретила сопротивление: «Не за свои дела берутся!» Из поля зрения был выпущен почин, свидетельствующий о высокой сознательности, гражданской и политической зрелости бригады Игоря Спивакина и большого числа молодежи города, которая хотела бы последовать их примеру.

«Сегодня, как никогда, важно, чтобы слова обязательно подкреплялись делом,—пишет комсомольский работник из Приморья Юрий Бертых.—Политическая работа, воспитание молодых немыслимы только на словах и лозунгах, без тесного увязывания с практикой наших дней. Истина вроде бы старая, а как часто мы о ней забываем и красиво говорим о необходимости эффективно работать, порой не позаботившись о создании нормального быта или условий для работы».

В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на октябрьском Пленуме ЦК КПСС вы могли прочесть вот эти слова: «Только через хорошо продуманную экономическую стратегию, сильную социальную политику и целеустремленную идейно-воспитательную работу, взятые в их неразрывном единстве, можно активизировать человеческий фактор, без которого не может быть решена ни одна из выдвинутых задач...» Это одна из главных забот нового года — года XXVII съезда партии.



**XXVII
СЪЕЗД
КПСС**

Вьюга

ЕВГЕНИЙ
ЦЫГАНКОВ



РАССКАЗЫ



х, какая же разыгралась вьюга!.. Она то утихала, то с воем набрасывалась на избу и, разбившись об нее, от бессилия плакала на разные голоса в печной трубе, в каждой незаделанной оконной щелочке. Стонала в сених и под крышей.

В такую погоду хорошо сидеть дома. Забраться в теплую постель и лежать, слушая тоскливые вьюжные песни, и думать о чем-нибудь приятном...

Верочка Снигирева, молодой сельский врач, отложила книгу, выключила ночник и, зябко поеживаясь, натянула одеяло до самых глаз.

Заканчивался третий год ее пребывания в селе, куда она попала по распределению, и Верочка с нетерпением ожидала конца этого «заточения». Она даже завела маленький календарик, где крестиками зачеркивала прожитые в селе дни. Верочка никуда не ходила: ни в кино, ни в гости, ни тем более в клуб на танцы — решительно презирала все это. Вечерами сидела дома — смотрела телевизор или что-нибудь читала. Сельскую жизнь считала убогой и однообразной. И даже ее работа, о которой она когда-то мечтала, сделалась ей почти противной.

«Еще целых девять крестиков впереди! — с ужасом думала Верочка. — Господи, даже не верится, что это когда-то кончится». Она тихо вздохнула и крепко зажмурила глаза.

За окном по-прежнему бесновалась вьюга. На кухне возилась тетка Поля, пятидесятилетняя женщина, хозяйка дома, где жила Верочка. В ногах у Верочки дремал кот Тимоха.

Вдруг кто-то громко постучал в дверь.

— Кого эт там несет на ночь-то? — пробурчала недовольно хозяйка и вышла в сени.

До Верочки донеслись невнятные голоса, затем звякнул дверной засов, и в дом ввалился парень, заляпанный снегом.

— Буди, тетка Поль, врачиху! — громко сказал он. — Отцу чтой-то плохо — живот схватило! — И добавил: — Ух, и метет, зараза! Аж дых перехватывает...

— Чезо орешь-то? — оборвала его хозяйка. — Не на улице... Поспать девке не дают... Живот у него схватило! — передразнила она парня. Так, без злобы. — Опять небось сала с молоком натрескался — вот и схватило. Есть-то ведь по-культурному не умеют. Молотють все подряд. — Она в упор посмотрела на парня. — До утра-то чезо, не потерпит разве жеребец этот, папаня твой?..

Верочка, свернувшись калачом, слушала разговор, в смутной надежде, что парень согласится с хозяйкой и уйдет.

— Да я б не пришел, — оправдывался тот. — Петровна меня послала, медсестра. Потискала отцу живот, послушала и говорит мне: «Беги, Василий, за Верой Сергевной. Чтой-то я не пойму ничего». Вот я и прибежал.

Верочка соскочила с кровати, надела джинсы и свитер и вышла на кухню. Поздоровалась с Василием.

— Я сейчас, быстренько, — говорила она, надевая сапоги на шпильках, — она специально ходила в са-

Детям
«ЮНОСТИ»

погах только на шпильках, подчеркивая этим временность своего пребывания здесь.

— Не-е, Вера Сергеевна, ты эти ходули сыми. В них по такой пурге идти...—Василий осекся,— устанешь идти...— Он указал на хозяйкины валенки, что снушились возле печки: — Во-о! Одевай! А чемоданчик давай я понесу...

Они вышли на улицу. Ветер дул отовсюду: сбоку, сверху, снизу. Идти было далеко — километра полтора, аж на самый конец села.

— Иди след в след за мной! — крикнул Верочке Василий.

Но не прошли они и половины пути, как Верочка устала.

Она спотыкалась о собственные валенки, шмыгала носом и дышала так часто, будто поднималась в гору. Снег набивался под одежду, таял на шее и обжигаящими струйками стекал на спину и грудь. Все тело было мокрое от испарины и от талого снега. Верочке захотелось упасть прямо тут в снег и заплакать. Ох, как же она ненавидела сейчас этого Василия, его отца и вообще все это село!

«Да что ж я такая невезучая! — с горечью думала она.— Надо же в такую тьму попасть. Здесь и врач то не нужен. Все равно ведь, если что-нибудь серьезное, то в район или в город отправляют. А мне остаются грипп, понос да старики с радикулитом. Утешай их, как дурочка, успокаивай. А они ходят и ходят каждый день. Понять не могут, что старость не лечат. Что от нее одно средство... Так ведь и совсем все позабудешь — торчишь в медпункте, «Крестьянку» листаешь.— Верочка вытерла варежкой мокрый подбородок — Люди как-то умеют свою жизнь устраивать. Справки разные достают, родителей больных где-то откапывают. Даже браки фиктивные делают. А меня вот угораздило — одну из всей группы! У-ух! — продолжала злиться на себя Верочка.— И чего я, дуреха, до Свиридова не пошла? Ведь с третьего курса про свадьбу мне жужжал. Жила б сейчас спокойнонько в городе, работала в поликлинике. Красота!.. Так нет же — вон куда занесло!.. А председатель, таракан старый, психолога из себя строит! Домом с винтовой лестницей соблазняет, двухэтажным. Да живи ты сам в этом доме и ходи по своей лестнице с утра до ночи! Все равно ведь больше ходить некуда».

Верочка ускорила шаг, догоняя ушедшего далеко вперед Василия.

«Да, прав Свиридов: дыра, она и есть дыра. Три года!.. Одно утешение — денег хоть накопила. Тратить-то их тут некуда... Эх, скорей бы уж лето, да уехать отсюда! Тащись вот по сугробам неизвестно зачем...»

— Всё-о! — прервал ее размышления Василий.— Пришли! Вот наше крыльцо — заходи...

Больной, Митрофан Егорович, огромный мужик, лежал на диване в большой, ярко освещенной комнате. На лице его серебрились крупные капли пота. Он прерывисто дышал и тихо постанывал. Возле него, закусив нижнюю губу и изредка смахивая слезу, сутулился его жена, Варвара Прохоровна. Медсестра, Клавдия Петровна, сидела за столом.

Осмотрев больного, Верочка спросила его:

— Митрофан Егорович, вы с аппендицитом к врачам никогда не обращались?

— Да, было дело,— облизывая сухие губы, ответил тот.— Давно еще, на курорте когда отдыхал. Схватили — не в продых. Правда, скоро прошло, и я не дался резать-то.

— Ясно...— Верочка задумалась. Потом подошла к медсестре: — Клавдия Петровна, в район надо звонить. Срочно нужен хирург. Случай серьезный.

— Что ты, Вера Сергеевна! — отмахнулась та.— Да

какой же теперь район?! Ты глянь, на дворе-то что делается! По шоссе они, может, еще проедут, а вот потом как? До нас-то пятнадцать километров пешком, что ли, потащатся? В такую круговорот к утру только доберутся. Так что про район забудь... А позвонить-то оно, конечно, надо.

— Да как же это? — Верочка растерянно смотрела на медсестру.— Ведь его срочно оперировать надо! Клавдия Петровна, вы же хирургическая сестра, должны понимать!

— Я, Вера Сергеевна, все понимаю. Только вот резать Егорыча нам с вами придется.— Она развела руками.— Вот так вот.

— Да вы думаете, что говорите? — вскрикнула Верочка раздраженно.— Я те-ра-певт, а не хирург. Ясно? Разницу улавливаете?!

— Улавливаю, улавливаю... Так что же, ждать будем, когда он помрет? — Клавдия Петровна говорила спокойно, ровно.— Аппендикс-то теперь студенты на практике вырезают. Ведь у вас же была практика?

— Была...— Верочка махнула рукой.— Да когда это было! Я уж и не вспомню ничего...

— А верно! — вмешался в разговор Василий.— Я тоже слышал, что сейчас студенты аппендициты режут. А чё там — чик, и нету. Ты, доктор, не дрейфь!

— Да ты что мелешь, сынок?! Ведь это ж отец твой родной! Господи, что ж это за дети пошли: никакой жалости к родителям нет,— запричитала Варвара Прохоровна.— Да нешто она сможет чего, пигалица эта в жинсах?! Свиною вон заколоть и то не каждый может. На два села один Гаврила только спциалист.— Она вытерла платком слезу.— А тут ведь человек, а не скотина какая-то...

Верочку разозлили ее слова. «Да что я в самом деле? Врач я или нет? Что я их слушаю?!» — подумала она и неожиданно для всех строго сказала:

— А ну-ка выйдите отсюда все!

Василий и Варвара Прохоровна опешили.

— Вы что, не слышите? — продолжала Верочка.— Я же к вам обращаюсь. Вы мне мешаете. Выйдите в другую комнату!

Те вышли.

Через полчаса больного привезли на больших санках в медпункт. Хирургический кабинет был вполне подходящим для такой операции.

— Резать придется под местным наркозом,— констатировала Клавдия Петровна.

— Да...— Верочка потерла пальцем переносицу.— Желательно бы общий... Не знаю, что и делать.

— Как это «не знаю»? — Василий непонимающе смотрел на Верочку.— А кто ж, кроме тебя, знает?! Ты клятву давала?..

— Да при чем тут клятва?..

— Как при чем?... Раз давала — значит, режь!

— Ты, Василий, чем попусту болтать, привяжи-ка лучше отцу ноги к кушетке. А то брыкнет ненароком,— вступилась Клавдия Петровна.— Н-а вот простынку.

— Эт мы запросто,— говорил Василий, скручивая простыню.— Держись, батяня. Щас я тебя...— Он подбадривающе подмигнул отцу.

— Ну, вот...— Клавдия Петровна потрогала узел.— А теперь ступай в коридор, покури часок. Да успокой там мать-то, а то, поди, все губы себе искусила...

Минут через пятьдесят операция закончилась. Верочка, бледная, с воспаленными веками, поминутно щупала у больного пульс и смачивала влажной салфеткой рот.

— Как, Клавдия Петровна? — взволнованно спрашивала она.— Пронесло, а?

— Да успокойся ты, дочка. Все нормально,— отве-



чала та.— Вишь, засыпает уже Егорыч-то. Крепкий мужик...

Барвара Прохоровна, увидев мужа живым, проследилась и обняла Верочку:

— Ты не сердчай на меня, милая. Мужик он ведь мой. Испугалась я.— Она вдруг отшатнулась от Верочки.— Э-э, да у тебя, никак, жар?!

— Да, знобит что-то,— поежилась Верочка.— Наверное, простудилась, когда к вам шла. А может, переволновалась,— призналась она, улыбнувшись.

Клавдия Петровна потрогала ее лоб.

— Ступай-ка ты, Вера Сергеевна, домой,— сказала она.— А мы тут с Варварой побудем. Теперь-то уж чего... Теперь уж все нормально. Ступай спокойненько. Слышь ты, Гиппократ,— обратилась она к Василию,— проводи доктора.

— Да я ее щас в саночки и до дому галопом! Вон на дворе-то уже успокоилось.

Верочка поначалу отказывалась, говорила, что она врач и долг врача — находиться возле больного, но женщины уговорили ее.

— Хорошо,— согласилась Верочка.— А если что— сразу же присылайте за мной.

И они вышли.

...Тетка Полина, взглянув на Верочку, ахнула и набросилась на Василия:

— Что?! Ухандокали девуку-то! Глянь, как ее трюсит всю!

Она помогла Верочке раздеться, уложила в постель. Напоила ее горячим чаем с медом, накрыла еще одним одеялом.

— Вот так...— говорила она.— Таперича вся простуда потом выйдет. Спи, девонька, спи...

А рано утром забежал Василий. Справился у хозяйки о Верочке и, успокоенный, убежал в мастерские.

Чуть погода зашла Барвара Прохоровна. Принесла меду и малинового варенья.

— Вот видишь,— говорила она со слезой Верочке.— Из-за нас и сама захворала. Закружились мы со своим Митрофаном. А за своим-то горем чужой

беды не видеть... Ну, ничего, пройдет. Ты девка молодая, организма крепкая. Вот попьешь чайку с малинкой — и все как рукой сымет. А вот это вот — отварчику попьешь.— Она вынула из-за пазухи пучок сухой травы.— Слышь, Полина, ты докторше отварчик приготовь. От ево хорошо спится. А сон-то, он лучше всяких лекарств...

— Как там Митрофан Егорович? — наконец перебила ее Верочка.

— Э-э! Митрофану-то моему теперь совсем хорошо. Матерится уже вовсю. Вот... Ну, побегу я, милая. Будь здорова!

И она ушла.

Хозяйка взяла траву и отправилась готовить отвар. А Верочка лежала и улыбалась. Хорошо ей было, спокойно. И даже отчего-то неловко за себя перед Варварой Прохоровной.

«Вот ведь какая удивительная женщина,— думала Верочка.— Только вчера еще был при смерти самый близкий ей человек, а уж сегодня, едва тот пришел в себя,— она здесь и чуть не плачет. Как волнуется за меня! А я, дуруха, на нее еще злилась. Накричала даже... Надо бы извиниться...»

К вечеру зашел председатель Иван Захарович.

— Ну, Вера Сергеевна! — развел он руками.— Слово просто нету — герой! Да ты не улыбайся, не улыбайся. По нашему времени — так точно герой! Ведь ты не просто человека спасла, ты еще и самого ценного работника в колхозе спасла. За это непременно орден давать надо.— Он покрутил головой, сказал, усмехнувшись: — Это ж надо — без наркозу, а?.. Да как же ты, такая махонькая, и такого бугая стреножила? Чудно!.. Вот видишь, какая у тебя профессия нужная. А ты уезжать от нас собираешься...

Председатель направился к выходу. В дверях остановился и, запинаясь, спросил:

— Так как, Вера Сергеевна... квартиру с винтовой лестницей... станешь смотреть? Сосед у тебя наш главный инженер будет. Хороший мужик. Толковый. А главное — надежный.

— Подумать надо,— пожала плечами Верочка.— Время еще есть. Вот в отпуск пойду и подумаю.

— Оно, конечно, время еще есть, думай.

Рисунки Ю. Вечерского



Иван Захарович нахлобучил шапку и вышел.

— Тоже мне сват выискался,— ворчала тетка Полина, остужая отвар переливанием из кружки в кружку.— Мы тут и без него сообразим как-нибудь. Получше инженера его найдутся.— Она подала Верочке кружку с отваром.— Накосся, выпей отварчику...

Скоро у Верочки стали слипаться глаза. Мысли текли медленно и ровно, будто струя сладкого сиропа. Она чувствовала, как проваливается куда-то, словно в пух.

«А ведь это очень даже хорошо,— думала она,— дом с винтовой лестницей на второй этаж. И окна — прямо в сад. А весной... Какой, должно быть, красивый вид в сад весной!.. Чудо!..»

Верочка улыбнулась и так с улыбкой заснула.

А когда подошел Верочкин отпуск, председатель сам отвез ее в город на машине. Прощаясь, спросил:

— Так каким цветом лестницу в доме красить, Вера Сергеевна?

— Белым, Иван Захарович,— твердо ответила Верочка.— Только белым...

Но после отпуска Верочка не вернулась в село. Осталась в городе у родителей. И хотя все было законно — три года она ведь отработала, — совесть сильно мучила ее первое время. Верочка называла себя трусихой и даже дезертиром.

Потом все начало как-то забываться, и Верочка будто бы успокоилась. Свиридов сделал ей предложение, она согласилась. И потекли городские будни уже со своими заботами и проблемами. Все было нормальным... Как у всех...

Только вот зимой, когда случалась вьюга, Верочке становилось не по себе. Она подолгу стояла у окна и, зябко кутаясь в модную шаль, вглядывалась в снежное месиво. И ей казалось, что вот-вот кто-то громко постучит в дверь и, ввалившись в квартиру, крикнет с порога: «Буди врачуху!..»

Верочка с волнением вслушивалась в малейшие шорохи в прихожей. И так ей делалось тоскливо, что плакать хотелось...

Роза в огороде



беденный перерыв закончился, и ремонтно-механический цех нехотя просыпался.

Токарные станки, попискивая, облизывали стальные заготовки языками с победитовыми напайками, вгрызались в металл прочные фрезы, перестукивались слесарные молотки. «И-эх, и-эх, и-эх!» — весело вскрикивали напильники. Пахло машинным маслом и мытым кафелем полов.

Из кабинета начальника цеха вышел старший мастер Гаврилов Павел Иванович, исполняющий обязанности заболевшего начальника. Оглядел цех и, увидев в дальнем углу за столом кучку рабочих, направился к ним. Проходя мимо доски показателей, он зацепился пуговицей пиджака за ветку плюща, свисавшую со стены.

— Ох, Голубева,— проворчал он,— насажала тут джунгли. Нет бы своим делом заниматься! — Со злостью оборвал ветку и швырнул ее в урну.— Тоже мне, технолог! Присылают в цех фифочек разных...

А в центральном пролете Гаврилов увидел саму Голубеву. Та, стоя на цыпочках, пыталась поставить плошку с цветком на кронштейн, укрепленный на колонне.

— Павел Иванович,— обратилась она к Гаврилову, когда тот поравнялся с ней,— помогите, пожалуйста! Никак не дотянусь — высоко очень.

— Некогда мне, Голубева, ерундой всякой заниматься,— грубо ответил Гаврилов.— Цех надо запустить, а не цветочки разводить!

— Ну какая же это ерунда, Павел Иванович? — удивилась та.— Сами же на собрании говорили, что цех — наш второй дом. А раз дом, значит, в нем должно быть уютно и красиво.

— Угу,— Гаврилов усмехнулся ехидно,— вы им еще занавесочки на окна повесьте, дорожки ковровые постелите и пивной ларек во-он в тот угол

поставьте! Они здесь такой дом устроят... Займитесь-ка лучше технологией. Вон чертежей-то сколько в конторе скопилось.

И Гаврилов заспешил дальше.

— Атас, мужики!.. — зашептались рабочие, увидев неподалеку Гаврилова. — «Полголовы» чешет...

— Да че там «атас», — оборвал их Генка Тычкин, высокий рыжий парень в засаленной спецовке. — Доиграть-то ведь надо! — И он с размаху шлепнул костяшкой домино по столу.

— Ну, сколько можно?! — с ходу налетел на рабочих Гаврилов. — Что мне вас, палкой гонять?! Последний раз предупреждаю: увижу еще домино в рабочее время — долбану по тридцать процентов с каждого! — И он направился к токарям.

— Да, совсем поплохел наш старшой, как за начальника стал, — говорил Генка, перемешивая домино. — Изнервничался весь. Вон до чего дошел — по тридцать процентов! Это ж надо! И кого? Цвет рабочего класса! Костяк, так сказать, цеха. Жалко мне его, мужики. Надорвется ведь наш Гаврила. С кем тогда останемся?

«Мужики» тихо хихикали, выбирая себе костяшки большими корявыми пальцами.

— О-о! — Генка привстал, заметив идущую к ним Голубеву. — Технологиюшка наша идет... С чем пожаловали, Ирина Акимовна? — заулыбался он.

— Вот, — Ирина показала на плоску с цветком, — хотела поставить, да не дотянусь. Не поможете?

— Сей минут... Витенька, сынок, — повернулся Тычкин к молоденькому ученику слесаря, — помоги тете.

Тот встал, взял у Ирины плоску и, покачиваясь, медленно поплыл по пролету.

— Мамошка... — прошептала Ирина, провожая двухметрового Витеньку восхищенным взглядом.

— Ирина Акимовна, — обратился к ней Генка, — давно хочу спросить: вы замужем?

— Нет, а что? — растерялась та.

— Ай-я-яй! — Тычкин закачал головой. — Какой позор, мужики! Всему мужескому роду позор! Такая девушка пропадает. — Он сделал серьезное лицо. — Ну, ничего, я это дело исправлю... Как, Ирина Акимовна, я вам подойду?

— Нет, — быстро ответила она.

— Это почему?! — опешил Генка.

Ирина провела ладонью по его куртке и, показав всем рыжие от мазута и масла пальцы, сказала:

— Мне же после каждого свидания по часу отмываться надо будет.

— Га-га-га! — заржали «мужики». — Жених!

— Так это же я на работе, — оправдывался Тычкин.

— Тем более. И потом, — продолжала Ирина, — вы же, Тычкин, будете опаздывать.

— Кто?! Я?! — возмутился Генка. — Да никогда в жизни!

— Ну, как же... — Ирина посмотрела на наручные часы. — Уже двадцать минут, как перерыв кончился, а вы все «козла» забиваете. Вот так и на свидания.

— Мужики!.. — крикнул Тычкин. — По ко-оням! — И кинулся к своему верстаку.

— Как ваш внук, Петр Кузьмич? — немного погодя спрашивала Ирина самого старого в цехе рабочего.

— Да уж бегает всюду. — У Кузьмича под глазами заиграли морщинки.

Ирина взяла с верстака пачку заляпанных грязными пальцами чертежей.

— Я тут, Петр Кузьмич, забыла один узелок по операциям расписать.

— Э-э, Ирушка, — Кузьмич махнул рукой, — да кому она нужна, технология эта? Разве что Витьке, уче-

нику. И то вряд ли. А мы-то ведь шестой год одни и те же узлы ковыряем. Зажмурившись, собрать можем.

— Нет, надо, — говорила Ирина. — Это моя работа.

Она отыскала нужный чертеж и быстро расписала на оборотной его стороне технологическую карту сборки по операциям.

— Петр Кузьмич, — Ирина положила чертеж на верстак, — вы мне в одном деле не поможете?

— Что такое?..

— Мне нужны данные о всех работниках цеха. Ну, в смысле даты рождения, имена и отчества их.

Кузьмич вопросительно глядел на Ирину.

— Хочу доску поздравлений сделать, — объяснила она. — С днем рождения. Вы же в цехокоме, а в профсоюзных карточках все это есть.

— С днем рождения, говоришь? Это ты хорошо придумала. Это надо. — Он вынул из кармана большой ключ и протянул его Ирине. — В сейфе, на второй полке...

— Спасибо!.. — Ирина взяла ключ и пошла в контору.

А Кузьмич смотрел ей вслед и думал: «Вот ведь наградила природа ее добротой. Аж через край. Не расплескала б только...»

В конторе было тихо, как в музее. Нормировщик Вить, студент-заочник, аккуратно строчил контрольную по экономике, запустив растопыренную пятерню в косматую голову. Гаврилов с линейкой в руках склонился над планом своего гаража. Экономист Клава доканчивала Бальзака, конспиративно лежащего в выдвинутом ящике стола. Правая рука Клавы покоилась на электронном калькуляторе — на всякий случай. В углу, обложившись кучей нарядов, сидел мастер монтажного участка Шульга — человек прямой и открытый.

Ирина быстро переписала всех работников в свой блокнот. На завтрашний день выпадали два именинника: токарь Прошкин и уборщица Валя. Набросав текст поздравления, Ирина подошла к нормировщику.

— Вить, — попросила она, — напиши красивенько на двенадцатом формате.

— Да ты что, Голубева?! — замахал тот руками и показал на большую пачку чертежей, лежащих на его столе. — Глянь, сколько! И все пронормировать надо. А когда?

— Ну, Вить, — упрасивала Ирина, — ну, пожалуйста. А я тебе помогу потом с чертежами.

— Ладно, — обрадовался Виктор. — Тащи тушь и ватман...

Закончив объявление, Виктор прочел его вслух. Громко прочел. Все непонимающе уставились на него.

— Что это? — спросил Гаврилов.

— «Молния», — спокойно ответила Ирина. — А что? Во всех цехах такие висят.

— Молодец, технолог! — поддержал ее Шульга. — А то иногда так закрутишься, что и день своего рождения забудешь.

— Да вы что?! — выпучил глаза Гаврилов. — Прошкина, пьяницу и прогульщика, с днем рождения поздравлять?.. Ну, Голубева, ты даешь...

— А что, Прошкин не человек разве? — спросила Ирина. — Он, кстати, уже месяц на работу трезвый ходит. И не опаздывает. — Она взяла объявление и вышла из конторы.

— Продраили его на собрании, вот и... Кому ж охота «тринадцатой» лишаться? — бурчал Гаврилов.

— Да нет, не в «продраили» дело. — Шульга оторвался от нарядов. — Я вот иду как-то на той неделе на работу, а рядом — Прошкин. Идет и рукой



полу пиджака поидерживает. Чего это ты, спрашиваю, тащишь, Прошкин? Не твое дело, говорит, отстань!.. Ну, я, конечно, отстал. А в раздевалке гляжу — он из-под пиджака цветок вынимает. Столетник... А ты говоришь «продраили». И вообще, Гаврилов, — продолжал Шульга, — ну, чего ты к технологю цепляешься? Ведь хорошее же дело девчонка затеяла.

— Да она технолог, а не цветовод! — кипятился Гаврилов. — Давайте сейчас все побросаем свои дела и начнем тут грядки сажать, рыбок заведем в аквариуме.

— Обезьяну можно купить, — хохотнул Виктор.

— Ну зачем же всем бросать свои дела? — Шульга начинал заводиться. — Пусть одна Голубева занимается. У нее это неплохо выходит. И, если уж мы не можем ей чем-нибудь помочь, то давайте хотя бы не будем мешать. А что касается обезьяны, Витек, то одна у нас уже есть. Или ты имел в виду самку?

— Ох и язва же ты, Шульга, — обиделся нормировщик.

— Да не язва я, Витя. Простр зло меня берет, что мы на собраниях горланим про порядок, дисциплину, культуру производства. А как до дела доходит, как появляется у нас какая-нибудь Голубева, то мы сразу забываем свои слова. Как же: глядя на нее, ведь неудобно оставаться в стороне, надо ж тогда и самому что-то делать. А за это не платят. Да и лень

не велит. Остается одно: говорить, что Голубева занимается не своим делом... А может, вот с этих цветочков, вот с того столетника, что Прошкин притащил, и начнется в нашем цехе культура производства?

— Ну, Шульга, это ты лишнего хватил, — усмехнулся Гаврилов.

— А что?.. Ты вот вспомни лучше, каким был цех три месяца назад, до прихода Голубевой. Грязь везде, окурки на полу, объедки, тряпки промасленные.

— Верно! — подхватила Клава. — В цех без халата войти нельзя было.

— А теперь... — продолжал Шульга. — Цветы кругом, чистота. Окурки на пол стыдно бросить. И люди друг перед другом лучше выглядеть захотели. В чистоте-то ведь и самому хочется чище быть. Не замечал?.. А ведь это уже дисциплина, Гаврилов. Понимаешь?

— Да, легко тебе рассуждать, Шульга, — раздраженно проговорил Гаврилов. — А план-то ведь с меня требуют. — Он посмотрел на часы. — О, заболтались мы. Шестой час уже, домой пора. — И, попрощавшись, поспешно вышел из конторы.

На другой день Ирина, придя на работу, долго не могла понять, откуда в цехе так много синевы. А когда увидела улыбающегося Тычкина, все стало ясно: и Тычкин и все рабочие были в стиранных робах.

— Ну, как теперь, Ирина Акимовна? Гожусь?! — Генка гордо оглядел себя.

— Теперь вроде ничего, — отвечала Ирина, сдерживая улыбку.

А Гаврилов стоял посреди цеха и бестолково хлопал глазами.

— Слышь, — обратился он к Кузьмичу, — чего это они все стиранные ходят? Комиссия, что ли, какая? Предупреждали бы...

— Да не бойсь... — успокоил его Кузьмич. — Пристыдила их Голубева, вот они и постирались.

— А-а... — облегченно вздохнул Гаврилов. — Опять эта Голубева. Что за девка — чем угодно занималась бы, только не своим делом.

— Ну, не скажи, Пал Иванович, — говорил Кузьмич. — Ведь инженер — это не ходячий справочник. Человечек он. А в Ирушке-то как раз есть душа. И забота.

— Да что мне ее душа? — сказал Гаврилов. — Какую она цеху-то пользу приносит? Как технолог — никакой! Так — роза в огороде, красота одна, а проку никакого. Лишняя она здесь, в цеху, твоя Голубева. В отделе ей посидеть надо годик-другой.

— Какой прок, говоришь? — Кузьмич посмотрел на Гаврилова. — Вот ты с чего рабочий день начинаешь? Со сменных заданий. Это, конечно, нужно. Без этого нельзя. Но ведь на работу-то люди с разным настроением приходят. И вот тут, после тебя, Ирушка. Подойдет, поговорит, за жизнь спросит. Утешит, подбодрит. Настроение-то у всех и выравнивается. Ты представляешь, Пал Иванович, весь цех в одном настроении работает!.. В хорошем! А работа, она настроение любит. И кипит работа. А ты говоришь, лишняя. Нужная она! Ведь ее здесь кто дочкой считает, кто сестрой, а кто и женой даже воображает. — Кузьмич улыбнулся одними глазами и предложил: — Слышь, Пал Иванович, а ты б зашел как-нибудь ко мне в гости.

У Гаврилова удивленно взлетели рыжие бровки.

— Жинка моя отличного варенья наготовила, — продолжал Кузьмич. — Из лепестков роз, кстати. Ох, вкуснятина!

— Все тебе, Кузьмич, хаханьки! — обиделся Гаврилов и добавил: — Ошалели вы все от этой Голубевой... Ничего, когда-нибудь она ткнется носом в свои цветочки. Подождите...

Долго ждать не пришлось.

Однажды в конторе раздался телефонный звонок, и в трубку пробили голос директора:

— Гаврилов, что там с пятым блоком?..

— Собирают... — растерянно ответил тот.

— А ты знаешь, что во втором цеху третья линия из-за этого блока стоит? Продукцию цех не дает. И наладчики японские без дела шляются — блок твой ждут. А мы им валютой платим. Ты меня слышишь, Гаврилов?

— Да, Константин Андреевич, слышу...

— Так вот... Даю тебе три часа. В четырнадцать ноль-ноль доложишь о готовности.

— Ясно. — Гаврилов осторожно положил трубку и метнулся в цех. — Мужики!.. — обратился он к слесарям Скрыпову и Бугаеву — те собирали пятый блок. — Кровь из носу, чтоб к двум часам блок был готов! А завтра можете с обеда на работу выходить...

Ровно к двум часам блок был собран.

— Ну, молодцы! — говорил, улыбаясь, Гаврилов. — Не подкачали... Проварили хорошо. — Он постучал молотком по сварному шву корпуса. — Нормально...

— А как насчет завтра? — спросил Скрыпов.

— Как обещал — с обеда выходит. Заработали! — Гаврилов хотел уже идти в контору, как вдруг заметил на верстаке маленький фторопластовый клапан. — Откуда он здесь? — спросил испуганно. — Он же должен быть там! — Гаврилов показал на блок.

— Так ведь спешили же, — оправдывался Скрыпов. — Вот и забыли в спешке-то клапан вставить. Ты ж собирал?! — крикнул он Бугаеву. А сам отворачивался, стараясь не дышать на Гаврилова. Случайно взглянул на обратную сторону сборочного чертежа пятого блока и обрадованно сказал: — Так ведь запутались мы. Технологии-то на чертеже нету. Гаврилов вопросительно смотрел на Ирину.

— Что это значит, Голубева? Клубочки-цветочки в голове! — Он ткнул пальцем в корпус блока. — А вот вам и ягодки. Извините, Ирина Акимовна, но этот хомут я на себя вешать не буду. Доложу все, как есть. Я ведь предупреждал, что это до хорошего не доведет.

К верстаку подходили рабочие. Все понимали, что во втором цехе люди теряют заработок из-за пятого блока.

А Ирина стояла растерянная. У нее пылали щеки, дергалась нижняя губа, из глаз готовы были брызнуть слезы. Она хотела что-то сказать, но передумала и, закрыв лицо ладонями, побежала по пролету к выходу.

— Пал Иванович! — раздался пронзительный голос экономиста Клавы. — Вас к телефону...

— Ну, вот. — Гаврилов беспомощно развел руками. — Дождались. Что я директору скажу?.. — И он медленно побрел в контору.

—...Что, козлик? — спрашивал Тычкин у Скрыпова. — Хорошо водочку-то кушать? Сколь вчера допинга принял?..

— Да что вы, ребята, — оправдывался тот. — Не пил я вчера. Так, чуток...

— Какой там чуток?! — сурово загалдели рабочие. — Прет от тебя перегаром... Чуток!..

— Так ведь и технологии вон нету на чертеже, — лепетал Скрыпов.

— Брось дурочку валять! — кричал Тычкин. — У тебя пятый разряд!.. Это Гаврилову будешь мозги вкручивать! «Собрать согласно чертежу» — вот и вся технология...

— Ну, что базар подняли? — К верстаку подошел Кузьмич.

— Да вот, клапан забыли вставить, — вяло сказал Бугаев.

Кузьмич осмотрел со всех сторон блок, пощупал сварной шов.

— На века... — пробурчал он сердито. Спросил: — Это кто ж это додумался корпус-то сварной делать? Сборный же был раньше, на болтах.

— Да Гаврилов докумекал, — пояснил кто-то. — Экономия времени, говорит. Целых три часа.

— Рационализатор, едри его... — усмехнулся Кузьмич. Вынул папиросу, покрутил ее пальцами. — Вот тут вот, — он постучал прокурным ногтем по чертежу, — прожечь дыру в корпусе, рассверлить ее. Вставить клапан и заварить опять.

— Гений! — вскрикнул Генка. — Ты, Кузьмич, просто гений!.. Витька! — позвал он ученика. — Тащи резак и аргон...

А Гаврилов, придя в контору, постоял немного возле стола в нерешительности, потом поднял телефонную трубку и прошептал:

— Гаврилов слушает...

— В чем дело, Гаврилов?! — спросил директор. Голос был недовольный. — Половина третьего уже...

— Тут такое вышло, Константин Андреевич... — И Гаврилов доложил ему о случившемся.

— Да-а... — протянул директор. — С вами не соскупишься... Значит, так: для начала напишешь объяснительную на мое имя. А на технолога своего — докладную. С завтрашнего дня пусть в отдел главного технолога идет. Я позвоню в кадры. И в цех чтобы она ни ногой больше! — Помолчав, спросил: — А что

же с блоком делать? Нельзя как-нибудь этот клапан туда вставить?

— Надо подумать... — ответил Гаврилов.

— Не подумать, а попробовать! — отрубил директор. — Даю тебе еще два часа, Гаврилов. Действуй! В трубке зачастили гудки.

А часа через два блок был уже во втором цехе — Тычкин сам отвез его туда на тележке. И хотя рабочий день закончился, в курилке стоял галдеж.

— И как это меня угораздило про технологию ляннуть?! — возбужденно говорил Скрыпов. — Еще этот сосед вчера вечером приперся... посидеть! Не выгнать же?..

— Да ладно тебе, не горюй! — успокаивал его Тычкин. — Обошлось ведь все. Жалко вот, технолога нашего вы подвели. Обидится теперь. Надо поговорить с ней завтра, объяснить, что не со зла ведь...

Но на другой день «мужики» напрасно косили глаза на цеховые ворота — Голубева не появлялась. Не было ее и на следующий день и через неделю.

Когда же Клава сообщила всем (под секретом), что Ирину перевели в отдел, «мужики» завозмущались.

— Надо к директору идти, — говорил Тычкин. — Всем только. Пусть отменяет свой приказ.

— Да что директор... — вздыхал Кузьмич. — Гаврилов ведь обидел-то ее. А она гордая. Не вернется, даже если приказ исправят. Говорил я уж с ней. Плачет... Вот если б Гаврилов извинился и сам ее попросил, тогда б другое дело. Но ведь это ж Гаврилов.

— А может, его тряхнуть хорошенько? — предложил Генка.

— Ты что? — осадил его Кузьмич. — Рехнулся, что ли? Тут надо потоньше. Надо так сделать, чтоб он сам до этого дошел. — Он докурил папиросу и швырнул окурочок прямо на пол. — Ясно?..

Месяц подходил к концу. Цветы в цехе пожухли и стали обсыпаться.

— Я не дворничиха! — кричала уборщица Валя Гаврилову. — Листву собирать не буду!

Рабочие затребовали, чтобы все чертежи были расписаны по операциям, пронормированы и расценены.

Гаврилов срочно собрал нормировщика и экономиста — прикинуть процент выполнения плана. Виктор перевернул кучу справочников, но те утверждали одно: нормы есть нормы, а расценки есть расценки. Клава сожгла электронный калькулятор. Гаврилов принес новый, но и тот упорно показывал одно и то же — 75 процентов!

— Прощай, премия! — заголосили итээровцы.

А Гаврилов решил, что ему самое время заболеть. Он сунул под язык таблетку валидола и, схватившись за сердце, зашпешил в санчасть. Но цеховой врач Капитолина Федоровна не нашла ничего серьезного.

— Главное — покой! — говорила она, провожая его до двери кабинета.

Гаврилов вернулся в цех. У цеховых ворот остановился и огляделся. Сердце в самом деле защемило. Из курилки валом шел дым. Генка Тычкин сидел у верстака, вытянув вдоль скамейки ноги. Глядя сквозь оконную муть, громко выл:

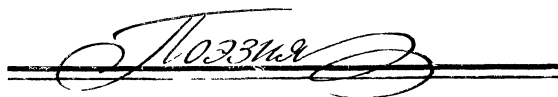
— Ж-журавли улетели-и!

А-ах, ж-журавли улетели-и...

Лишь один с перебитым крылом позабы-ы-ыт...

Из цветочных плошек сиротливо торчали сухие былки. И только плющ нагло разбросал свои кучеряшки по стене, закрыв ими всю доску показателей.

— А-а! — Гаврилов махнул рукой. — Гори оно все!.. — И пошел в контору. Сел за Иринин стол и набрал номер телефона отдела главного технолога...



НАЗИР ХУБИЕВ



☆☆☆

Увидел тебя я впервые — летели
Над пиками гор облака, облака...
С тех пор и хранишь ты тепло колыбели
И вкус материнского молока.
А я тебя помню — о детская память! —
Летящей сквозь ливни под клекот орлов,
В ликующем пламени горных тюльпанов,
Бросающих отблеск на снег облаков.
В ладонях моих серебро водопада,
Не звон ли его я для песни искал!
И сам я, как дерево горного сада,
Врастаю корнями в расщелины скал.
И в сердце моем ты гнездишься орлицей,
Спасибо, что в нем свой приют обрела.
И ежели этим бы мне не гордиться,
То лучше погибнуть от взмаха крыла.

Перевел с карачаевского М. ТАРАСОВ

☆☆☆

Слепящие вспышки мгновенны и строги,
В горах над Эльбрусом все небо в огне,
И сердце орла в необъятной тревоге
В гнезде над ущельем, в седой вышине.
Гроза громыхает. Мгновенье настало:
Сомкнулись потоки, сливаясь в падун.
И черные тучи упали на скалы,
И в страхе помчался к обрыву табун.
Ты скачешь верхом на коне темногирвом
Стрелой между пропастью и табуном,
И лошади ржут, подвигаясь к обрыву,
И снова гроза полыхает огнем.
И сердце твое замирает тревожно,
Бесстрашное, сильное сердце орла,
Храпит над обрывом твой конь осторожный,
И молнией белой сверкает стрела.
На горы легли уже черные тучи,
Слепяще дрожат громовые лучи,
Ревет и беснуется ветер летучий,
Колхозный табун ты спасаешь в ночи.
Орла не спугнешь грозowymi ветрами,
И молнии не испугают орла.
И клекот орлиный звучит над горами,
Гроза на вершинах костры разожгла.

Перевел В. ПОТИЕВСКИЙ

САТЕНИК
МКРТЧЯН



Сатеник Мкртчян живет и работает в Ереване. Училась в Ленинанканском медучилище, затем окончила Ереванский государственный университет, выпустила две книги для детей. В республиканских газетах и журналах неоднократно печатались ее рассказы, статьи, очерки. Рассказ «Самый старый сапожник» — первая ее публикация в центральной прессе.

САМЫЙ СТАРЫЙ САПОЖНИК

РАССКАЗ

Детям
в «ЮНОСТИ»

К

огда мой большой мир был огромен, как наш маленький город, а маленький — с нашу огромную улицу, которая начиналась от чудесной облупившейся будочки старого сапожника и кончалась трехэтажной школой с толстыми колоннами, я, хоть и позже, чем взрослые, но зато совершенно самостоятельно обнаружил, что все птицы моего мира любят старого сапожника, а старый сапожник — всех птиц мира. Но взрослые знали и еще кое-что, о чем я пока не догадывался и, значит, не мог открыть для себя: они таинственно говорили, будто птицы слетаются к окошку сапожной будочки потому лишь, что сапожник делит с ними свой «хлеб насущный».

Я знал разный хлеб, который выпекали в то время: белый, черный, круглый, квадратный, — не знал только тот, который назывался насущным. И чтобы увидеть загадочный насущный хлеб, я каждое утро, как только просыпался, бежал к будочке, но всегда опаздывал. Там не оставалось не только насущного, но даже крошек самого-самого обычного хлеба, потому что птиц было много, потому что они были не насытны и просыпались раньше меня, а может, раньше самого сапожника... И я стал спрашивать у взрослых, что такое «насущный».

— Насущный, малыш, это каждодневный, — отвечали они и шли по своим делам.

Я знал каждодневный хлеб, потому что хлеб обязательно должен быть каждый день, но он не был насущным, он был обыкновенным, без вкуса, без запаха и без формы — пока его не купишь в магазине.

Мне надоела непонятливость взрослых, поэтому я остановил Ветер и спросил:

— Что такое «насущный»?

А он легкомысленно зашептал мне на ухо:

— Я приду и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и во все остальные дни, и у тебя будет насущный ветер. Ты не рад этому?

Я беспомощно улыбнулся и спросил Луну:

— Может, хоть ты знаешь, что такое «насущный»?

— Знаю, — мягко ответила мне Луна. — Завтра я похудею, послезавтра — еще больше, послепослезавтра стану совсем тонкой, но и тогда и во все остальные дни я все равно останусь луной и буду с тобой. И у тебя будет свой кусочек луны насущной...

В отчаянии я открыл свое сердце звездам и попросил их объяснить мне, что такое «насущный». И они заулыбались мне, кокетливо подмигивая лучистыми глазками:

— Насущные — это мы, твои бесчисленные-бессчетные звезды, потому что будем улыбаться тебе и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и во все остальные дни... Это мы, мы, твои звезды!

— Значит, вы мои?

— Твои, твои...

— А я — ваш?

— Наш, наш...

— Тоже насущный?

Звезды грустно замолчали, и я понял, что запутался в собственных вопросах, поэтому опять стал крутиться возле будочки старого сапожника.

И так как все это было очень похоже на сказку, то злые силы подговорили мальчика по имени Ми-

казл и послали его стрелять из рогатки по птицам, которые собирались у будочки старого сапожника. Но камень из рогатки удивительным образом не попал ни в одну из птиц, зато угодил прямо в оконное стекло и разнес его вдребезги.

Птицы с чириканьем разлетелись в разные стороны, задал стрекача и Микаэл, а старый сапожник вышел из своей будки и, приложив ладонь козырьком ко лбу, посмотрел вслед то ли птицам, то ли удирающему Микаэлу.

Я побежал домой, взял большой лист стекла, который только вчера принес отец, и, кряхтя, потащил его сапожнику, чтобы все стало на свои места и чтобы эта сказка кончилась так же счастливо, как и все другие сказки.

«Тук-тук-тук» — еще издали услышал я привычное постукивание молотка. Я сунул голову в приоткрытую дверь будочки, с восхищением взглянул на приколпленные к стенам старые, вылинявшие картинки из журналов, посмотрел на стоявший возле двери залатанный стул, вдохнул странно пахнущий воздух будки, а под конец удивленно уставился на молоток в руках у сапожника, который стучал по пустой «лапе» для туфель: тук-тук-тук... И тогда я догадался, чего не хватает, чтобы эта будочка стала настоящей сапожной будкой: здесь не было ни одной пары туфель, даже ни одной порванной тапочки...

Я тихонько кашлянул, сапожник вздрогнул от неожиданности и посмотрел сперва на меня, а потом на мое стекло.

— Я... — начал я, стараясь говорить как ни в чем не бывало, но ничего не смог сказать дальше и только повторил: — Я...

— А, это ты... — улыбнулся сапожник. Его словно поймали на месте преступления.

— Я принес вам стекло, — быстро, чтобы не забыть, ответил я ему. — А вы что, чините свой столик?

— Спасибо, — поблагодарил меня сапожник и поглядел на молоток в своей руке. — Да, что-то ножка расшаталась...

Мы почему-то посмотрели друг другу в глаза, потом сапожник снова стукнул молотком по «лапе».

— Эта ножка у стола все время выскакивает, — сказал он.

— Одна — это еще ничего, — ответил я. — Вот у нас есть стол, так у него не одна даже, а целых две ножки расшатались, и бабушка говорит, что давно уже пора его выкинуть. — Потом подумал, что бы мне еще сказать, а когда понял, что ничего больше не смогу добавить, пробормотал: — Ну, я пойду, а то у вас, наверное, много дел...

— Да не так уж и много, — сказал старый сапожник. — Но если ты спешишь, то иди.

— Ой, как хорошо, что вы не очень заняты! — воскликнул я. — Ведь мама велела отнести вам в починку мои сандалии.

— Ну да? — прищурился сапожник.

Я кивнул и сказал:

— Если вы согласны, то я побегу за ними.

— Что поделаешь, — развел руками старый сапожник, — если надо, я оставляю все другие дела и...

Я отнес старые сандалии сапожнику и сразу же после этого отыскал своего друга Армена, и мы отправились к его бабушке.

Ровно три раза Армен начинал говорить бабушке о ее доброте. И каждый раз бабушка улыбалась, а потом спросила:

— Так, а теперь скажи, что тебе все-таки надо?

И на четвертый раз Армен сказал, что же ему надо:

— Старые туфли, бабушка, или хотя бы старые тапочки, вот что мне надо.

— Зачем это? — удивилась бабушка.



Рисунок В. Красновского

— Понимаешь, я отнесу их старому сапожнику, он большой мастер, наверное, самый большой из всех сапожников...

— Он действительно большой мастер,— сказала бабушка,— ему, должно быть, лет сто.

— Я совсем не это хотел сказать,— обиделся Армен.

— Мне-то зачем, что ты хотел сказать? — больше него обиделась бабушка.— Зачем мне твои слова, если ты не хочешь слушать, о чем говорю я!

Армен понял, что испортил все дело, и попытался исправить ошибку:

— Но ведь это невероятно, бабушка,— вздохнул он.— Целых сто лет!.. А что, ему действительно сто лет?

Бабушка немного оттаяла, но ответила все еще обиженно:

— Когда взрослые говорят, надо верить! Он уже был старым человеком, когда шил мне свадебные туфли.— И задумалась, что-то вспомнив.— Какие были туфли!

Армен подмигнул мне и спросил бабушку:

— А он шил хорошие туфли?

— Хоро-ошие,— протянула бабушка,— хорошие... Чудесные туфли он шил.— И, смахнув пальцем со щеки какую-то соринку, повторила:— Чудесные туфли! — Потом вдруг очнулась от воспоминаний и сказала спокойно и грустно: — Но туфель ты не получишь.

— Почему?

— Потому что сейчас он не чинит, а портит вконец. Сто лет — это вам не шутка.

— Но, бабушка...

— Оставьте меня в покое,— строго сказала бабушка.— У нас дома нет таких туфель, которые можно выбросить, неважно, до починки или после.

На улице Армен сказал мне:

— Подумаешь, велика важность — пара туфель! Во-первых, я их все равно достану, а во-вторых... Ты еще увидишь, что я придумаю во-вторых!

А потом каждый день к будочке сапожника стали приходить ребята — приносили в починку туфли и тапочки или забирали уже починенные.

Старый сапожник с утра до вечера стучал молотком, клеил и зашивал, а если выпадала свободная минута, выносил из будочки свой стульчик, садился на солнце и беседовал с прыгающими вокруг птицами и детьми.

— Твой приход оказался счастливым для меня, малыш,— иногда говорил он мне,— и стекло твое оказалось счастливым, и сандалии твои были счастливыми...

— Ну да? — удивлялся я, не отрывая взгляда от птиц, которые никого не боялись.

Изменился старый сапожник. Я даже стал уверять Армена, что его бабушка ошиблась насчет возраста сапожника, и Армен пожимал плечами, но соглашался со мной.

Не узнать теперь старого сапожника. Каждый день он придумывал что-нибудь: то вешал новые картинки на стены будочки, то собирал всю окрестную детвору и раздавал конфеты, а однажды — и это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни — позвал в свою будку проходившего мимо старого мусорщика, и они вместе тоскливо смотрели куда-то вдаль и пели...

Да, очень изменился старый сапожник!

— Знаешь,— сказал он мне как-то с таинственной улыбкой,— знаешь, что я купил? — Потом понизил голос и шепнул: — Краску! Большую банку краски. Покрашу свою облупившуюся будку, обязательно покрашу!

Я тут же кинулся сообщать эту радостную новость Армену, но он как раз шел мне навстречу с парой рваных туфель в руках.

А однажды... Нет, в тот день никто не умер и не родился на нашей улице. А просто в будку сапожника вошел, неся что-то в фартуке, довольный мусорщик.

У меня вдруг перехватило дыхание, и ужасно захотелось, чтобы случилось землетрясение, наводнение или обвал,— в общем, то, что заставило бы повернуть от дверей старого мусорщика. Но... Но ничего не произошло: даже с соседней улицы никто не завопил отчаянно: «Авария!». И так как ничего не случилось, старый мусорщик вошел в будочку, чуть приоткрыл фартук, чтобы было лучше видно то, что он принес, и широко улыбнулся:

— Возьми, это тебе!

Старый сапожник посмотрел в фартук и глухо спросил:

— Что это?

— Туфли! — еще шире улыбнулся мусорщик.— Старые туфли и тапки.

— Вижу,— простонал сапожник,— вижу, что старые туфли и тапки, но откуда?

— Из мусорной кучи,— небрежно ответил мусорщик.— Люди сейчас хорошо живут, выбрасывают такие вещи, которые еще долго можно носить, тем более, что они даже починены. Словом, выбирай целые места и потом снова используй.

Старый сапожник устало закрыл глаза и совсем тихим голосом сказал:

— Ладно, положи все в тот угол...

Туфли с грохотом посыпались на пол. Выросла целая куча, а на самой верхушке ее красовались мои ботинки, только вчера побывавшие в починке у старого сапожника.

Сапожник молча посмотрел на ботинки, потом на меня, и я выскочил из будки.

В тот день раньше обычного ушел домой старый сапожник...

А на следующий день я сам накрошил хлеба шумевшим у окна сапожной будки птицам; и так на следующий день, и на третий, и во все остальные дни, потому что по какой-то непонятной причине не открывалась будка и не показывался старый сапожник. Птицы потихоньку разлетались, и мы с Арменом никак не могли вернуть их обратно, к этому окошку. А когда стало ясно, что больше не откроется будка старого сапожника и, значит, не прилетят сюда птицы, я окончательно убедился, что хлеб насущный — это совсем не каждодневный хлеб, а что-то совсем иное, может, вроде «тук-тук» молотка, которое принадлежало старому сапожнику и вместе с ним исчезло отсюда навсегда...

г. Ереван.

Перевел с армянского
Н. АЛЕКСАНИЯ

РОЛАНД ШАРОЯН

Роланду Шарояну 33 года, он член Союза писателей СССР, автор трех книг. Окончил факультет журналистики Ереванского государственного университета, работал на телевидении, на студии телефильмов. Живет в Ереване. В центральной печати публикуется впервые.



и мысленно уходил, убегал от дома, от сельмага, канцелярии колхоза, убегал от бредущих за водой женщин, чтобы увидеть одну-единственную — свою жену: сначала свою жену, затем мать своего сына, затем — доярку и потом — женщину гор. Должен был приехать и увидеть. Сойти с коня так, будто хочет только посмотреть на сына, будто просто нельзя оставлять коня без дела, а поговорить с заведующим фермой стоит целой жизни, стоит того, чтобы вспоминать потом без конца подобную чепуху. Но, как ни странно, никому и в голову не приходили все эти выдуманные причины. И женщины, и пастухи, и заведующий фермой решат: не выдержал — прискакал. А женщины начнут судачить: дескать, слабый мужчина, вот

ВЫШЕ ОБЛАКОВ, ДАЛЬШЕ ЗВЕЗД

РАССКАЗ

и примчался. И заведующий фермой скажет: «Между нами, мужчинами, и хорошо, что приехал. Жалко твою Луснак». А ведь все так и будет. Поэтому отец не хотел ехать в горы: он не мог позориться ради одной ночи.

...Он открыл глаза и увидел, что лежит на траве рядом — коса. Отец устал от дел, коса — от безделья.

А в эту же минуту мальчик вошел в шалаш и остановился возле спящей матери. Мальчик засомневался, спит ли она на самом деле, потому что сон у женщины в горах — если она одна — должен быть чутким, а раз мать не просыпается, когда в шалаш входят, значит, делает вид, что дремлет, или не боится никого, даже мужчины. Если бы она боялась мужчины, не было бы Тирана Шатояна, этого тридцатилетнего паренька, сына, сукина сына, щенка, поросенка. Значит, мать не боялась и заснула. Но как же это получилось, что мальчик, ее сын и сын гор, входит, а сердце матери, пусть даже спящей, не вздрагивает, грудь не вздымается, родной запах при вдохе не щекочет ей ноздри, не заполняет легкие. Мать спит, отвернувшись к стене; последний раз разомкнула-сомкнула веки, разомкнула-сомкнула и заснула, а в закрытых глазах отпечатались приклеенная к стене кусочком теста страница районной газеты с улыбающейся фотографией и подписью: «На снимке — знатная доярка колхоза «Ашнак», депутат сельсовета Луснак Сарибекян». Мальчик поглядел на фото матери и опустил голову.

Где-то залаяла собака.

Мать обернулась, и мальчик не заметил, когда она успела открыть глаза.

— Стадо вернулось, — коротко сказал мальчик.

— Весь в отца, слова лишнего не выманишь.

— Только что вернулось, — раздраженно добавил мальчик. Он бы все отдал в эту минуту, чтобы отец оказался рядом.

Детям
«ЮНОСТИ»

Мать подтянула накиннутый на ноги черный халат, надела его. Мальчик подумал, что она все-таки очень похожа на мать с фотографии, даже сейчас — без улыбки.

— Поешь хлеба с сыром, я скоро вернусь.

Мать взяла ведро для молока, покосилась на сына и вдруг, будто случайно, протянула руку — взъерошила мальчику волосы — и опустила.

Когда она ушла, мальчик стал смотреть на почерневшую от копоти хлебную вилу, с одним загнутым концом и другим — заостренным, которую сам мальчик, и его мать, и отец называли вертелом. А раз есть вертел, должен быть и тонир, где выпекается хлеб и откуда его достают этим вертелом, — так, наверное, рассуждали бы археологи через тысячу лет, но через тысячу лет не останутся ни вертела, ни тонира, и следы этих людей можно будет отыскать только на холмах.

Пожелтели покосные травы в подножье горы.

На холме опустели дома — никому не вернуться.

Поработав на славу, уснули в полях косари.

Им уже никогда, никогда не проснуться.

Мальчик глядел на тонир и думал, что в горах людям, кроме сыра, мацуна, масла и молока, нужен хлеб — просто хлеб или, если его раскрошить в масле, чмур. Хлеб и здесь, в горах, самое главное для человека, иначе мать не сказала бы только что: съешь сыра — с хлебом, а потом: не ешь меда — без хлеба, масла — без хлеба, мяса — без хлеба, мацуна — без хлеба, не пей много молока — без хлеба, чтобы не бегать каждую минуту в Волчье ущелье. Мальчик смотрел на вертел и забывал про сыр с хлебом. По дороге к своему шалашу он заглядывал еще и в другие, сообщая дояркам, что вернулось стадо, и матери кормили его хлебом с сыром и луком; он ни словом, ни улыбкой не благодарил их, хотя прекрасно знал, что надо говорить спасибо, но он давно решил для себя, что так принято лишь в городе, поэтому брал угощение молча.

Вертел был в руках мальчика копьем, и мальчик не удержался, схватил оружие, сжал его и превратился в воина. И как только он почувствовал, что стал воином, он выбежал из шалаша, помчался к Волчьему ущелью и начал атаковать. Кто идет?.. идет?.. Объявлена война с врагом... врагом...

Не то в прошлом, не то в позпрошлом году двоюродный брат Тирана, который старше его на семь лет, сказал, что можно только воевать-умереть или воевать-победить. Брат дал Тирану копьё и велел: «Втыкай смелей, втыкай смелей». Начинаясь новая война. По дороге к Волчьему ущелью появились кроты. Поле военных действий, которое до объявления войны называлось Полем кротов, снова стало Полем кротов: мальчик поразился, что через два дня после его победной войны кротов стало чуть ли не вдвое больше. Повсюду выросли черные хрупкие бугорки. Мальчик на цыпочках кружил около свежего холмика: «Смелей, смелей втыкай!». Он осторожно бигкался острым концом вертела к влажному бугорку и смотрел, как тот рассыпается.

«Смелей, смелей!», и — раз! — быстро, резко, с силой вонзается вертел в черную мягкую землю, в черного мягкого крота. В ту минуту, когда вертел попадал не в землю, а в крота, мальчик ненавидел своего двоюродного брата, который придумал эту ужасную войну с врагом, погребенным в мокрую сыпучую землю, — живым или мертвым, все равно.

Мальчик, как ни странно, хотел есть, но ему жалко было бросать зеленое поле, где только что он воевал с королевством кротов и теперь стоял с видом победителя, воткнув копьё в последнего жертву. Кому же оставить поле, принадлежащее только ему

и ягнятам; поле — ему, а трава — ягнятам, он в поле бегают, играют, убивает, побеждает, растёт, ягнята бегают, играют, пасутся, блеют, растут. Нельзя есть конский щавель. Не раз бывало: объестся щавелем и потом от боли в животе места себе не находит. Самое время вернуться в шалаш к хлебу, мацуну, маслу и молочному супу. Мать опять скажет: посмотри, на кого ты похож, марш к роднику мыться, городские в твоём возрасте влюбляются, носят брюки с карманами, в карманах — деньги: на кино, мороженое, такси для девчонок; в этом возрасте твой отец учеником у кузнеца был, далось тебе Волчье ущелье, ничего там нет, одни кроты.

Как и все матери, она долго ругает сына — ради него же, чтобы ему потом было лучше.

Мальчик попробовал конский щавель и уже начал жалеть, что не пошел домой и не съел свою порцию хлеба — под материнские наказы и поучения об уме и совести. Мальчик вдруг понял, что больше не побежит, задыхаясь от волнения, в Волчье ущелье, что больше не будет здесь кротов, и ягнята, не привыкшие еще к горам, не разбегутся в страхе от бугрящегося кома земли, а мальчик не захохочет во все горло над их испугом. Тоненькое бление ягнят не заполнит Волчье ущелье, ягнята не услышат эхо ущелья — долгого-долгого, ягнята и ущелье не заблеют по очереди... очереди... очереди...

Мальчик заметил, как посвежел воздух и потускнел свет над зеленым полем; потом поле стало чернеть. В горах молния, град, дождь и ветер — колючий горный ветер — случаются, когда им вздумается.

Вот сейчас мальчика ослепят сверкающие в небе отсветы, значит, где-то ударила молния, огромное дерево превратилось в пепел, загорелся стог в лугах. Пастуший пес сжался в ком у бездыханного тела хозяина и воет. Мальчик знал: там, где ударила молния, — смерть. От грома заложило уши, в страхе мальчик бежал все быстрее — летел; вы никогда не видели крылатого ребенка? При желании дети, только они могут взмахнуть крыльями и полететь — туда, где все их ждут, туда, где нет смерти. Мальчик не понял, что он уже бежит, и вдруг увидел себя бегущим. Мальчик был птицей — он летел и думал, что вот-вот снова сверкнет молния, он летел, чтобы молния его не настигла. И тут он вспомнил, что забыл вертел в поле; с какой легкостью могла бы поймать его молния, будь этот вертел у него в руках, и мальчик порадовался своим — хоть каким-то — знаниям физики.

— Тиран, эгей-гей, Тира-а-ан!

Гром, дождь, град и осатаневший горный ветер душили голос матери.

— Тиран! Э-э-эй, Тира-а-ан!

Мальчик не слышал голоса матери, материнский зов не догнал его, но сын знал и так, что мать, обзвумев, сейчас бежит быстрее его, и мальчик почувствовал, что через минуту сам будет кричать: — Ма-а-а! Ма-а-а!

Замолчало эхо. Мальчик был доволен, что ущелье с ним заодно, кричит: «Ма-а-а, ма-а-а!» Он догадался, что в этот час, когда небо шлет на землю дождь, и град, и молнию, и гром, он не одинок, с ним — Волчье ущелье. И чтобы оно не покинуло его, мальчик принялся звать еще громче.

Мать бежала к сыну, ноги несли сына к матери. Долгим был путь! Мальчик впервые подумал, что он может бежать и бежать и все-таки не успеть. Так бывает часто во сне. Эти сны мальчик видел каждую ночь. Вчера мать разбудил плач сына, мальчик очнулся от своего плача: во сне волчица из ущелья пробралась в хлев и утатила белолобого ягненка, мальчик услышал слабое бление любимца, выбежал из шалаша и погнался, безоружный, не за волчицей,



нет, а за ягненком; ему не было дела до волчицы, ему принадлежал ягненок, его дружок, его родной, и он бежал за ним день, месяц, год, шестьдесят лет, целую жизнь, бежал и не мог догнать. Такой же сон, не знаю когда, но приснился однажды отцу мальчика, и он погнался, но не за ягненком, а за волком и тоже не успел.

Мать бежала, и ноги несли ее навстречу сыну. Платок сбился на плечи, и ветер трепал волосы. Казалось, ни молния, ни ветер не остановят этот бег.
— Тира-а-ан!

Теперь мать звала сына, потому что увидела его.
— Ма-а-а! Ма-а-а!

Как сломился бег матери! — она стала тихо соскальзывать с горы. А мальчик побежал еще быстрее, изо всех сил, мать позвала его, сын услышал в ее голосе слезы и бежал сейчас за себя и за нее. Он мчался, а мать тихо соскальзывала с горы.

Для мальчика все происходившее было игрой, интересной, трудной игрой, которая потом превратится в воспоминание по дороге в школу, тему разговоров с отцом, сочинение «Как я провел летние каникулы». Тогда, конечно, он об этом не думал.

Рисунок В. Красновского

Но так будет. Мальчик добежал до матери и остановился перед ней, виновато опустив голову. Платье у матери промокло, облепило, четко обрисовав, тело. Мать кашляла; быстро стянув с себя свитер, накинула на сына и оставила руку у него на плече.

Сказала: «Простудишься, сляжешь». «Не простужусь», — ответил ей сын.

Град стучал, хлестал дождь, сын и мать уже выбились из сил и шли медленно, но все равно будто бежали, и это было похоже на жестокий, задыхающийся бег во сне.

Помните? — отец начал косить, потом устал, вытер пот и взглянул на небо, на огромную, повисшую над горой тучу, и снова мысленно помчался верхом, чтобы найти сына в Волчьем ущелье и отвести в шалаш, посадить поближе к горячим угольям и прислушаться вместе с ним к шуму дождя вперемешку с градом, увидеть, как в шалаш проскальзывает отсвет блеснувшей молнии и исчезает. И чтобы сын не боялся грома, отец рассказывал ему историю, которую сочинили для таких вот долгих дождливых вечеров. Солнце окунулось в море и отдыхало, или повисло где-то на отрогах скал, опустив ноги в ущелье, или заблудилось, а может, какая-нибудь

гора отважилась преградить ему путь — ценою слез, как на языке гор называют талую воду,— но есть горы с каменным сердцем, их не растрогать даже самому сильному светилу. Эти горы охлаждают бока солнца, надевают его на голову, словно нимб, и превращаются в маяк для людей.

Мать услышала лай — это пес пастуха Мартика кружил возле хлева. Хлев был большой: одну часть занимали коровы, другую — овцы. Пахло мокрой шерстью. Хлев наполнился глухим блеянием овец, коровы мычали, покачивая головами. Собаки выли, прижавшись друг к другу. Как только сын зашел в шалаш, мать сняла свитер с его плеч и повесила у печки сушиться.

Сказала: «Раздевайся и ложись». Она кинула в печь прожаренную тряпку и глазами поискала спички. Мальчик стащил с себя одежду, расстелил ее на скамейке и натянул черную рубаху. Он слышал, как у матери стучат от холода зубы.

— Ложись и отворачивайся, я переоденусь, — сказала женщина.

Она подобрала подол и сняла платье через голову. Надевая черный халат, мать увидела, что не задернула занавеску у входа, и смутилась.

Мальчик разглядывал на стене снимок матери. Он уже забывал: молнию, гром, дождь и град, вёртел, разящий мягких кротов. Мальчик смотрел и спрашивал мысленно: чему ты улыбаешься, какой моей шалости? Мать разожгла тряпку и по одному подкидывала в огонь сухие виноградные стебли. К концу лета, когда наступала пора спускаться с гор, лозы у всех кончались, и приходилось просить у заведующего фермой, который запасался ими впрок для шашлыков — угощать тех, кто освещает-контролирует-опекает жизнь в горах.

Мальчик устал смотреть на снимок, закрыл глаза, чтобы заснуть. Дождь уже только накрапывал, и мальчик слышал дробь капель, завывание ветра в ущелье, лай собаки Мартика, мычание беспокойных коров, блеяние продрогших овец, потрескивание сухих веток.

Еще мальчик слышал доносившуюся из соседнего шалаша песню Мартика. Порой голос был ясным, иногда порыв ветра выхватывал песню из губ Мартика, уносил с собой, кидал в ущелье и, разбивая о ребра скал, заставлял звучать вновь, и тогда она становилась еще задушевной. Мартик пел, а песню сочинил Само — пастух, поэт, хороший муж и отец. И хотя Мартик неплохо ее исполнял, все говорили: «Где ему до Само!» Мартик замолчал. Мальчик прислушивался ко всем звукам — от первого до последнего — и снова: дробь капель... потом завывание ветра в Волчьем ущелье... потом...

— Ну, что тебе сказать, Тиран... — начала мать.

Отец прислонил косу к изгороди, вошел в дом, поел хлеба с сыром, луком, мацуном, включил телевизор, лег на тахту и закурил. Передавали футбол, и со слов комментатора отец никак не мог разобрать, кто наши — черные или белые. Отец смотрел, но мысленно мчался верхом в горы, к сыну, к матери своего сына.

Женщина просунула ноги под одеяло, взглянула на снимок, улыбнулась.

Мальчик во сне увидел себя с орлиными крыльями и очень обрадовался, что может летать. Крылья поднимали его все выше, выше облаков, дальше звезд...

г. Ереван

Перевела с армянского
М. КОМИССАРОВА

Поэзия

ВИКТОР ВИШНЯК



☆☆☆

Я рос не в царскосельских залах,
Во мне совсем другой замес.
Я просыпался на вокзалах,
На жестких лавках МПС.
Не знал валюты, кроме меди,
Что думал, то и говорил,
Я путешествиями бредил
И Пушкина боготворил.
И не было во мне печали,
И ночи были коротки.
А в окна воробьи кричали
И паровозные свистки.

☆☆☆

И это успеть бы, успеть бы и это...
А жизнь пролетает со скоростью света.
А если в заботах не крутимся мы,
То жизнь пролетает со скоростью тьмы.

☆☆☆

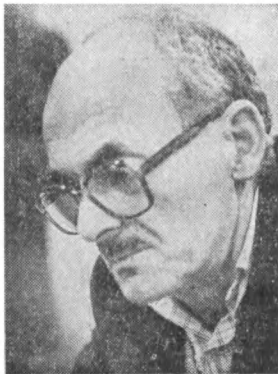
Труда здесь положено много.
Равнина в снегах, а по ней
К селу возносилась дорога
Среди опустевших полей.

Над солнечным паводком дали,
Глаза ослеплявшим до слез,
Прозрачные крылья вздымали
Застывшие ветви берез.

☆☆☆

Я не знаю, что это со мной:
Вырастают крылья за спиной,
Ветра слышу отдаленный гул,
Я хочу взлететь, и не могу.
...А когда я в детстве засыпал,
И без крыльев запросто летал.

БУЛАТ
ОКУДЖАВА



☆☆☆

Все глуше музыка души,
все громче музыка атаки...
Но ты об этом не спеши:
не обмануться бы во мраке,
что громче музыка атаки,
что глуше музыка души.

Чем громче музыка атак,
тем слаще мед огней домашних,
и это было только так
в моих скитаниях вчерашних:
тем слаще мед огней домашних,
чем громче музыка атак.

Из глубины ушедших лет
еще вернее, чем когда-то,
чем громче музыка побед,
тем горше каждая утрата,
еще вернее, чем когда-то
из глубины ушедших лет.

И это все у нас в крови,
хоть этому не обучали:
чем звонче музыка любви,
тем громче музыка печали,
чем громче музыка печали,
тем выше музыка любви.

☆☆☆

В день рождения подарок преподнес я сам себе.
Сын потом возьмет озвучит и сыграет на трубе.
Сочинилось как-то так само собою
что-то среднее меж песней и судьбою.

Я сижу перед камином, нарисованным в углу,
старый пудель растянулся под ногами на полу.
Пусть труба, сынок, мелодию сыграет...
Что из сердца вышло — быстро не сгорит.

Мы плывем ночной Москвою
между небом и землей.
Кто-то балуется рядом черным пеплом и золой.

Лишь бы только в суете не заигрался...
Или зря нам этот век, сынок, достался!

Что ж, играй, мой сын кудрявый,
ту мелодию в ночи,
пусть ее подхватят следом и другие трубачи.
Нам не стоит этой темени бояться,
но счастливыми не будем притворяться.

Жерех

Г. Умнову

Вот оно, чердымское чудовище
разгулялось под речной волной.
Здесь его пристанище, становище,
пастбище его и дом родной.
Я-то думал, что оно на отмели
лишь резвится, будто бы в раю,
а оно, как волк январский во поле,
на фортуна молится свою.
Я-то думал: на крючок подцепленное,
будет без борьбы на мир взирать,
а оно холодное, серебряное,
хищное, не хочет умирать.
Среди плеска волжского и шепота,
может, вспоминается ему,
сколько было съедено и попито,
пожито — не снилось никому.
Вот и не сдается и сражается
[десятью потоками изойдешь],
словно знает, что судьба не сжалится
просто так, за здорово живешь.

☆☆☆

Строка из старого стиха слывет ненастоящей:
она растрочена уже да и к мольбам глуха.
Мне строчка новая нужна какая-нибудь послаще,
чтоб начиналось из нее течение стиха.

Текут стихи на белый свет из темени крошечной,
из всяких горестных сует, из праздников души.
Не извратить бы вещей смысл

иной строкой поспешной.
Все остальное при тебе — мужайся и пиши.

Нисходит с неба благодать на кущи и на рощи,
струится дым из очага, и колея в снегу...
Мне строчка новая нужна какая-нибудь попроще,
а уж потом я сам ее украшу, как смогу.

Текут стихи на белый свет, и нету им замены,
и нет конца у той реки, пока есть белый свет.
Не о победе я молю: победы все надменны,
а об удаче я молю, с которой спроса нет.

Пугает тайною своей ночное бездорожье,
но избежать той черной мглы, наверно, не дано.
Мне строчка новая нужна

какая-нибудь постройше,
чтоб с ней предстать перед зобой
мне не было б грешно.

Текут стихи на белый свет рекою голубую
сквозь золотые берега в серебряную даль.
За каждый крик,
за каждый вздох заплачено любовью.
Ее все меньше с каждым днем, и этого не жаль.

Старый романс

Когда б вы не спели тот старый романс,
я верил бы, что проживу и без вас,
и вы бы по мне не печалились и не страдали.
Когда б вы не спели тот старый романс,
откуда нам знать, кто счастливей из нас!
И наша фортуна завиднее стала б едва ли.
Но вот вы запели тот старый романс,
и пламень тревоги, как свечка угас.
А надо ли было,

чтоб сник этот пламень тревоги!
И вот вы запели тот старый романс,
но пламень тревоги, который угас,
опять разгорелся,

как поздний костер у дороги.
Зачем же вы пели тот старый романс?
Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась,
чтоб боль улеглась,

а потом, чтобы вспыхнула снова!
Зачем же вы пели тот старый романс?
Он, словно судьба, расплескался меж нас,
все капля по капле,

и так до последнего слова.
Когда б вы не спели тот старый романс,
о чем бы я вспомнил в последний свой час,
ни сердца, ни голоса вашего не представляя!
Когда б вы не спели тот старый романс,
я умер бы, так и не зная о вас,
лишь черные даты в тетради души проставляя.

☆☆☆

Почему мы исчезаем,
превращаясь в дым и пепел,
в глинозем, в солончаки,
в дух, что так неосязаем;
в прах, что выглядит нелепым,
нытики и остряки!

Почему мы исчезаем
так внезапно, так жестоко,
даже слишком, может быть!
Потому что притяжаем,
докопавшись до истока,
миру истину открыть.

Вот она в руках как будто,
можно, кажется, потрогать,
сзет ее слепит глаза...
В ту же самую минуту
некто нас берет под локоть
и уводит в небеса.

Это так несправедливо,
горько и невероятно —
невозможно осознать:
был счастливым, жил красиво,
но уже нельзя обратно,
чтоб умнее все начать.

Может быть, идущий следом,
зная обо всем об этом,
изберет надежней путь!
Может, новая когорта
из людей иного сорта
изловчится как-нибудь!

Все чревато повтореньем.
Он, объятый вдохновеньем,
зорко с облака следит
и грядущим поколениям,
обожженным нетерпеньем,
тоже это предстоит.

☆☆☆

Мне не в радость этот номер,
телевизор и уют.
Видно, надо, чтоб я помер —
все проблемы отпадут.
Все они мои и только.
Что до них еще кому!
Для чего мне эта койка —
на прощание пойму.
Но когда за грань покоя
преступлю я налегке,
крикни что-нибудь такое
на грузинском языке.
Крикни громче, сделай милость,
чтоб на миг поверил я,
будто это лишь приснилось:
смерть моя и жизнь моя.

☆☆☆

Сколько сделано руками удивительных красот!
Но рукам пока далече до пронзительных высот,
до божественной и вечной, и нетленной красоты,
что соблазном к нам стекает
с недоступной высоты.

☆☆☆

В нашей жизни, прекрасной и странной,
и короткой, как росчерк пера,
над дымящейся свежей раной
призадуматься, право, пора.
Призадуматься и присмотреться,
поразмыслить, покуда живой,
что там кроется в сумерках сердца,
в самой черной его кладовой!
Пусть твердят, что дела твои плохи,
но пора научиться, пора
не вымаливать жалкие крохи
милосердия, правды, добра.
И пред ликом суровой эпохи,
что по-своему тоже права,
не выжуливать жалкие крохи,
а творить засучив рукава.

☆☆☆

О. В. Волкову

Гомон площади Петровской,
Знаменка, Коровий вал —
драгоценные обноски...
Кто их с детства не знал!
Кто Пречистенки не холил,
Божедомки не любил,
по Варварке слез не пролил,
Якшманку позабыл!
Сколько лет без меры длился
этот славный карнавал!
На Покровке я молился,
на Мясницкой горевал.
А Тверская, а Тверская,
сея праздник и тоску,
от себя не отпуская,
провожала сквозь Москву.
Не выходят из сознания
[хоть иные времена]
эти древние названья,
словно дедов имена.
И живет в душе, не тая,
пусть нелепа, да своя,
эта звонкая, святая,
поредевшая семья.
И в мечте о невозможном
словно вижу наяву,
что и сам я не в Безбожном,
а в Божественном живу.

ГЕОРГИЙ
СЕМЕНОВ



ПОВЕСТЬ

ЖАСМИН В ТЕНИ ЗАБОРА

1.

Как-то вечером, когда солнце, уйдя за облако, похожее на гроздь спелого винограда, готовилось покинуть землю, в тишине цветущей речной долины раздалась ритмическая музыка. Чуть слышная, будто из-под земли, она вскоре обрела источник — магнитофон устаревшей конструкции. Его нес черногривый цыган. Он шел один по шоссе, держа в руке звучащий пластмассовый ящик, и, наверное, слушал ритмы, которые помогали ему идти. Шаги его по асфальту тоже ритмично вплетались в танцевальную мелодию.

Цыган был одет в бледно-серый костюм и бежевые полуботинки. В золотистом цвете вечера лицо его и руки казались масляно-коричневыми, а черные волосы, спадающие на плечи, отливали синевой.

Узенькое шоссе, бегущее под горку, а потом взбирающееся на пологий холм-тягун, было совсем пустынно. Кончился рабочий день, и грузовые автомашины разъехались по базам.

Залатанное потрескавшееся шоссе после каждой весны требовало ремонта. Подземные воды вспучивали асфальт, тяжелые машины разрушали полотно, дырявили его.

Но в хорошие летние дни далеко была видна с холма вогнутая его полоса, и казалась она монолитной. Светло-песчаные обочины оттеняли свинцовую тяжесть укатанной дороги, пролегшей между цветущих кюветов, березовых перелесков, и чудилось тогда, будто не люди проложили нешумную дорогу, а сама она с удовольствием разбегалась среди мягких холмов и пестрых лесов, игриво перекинувшись через тихую речушку.

В этот вечер тишина стояла такая, что слышно было, как похрустывали песчинки под подошвами бежевых ботинок, как неверный шаркающий звук порой выбивался из четкого такта шагов, слышно было, как повизгивали стрижи над речкой и звенели кузнечики в траве. Одна лишь музыка казалась чужеродным дребезгом.

Она гасла, не успев разгореться, чадила в душистом воздухе, шипела и была, как это ни странно, беззвучна под небесным куполом и ничтожно мала, словно бы это не музыка, а бренчание вилок, ножей и ложек в мойке было записано на пленке.

Но цыгану, видимо, нравилось это, иначе он вряд ли бы нес с собой тяжелый магнитофон. Походка его была бесовски-легкая и уверенная. Перед ним далеко виднелась шоссе́нная полоса, уходящая вверх, заворачивающая вправо, в зеленеющие, белые частоколы березовых лесов.

Куда шел цыган со своей музыкой и что ожидало его впереди —

Рисунки
Г. Новожилова

кочующий табор с костром и спутанными лошадьми на лугу или оседлость в далекой деревне?

Шаги его затихли, музыка подзенькала и тоже умолкла, фигурка уменьшилась до размеров пингвина, а покачивающийся этот пингвин превратился в маленького воробушка, который вспорхнул и как будто улетел куда-то.

Женщина с букетом лесной герани, ромашек и дикой астры, смотревшая не отрываясь на странного цыгана, вздохнула и подумала, что на свете есть еще загадочные люди. Они не отвыкли жить на земле и ходить по ней, как по своему жилищу, у которого нет углов, потолка и пола, а есть лишь распахнутое в мир окно. «Хорошо это или плохо? — подумала она, отводя взгляд от шоссе. — Могла бы я так или это страшно?»

Женщине было двадцать семь лет, звали ее Георгиной — Гешей. В двадцать один год она вышла замуж, но в двадцать три — развелась, взяла годовалого сына и переехала к родителям, взамен оставив в семье мужа плохое воспоминание о себе. С тех пор она думала лишь о сыне, растила его умником, обожала и возвысилась в своем представлении о мироздании до гордыни, презирав попытки женщин устроить свое счастье с помощью мужчины. Стремление это казалось ей ложным, и она перестала любить женщин, думая о них как о глупых существах, обреченных на несчастья.

Когда-то у нее была подруга, которая тоже вышла замуж и тоже развелась, оставшись с дочерью. Однажды Геша встретила с ее матерью.

— Как ты живешь? — спросила та, едва узнав в Геше худенькую девочку, с которой дружила ее дочь.

— Отлично! — ответила Геша, сияя радостью.

— Замуж вышла?

— Ни в коем случае! Никогда! Ни за что! — сказала Геша, брезгливо выпятив нижнюю губу, и глаза ее замутились презрением, хотя она и не переставала открыто улыбаться.

— А что? — спросила женщина, вглядываясь в глаза Геси. — Предлагают?

В тот день Геша была недовольна собой: она не смогла ответить на вопрос и при этом заметила, как грустно улыбнулась стареющая женщина. Геша себя чувствовала чуть ли не оскорбленной такой бесцеремонностью, как будто мать бывшей подруги заподозрила ее в обмане, в лукавой игре, в делании из себя счастливой, ибо счастье для страдающей матери вязалось только с семьей, с семейным благополучием и уютом, и она представить себе не могла счастливую женщину, у которой нет любящего и заботливого мужа.

Геша разозлилась в тот день на весь белый свет, словно не только эта женщина обидела ее, но и все люди грустно улыбнулись, заметив ее смущение. Неприятный вопрос долго не давал ей покоя, точно ей кто-то насмешливый и грубый сказал в глаза: «Кому ты нужна, дурочка».

Впрочем, случай этот укрепил ее в сознании своей исключительности, и, хотя она не собиралась становиться при удобных обстоятельствах «девочкой для развлечения», раз и навсегда все-таки решила избавиться от предрассудков.

Она считала, как всякая уважающая себя женщина, что обладает утонченным вкусом, сильным характером и, разумеется, достаточной красотой, чтобы покорить любого мужчину и подчинить его своей воле. С этим ощущением потенциальных своих возможностей она и пустилась в плавание по житейскому морю, испытав уже одно крушение, которое, как Геше казалось, придало ей силы и уверенности в себе.

Житейское море, крушение, утонченный вкус — все эти понятия, попахивающие бабушкиным нафталином, были близки Геше и естественны для нее, наполнены свежим ветром, который будоражил душу и сознание. Она любила думать о себе, как о родившейся не в свое время и что в этом мире не было и не могло быть достойного мужчины, способного оценить ее добродетели, ее красоту и высокий полет мысли и чувства.

— Читать вредно, — говорила она с уверенностью завязанного книжечья. — Книжки рожают иллюзии, которые мешают жить. Я боюсь за сына — он очень любит книгу. Нужно отучать его от вредной привычки. Чтобы никаких иллюзий. Я мать, а какая же мать хочет зла своему сыну? Я вычислила: чем лучше книга, тем больший вред она приносит. В том смысле, что порождает глупые иллюзии... Зачем они современному человеку?

Но это она говорила только в тех случаях, когда попадала впросак, обнаруживая незнание известной книги, которую стыдно было не знать. Она вообще отличалась способностью защищаться в самых невероятных ситуациях, когда, казалось бы, надо покраснеть или просто смутиться, признать свое невежество, и, если даже мог отказывался идти на выручку, помогала интуиция, которая, помимо воли, подсказывала ей правильный путь и всегда выводила из затруднений. Она безоговорочно верила в свой инстинктивный ум, в охранительный этот орган души и тела, выручающий в самые критические минуты.

В жизни ее были потрясающие случаи, необъяснимые с точки зрения всех признанных наук. Так, например, однажды она вышла из дома в ветренный день. Сажженные липки гнулись под гибельными порывами ураганного ветра, потрескивали ломающиеся ветви тополей, по мостовой мчались сорванные листья. Она, пригнув голову, шла вдоль стены восьмизатяжного дома, и вдруг какая-то сила толкнула ее вправо, в дверь продовольственного магазина, которая захлопнулась за ней с оглушительным, как ей показалось, грохотом. Она остановилась в недоумении, не понимая, зачем зашла в магазин, когда ей надо было торопиться по делу... И тут же увидела за стеклянной дверью ужасную картину. Грохот, который она приняла за дверной, исходил от упавшей, сорванной ветром тяжелой балки с листьями ржавой жести, громогласящей именно на том месте, где Геша только что проходила. Под балкой, под гвоздистой, рваной жестью лежала старая женщина, придавленная и, может быть, убитая сорванным перекрытием. Геше стало плохо, и она с трудом устояла на ногах.

Зачем, почему, каким образом очутилась она в тамбуре магазина? Кто подсказал ей об опасности? Привычка заходить в магазин? Но она торопилась! Ей нельзя было заходить в магазин. У нее для этого не было ни минуты свободного времени. К тому же она не просто свернула в дверь, как это обычно делала, а ее словно бы кто-то с силой толкнул в эту дверь — самое же мгновение, когда она очутилась за дверью, выпало из памяти, будто она сделала это бессознательно.

Подъехала «Скорая», Геша попросила нашатырного спирта, чувствуя, что силы оставляют ее. Изуродованное лицо бедной старушки с жалобной укоризной взглянуло на Гешу из-под приспущенных век... Волосы, блесквшие от крови, серый рядок искусственных зубов...

— Как же это? — спросила она у медсестры, нюхая нашатырь. — Как же? Может быть, это я? Я только что здесь... И вдруг... так. Почему?

— Успокойтесь! — резко оборвала ее медсестра. — Возьмите ватку. Некогда с вами... Возьмите!

«Скорая», мигая тревожно синим, пронзительным маячком, умчалась с сиреной. К утру убрали груды жести и тяжелые балки, показавшиеся в тот день Геше железным птеродактилем, рухнувшим на тротуар из допотопного, доисторического неба. А сама она, успокоившись, подумала с изумлением, что с ней произошло чудо — волшебная сила, заключенная в ней самой, толкнула ее в дверь магазина и спасла тело от увечья или от гибели. И она решила после этого случая, что в ней живет таинственный хозяин, имя которого неизвестно, но силы — неисчерпаемы. Его можно, конечно, назвать инстинктом, но инстинкт есть у всех живых существ. У нее же он особенный, очень сильный и по-звериному чуткий. Она даже стала прислушиваться к себе по ночам, как прислушивается женщина к жизни ребенка в чреве, но лишь сердце отзывалось ей своими ударами. Маленький же хозяин исчез бесследно, застался в засаде, следя рысьим взглядом за блуждающей в мире опасностью, замер в ожидании нового случая, когда понадобится опять его волшебство.

И случай этот, как говорится, не заставил себя ждать.

Но прежде необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что отец Гешиного мальчика родом был с Каспия. Он страдал опасной болезнью, посвятив свою жизнь и свое умение, все природные способности добыванию денег. Был рискованно богат, скрывая от жены источник добычи, уверяя ее, что все теперь так живут, как живет он сам. Он был европейски воспитан, когда оставался с Гешей наедине, и по-восточному деспотичен, если в доме появлялись гости. Даже высокая температура не спасала Гешу от обязанностей покорной рабыни, подающей чай на серебряном подносе сомнительным личностям, с которыми муж был вежлив, не замечая при них своей жены, как будто она была на несколько порядков ниже любого из них.

Когда она развелась с мужем, родители которого сыграли в этом скандальном и неинтересном деле важную роль, не простив сыну легкомысленной женитьбы, он, помня об европейском своем воспитании и желая разойтись с женой миром, отдал ей автомобиль «Жигули». К тому времени она закончила местный университет, получив право преподавать французский язык, научилась ездить на автомашине, и, бросив мужу с презрением все золотые цацки, все камушки, приняла белую машину, к которой привыкла, как если бы она была красивой и умной лошастью, и увезла на ней своего годовалого сына. Четыре дня ехала до дома, принимаясь много раз плакать вместе с сыном. Останавливалась кормить его, как цыганка, на дороге, вывалив из разреза кофточки голубую молочную грудь, к которой припадал проголодавшийся ребенок, чернея челочкой липких от пота волос и лия слезы из черных глаз. Звали его Эмилем. Чем дальше увозила она его от Каспия, тем горше ей становилось при мысли, что сына зовут Эмилем.

Она, полуживая, въехала в родной город на запыленной машине, с темным от дорожной пыли и горящим лицом, с грязными руками, от которых пахло бензином, и с грязным, измученным, плачущим Эмилем. Когда же вошла в отцовский дом, то чуть не упала, увидев ужас в глазах матери, ничего еще не знавшей о разводе.

— Мамочка, — сказала она, привалившись к дверному косяку и протягивая матери плачущего сына, — это Эмиль, а там, во дворе, моя машина... Больше у меня ничего нет. И пожалуйста, ни о чем не спрашивай, иначе я сойду с ума. Мамочка, прости! Я тебя обманывала в письмах. Я была в рабстве.

Сбежала! Теперь я свободна, и ты не плачь. Не плачь! Все хорошо. Это Эмиль. Вот, возьми... Твой внук.

Было жаркое лето, от Каспия до северных широт — всюду светило солнце. Геша стояла, возвышаясь над матерью, в узеньких длинных джинсах из золотистого вельвета, протершегося на складках, в кофте из белого полотна с украинской вышивкой и с маленькими тесемочками на груди. Лицо ее было бледно под пылью, большая нижняя губа, пересохшая и полопавшаяся от слез и от зноя, казалось, кровоточила. Взгляд истощенных, выцветших глаз болюю своей чуть не убил растерявшуюся мать, которая в бессилии ахнула, увидев дочь, и едва оправились от потрясения, ничего не понимая и только чувствуя, что с дочерью случилась беда.

А Геша, не помня себя от усталости, опустилась, скользнув спиной по косяку, на пол, острые ее колени поднялись выше головы, которую она уронила между ног, плечи ее задрожали, из-под каштановых, крашенных волос оголилась худенькая шея с коричневой родинкой.

— Ничего не спрашивай, — сквозь слезы шептала Геша, еле выговаривая слова. — Все хорошо... Я очень устала. Я не знаю, как доехала... без сна четверо суток... В глазах темно... я потом... Ты накорми... Эмиль плачет... Господи, почему же он? — спрашивала она, не в силах бороться с обморочным, тяжелым и страшным сном, в который погружалась, как в воду, теряя ощущение собственного веса и самой себя в мире.

Покойный отец Геши, много лет работавший на Каспии, говорил ей, когда она выходила замуж: «Смотри, Георгина!», — не объяснив тогда, что имеет в виду.

Теперь она понимала, что отец был прав. И хотя муж ее тоже закончил университет, изучив европейскую культуру, родительская власть над ним была сильнее любви к жене и к сыну, не говоря уже о власти денег, которым он отдал душу. Денег было так много в доме, что взгляд обязательно наткался на сиреневые, зеленые или красные купюры, которые лежали на столе, в шкафу, на полках, как в иных домах лежат книги. Муж делал вид, что презирает деньги, вытаскивая из карманов брюк скомканные, смятые двадцатипятирублевки, и не поднимал их с пола, если они выпадали из кармана, когда он доставал носовой платок.

«Ибрагим, откуда у тебя столько денег? — со страхом спрашивала иногда обеспокоенная Геша. — Где ты их берешь?»

«В тумбочке, — с улыбкой отвечал черноокий муж с яблочным румянцем на смуглых щеках. — Знаешь анекдот? «Где берешь? В тумбочке. А в тумбочку кто кладет? Жена. А жене кто дает? Я даю! А ты где берешь? В тумбочке». — И он смеялся, блестя чистыми, сильными зубами, умея вдруг согнать с лица веселую браваду и превратиться в разгневанного, взбешенного тирана, цедящего сквозь те же чистые и сильные зубы проклятия: — Еще раз услышу этот вопрос, загрызу».

Машину свою он отдал, конечно, не по доброте душевной, а из соображений престижных или, может быть, желая таким образом заткнуть ей рот, о чем, впрочем, в то время Геша не догадывалась, зная только, что при разводе супругов имущество делится поровну, и, взяв машину, она понимала, что доля эта принадлежит ей по праву. Хотя, разумеется, если бы закон вмешался в деятельность ее бывшего мужа, то машина наверняка была бы конфискована, как приобретенная на нетрудовые доходы.

Но спроси Гешу, каким образом муж ее добывал такие суммы денег, она со всей искренностью ответила бы: «Не знаю», — он ее не посвящал в свои дела, украшая золотом и драгоценными камнями со страстью маньяка, жена которого должна быть красивее и богаче, чем все остальные жены на свете. «Не забывай, чья ты жена! — говорил он угрожающе, если она выходила на улицу или появлялась перед гостями в затрапезном виде. — Не позорь меня!»

«Не позорь моего сына, — вторила ему свекровь, которая без тени смущения твердила Геше, что Ибрагим ошибся, женившись на ней, и что сама она всегда была против этого брака. Когда же Геша напоминала об Эмиле, она отмахивалась и криком отвечала ей: — Другая жена народит Ибрагиму десять таких сыновей! Еще лучше, чем этот!»

Через несколько месяцев после развода Ибрагим женился на молоденькой, утешив наконец своих родителей, воле которых он на сей раз безропотно подчинился. Но, как ни странно, известие это совсем не тронуло Гешу, как будто речь в письме подружки шла о постороннем человеке, общем знакомом, который когда-то нравился ей своей щедростью и лаской. Она даже не вспомнила в этот момент, что Ибрагим — отец Эмиля.

Город в то время был укутан снегом, завален сугробами. Белая долина широко и далеко раскинулась под городом, под стеной старинного монастыря, красный кирпич которого, украшенный снежными гривами на зубцах, мрачно темнел в метельные дни, укрепившись башнями на глинистом обрыве. Ветер трепал на стенах голые ветви бузины. Черные бойницы угрюмо смотрели в белую степь, заштрихованную грифельными полосками лесов.

— Почему я люблю метель? — спрашивала Геша у матери. — Я себя чувствую счастливой, когда на улице метет. Это ненормально? Или мне опостылело солнце? В метель идешь и радуешься, что в лицо тебе снег, снег, снег с ветром... Ах, как хорошо! Я слышу Грига, когда метель, когда снежинки снизу вверх и все сугробы дымятся. Если б ты знала, как я истосковалась!

Она все эти месяцы жила в восторженном состоянии, ее радовало в жизни буквально все. Даже синицы, прилетающие на заснеженную террасу, на кормушку, приводили ее в тихий восторг.

— Ты знаешь, мама, — говорила она полупшепотом, каким рассказывают детям таинственные сказки, — я совсем недавно жила, как эта синица! Возьмешь зернышко и оглядываешься, нет ли врага. Как будто я тоже прилетала на кормушку... Так нельзя жить человеку! Теперь я, может быть, слишком расслабилась, не оглядываюсь, не боюсь ничего — хорошо ли это? Но это пройдет, я знаю, хотя жить и ничего не бояться... Если бы ты знала! Как это приятно — жить и не оглядываться! Но ты посмотри, какая красивая синица! Мама, посмотри! — говорила она, смущая неуместной восторженностью и словно бы требуя от матери полной взаимности и подчиненности своему состоянию.

— Ну, конечно, красивая, — отвечала мать, искося поглядывая на дочь с тревогой.

— А где? Ты помнишь, у нас, у папы, была когда-то... Я очень хорошо помню! Коллекция ночных бабочек. Где она, ты не знаешь? Я помню коробки со стеклянными крышками, а под стеклами пушистые бабочки с большими глазами, с такими крохотными хрусталиками... Это я хорошо помню. Не знаешь, где?

— Не знаю, Гешенька. Прошло столько лет!

— Я хотела отнести в школу. Надо поискать.

Она с осени работала преподавателем французского в школе и, в отличие от всех преподавателей иностранных языков, была очень довольна своими учениками, едва лепетавшими непонятные слова.

— Нет, мама, в моей комнате будут только книги... Вообще, моя ближайшая задача — купить письменный стол, стул-вертушку, книжную стенку до потолка. Можно заказать, если будут деньги... И больше ничего. Ну, конечно, настольную лампу и торшер возле кровати. Чтобы ничего лишнего. Чтобы Эмка с детства привыкал к рабочему столу и книгам... Как ты считаешь, мама? Меня это беспокоит. У нас не было книг. Вернее, книг, которые... Ну, ты сама понимаешь! Книга должна всегда смотреть с полки. А наши отворачивались от нас и прятались. Их как будто и не было. — Геша задумчиво хмурила брови, морщила чистый лоб. — У нас был, — говорила она, глядя в пространство, — каменный дом... И люди в нем каменные, окаменевшие. Сплошные окаменелости. Книги тоже, как камни, — одни дороже, другие дешевле. Нет, мама! Надо что-то делать.

— Но что? — спрашивала мать.

— Не знаю, но что-то надо! Надо так наладить жизнь, чтобы каждая вещь излучала тепло и звала к труду, к занятиям, а мальчика к играм. Чтобы не было... Ну, ты сама понимаешь! Я боюсь за Эмку! Он очень похож на отца. Ты словно не хочешь понять меня! Никакого участия!

— Ты, Гешенька, сплошное электричество! Не искри, не искри, — говорила мать, всю жизнь прожившая с инженером-электриком. — Иди-ка ты в туман, ну тебя! — добавляла она с кокетливой улыбкой нестарой еще женщины, мягко отталкивая от себя дочь.

Геша была права, говоря, что все это пройдет. Хотя, конечно, нельзя всерьез относиться к нынешнему ее взгляду на книги, когда она говорит, что чтение вредно — это своего рода реакция на собственный опыт, на крайность, с какой она выстраивала умозрительную модель жизни сына и своей собственной. Жизнь пока еще никому не удавалась без чего-то лишнего. Иной раз даже именно это нечто лишнее и становилось единственным украшением праведной жизни, в конце которой человек с нежностью и душевным трепетом вспоминает о таких пустяках, что даже сам диву дается, как это он мог при своей трезвой расчетливости допустить милую глупость — завести, например, собаку и прожить с ней лет пятнадцать, не совсем ясно понимая, кто кого ведет на поводке и кто хозяин: собака или он сам. А сколько лишних слов произносит человек! Сколько лишних вещей производит всякое общество, без которых могли бы обойтись здравомыслящие люди. Да и что значит — лишнее? С чьей точки зрения лишнее? Лучше уж не размышлять на эту тему. Логически рассуждая, можно прийти к такому абсурду, что и сама жизнь человека покажется лишней, потому что все рано придется рано или поздно умереть — так не лучше ли совсем не рождаться? И так далее и тому подобное. Чепуха все это!

А тот случай, который, как известно, не заставил себя ждать, произошел с Гешей сравнительно недавно. Ей самой до сих пор кажется, что все это случилось с ней вчера, так остро она почувствовала опасность, когда в хороший, прохладный летний день ехала со скоростью сто километров в час по загородному шоссе, которое только что открыли после реконструкции, превратив в прекрасную автостраду с двухрядным движением в каждую сторону и с огражденной камнем разделительной полосой. Полоса эта, правда, не была еще закончена — глини-

стая земля, измятая строительными машинами, выскола на солнце и представляла собой нагромождение бугров и ям, глубоких вмятин, превращенных солнцем в керамический хаос, который требовал многих еще усилий, чтобы со временем там выросла газонная трава. Но покрытие было превосходным. Не заезженный еще, черного цвета, крупнозернистый, обладающий надежным сцеплением с протектором шин жесткий асфальт однотонно гудел под колесами. Машина шла ровно, и сидеть за рулем было приятно, тем более, все они — Геша, Эмиль и молодая бабушка — ехали в деревню к родственникам на выходные дни, зная, что в лесу пошли белые грибы.

Бабушка с внуком разговаривали на заднем сиденье, Геша улыбалась, слушая их, а сама тем временем изящно, как ей представлялось, обгоняла попутные машины, делая это по правилам дорожного движения, хотя и нарушая эти правила, превысив скорость на десяток километров. Но ее тоже обгоняли! И если уж кого-то штрафовать, так это лихачей, которые мчались со скоростью сто двадцать в час. Сама она в общем-то шла в потоке, не отставая, но и не вырываясь вперед. Машин на шоссе было много, как всегда перед выходными днями. Солнце уже стояло над лесом, положив на шоссе тени высоких елок. Солнечный свет и резкие тени мелькали перед глазами, чередуясь с неравномерной периодичностью, как вспышки магния, бьющие по глазам и гаснущие, но вновь возникающие на мгновения. Нельзя сказать, что это мешало следить за дорогой, но все-таки приходилось напрягать зрение. Обстановка на автострате не предвещала никаких неожиданностей.

Впереди, натужно ревя мотором, тянулся автокран, занимая середину дороги. Заметил быстроходную «Ладу», блистающую в солнечных лучах чистым кузовом, и стал, замедляя ход, прижиматься к правой обочине, то есть, как поняла Геша, останавливаться. Она включила левую мигалку и, легонько прижав педаль акселератора, с ускорением решила обойти тяжелую машину... И вдруг!

Нога сама прыгнула на тормозную педаль, раздался пронзительный визг заблокированных колес, скользящих по асфальту. Стрела крана, качаясь, развернулась хоботом поперек дороги, темная туша машины, загоревшаяся шоссе, стремительно приближалась... Столкновение неминуемо — деваться некуда! Тормозной путь слишком велик — тормоза не в силах были остановить разогнавшуюся машину... Мгновение — и Геша, бросив тормозную педаль, свернула влево, на разделительную полосу. Машина с резким ударом выскочила на сухие колдобины. Земля — небо, земля... — удар, удар... Руль бешено вертелся в руках то влево, то вправо... Опять нога ударила по тормозу... Руки, неспособные удержать руль, освободили баранку, и она, бешено скользя под напряженными пальцами, стала дергаться, крутась то в одну, то в другую сторону, а Геша лишь подправляла, лишь фиксировала очень сильной ухваткой пальцев взбесившийся руль, стараясь удержать машину от опрокидывания... Стрела с тросами промелькнула над ветровым стеклом — водитель, видимо, затормозил тяжелый автокран. Бухающие удары, прыжки, провалы — Геша, не помня себя, делала что-то такое, что никогда еще в жизни не приходилось делать: машину кидало вправо, она тут же крутила руль вправо, машина вставала с ударом на дыбки — резко вертела рулевое колесо влево, выправляя движение, фиксировала руль в прямом направлении, и в конце концов выпрыгнула из ураганной тряски на асфальт и, притормаживая, остановилась на обочине. Ничего не понимая, ничего не слы-

ша и не видя, она распахнула дверцу и, заметив автокран, который, нарушая правила, пересек автострату, съехал на старую, узенькую дорогу и удалялся по ней, побежала за ним, размахивая рукой и что-то крича вслед. Но, сообразив, что не догонит, вернулась к машине, увидела пыль, поднятую в воздух, остановившиеся другие машины, заметила сочувствующие, уважительные взгляды, посмотрела на мать и сына, которые, не шелохнувшись, сидели обняв друг друга, испуганно ожидая от нее чего-то.

— Что? — спросила Геша. — Ах, скотина! — воскликнула она, озираясь вокруг.

Колеса были на месте, кузов не помят, ничего не подтекало, мотор работал в привычном ритме, постукивая износившимся распредвалом. Она никак не могла понять, что ей надо делать? Неужели опять садиться за руль?

Подшли двое мужчин, свидетелей смертельного трюка, вежливо поздоровались.

— Все живы? — спросил один. — А машина что? Другой сказал, присев на корточки и заглядывая под днище:

— Кажется в порядке... Подвеска, конечно... раздал, сходимость...

— Что? — спросила Геша, слыша, как гудят голоса.

— Регулировочку! Не видели, что ли?

— Что?

— Как он налево...

— А что я должна? Здесь только прямо.

— Все правильно. Вы молодец! Я думал... Пьяный, наверное.

— Кто? Может быть. Так. ГАИ, конечно, нет... Всегда так. — Она пнула узеньким носком туфли в серый бок резины и, презрительно выпятив губу, сказала с шоферской бравадой: — Могла стать гробиком. Удовольствие повышенного риска. — И виновато улыбнулась.

Она только теперь вдруг почувствовала острый, тошнотворный испуг. С трудом заставила себя сесть за руль, захлопнуть дверцу, пристегнуться ремнем.

— С богом? — спросила она у матери. — Эмиль, не ушибся, мальчик? Нет! Ну и хорошо!

Мать спросила, почему она кричала так громко. Испугалась?

— А что я кричала? — удивленно спросила Геша.

— «Спокойно! Спокойно!»

— Странно... Я совершенно не помню. Когда?

— Перепугала до смерти. «Спокойно! Спокойно!» Кричала, как будто на нас с Эмочкой. Не ври, пожалуйста. Помнишь! «Спокойно!» Громко, во весь голос! Когда кувывкались...

— Правда, не помню, — отвечала Геша и улыбалась, довольная собой и своим «хозяином», который, видимо, и кричал вместо нее, заставляя делать то, чего она не умела и не делала никогда. — Это не я кричала... Это меня кто-то учил и успокаивал...

— Нет, Гешка, ты сплошное электричество!

Позже она прочитала или услышала где-то, что в подобных ситуациях нельзя держать руль, а надо, чтобы он скользил в руках и чтобы руки при этом были готовы в любой момент сделать нужную поправку и вывести машину из опасного крена. Это она и делала, как если бы опыт пришел к ней в мгновение ока. Она знала, что такого не бывает, и никому не поверила бы, не испытать сама на деле странное наитие, спасшее жизнь матери, сыну и ей самой.

Теперь она была безусловно уверена, что в ней живет заботливый и мудрый хозяин, который может даже прикрикнуть на нее в экстремальных ситуациях, заставить сделать то, что надо сделать немедленно, когда разум уже не в силах помочь, не в состоянии что-либо вычислить и подсказать. Именно

в этот момент и выходит на сцену хозяин, заранее знаящий все, что она должна сделать. И сделать при этом с виртуозностью мастера, движения которого доведены до автоматизма, потому что в подобных случаях времени остается в обрез.

— Очень странно! — тихо говорила она с тех пор и улыбалась, когда разглядывала себя в зеркале. — Очень странно... — Не сомневаясь в том, что природа наградила ее особенными, редкими способностями, которых лишены все остальные люди.

Неестественно набухшая рубиновой кровью толстая губа придавала лицу безглагольное выражение, как будто она специально выпячивала ее, высказывая свое отношение к людям. Высокие ее плечи, откиннутые назад, как если бы она замерла в сладостном потягивании после утреннего пробуждения, придавали всей ее фигуре жеманность и ту приятную женственность, какую ждут в бессознательном своем поиске женолюбивые мужчины. Руки она обычно держала согнутыми в локтях, а кисти с длинными пальцами, как бы надломленные в запястьях, безвольно были опущены вниз. Она любила носить джинсы и туфли на очень высоком каблучке, сменяя каблук только за рулем, когда это мешало. Презирала тапочки и халаты. Прически себе делала сама, вполне овладев этим тонким искусством. Любила шоколадное мороженое с рюмочкой ликера «Моко». И не могла жить без черного кофе: у нее было пониженное давление.

Женщины, незнакомые с Гешей, почему-то сразу же злились на нее, видя в ней хищницу, озобоченную одной лишь низменной страстью, в чем, кстати, виновата была ее заметная, чувственно разбухшая губа, за что злоязычные ненавистницы дали ей кличку «грибастая».

Слово это, видимо, имеет происхождение древнеславянское, ибо по-чешски, например, губы — грибы. Но каким-то образом люди отыскивали его в современном русском языке и прилепили к Геше.

Когда Геша впервые услышала свою кличку, она обиженно улыбнулась, вскинула взгляд в поднебесье, пожала плечиком и горестно вздохнула.

— Мне никто не говорил этого в глаза, — сказала она. — Чепуха какая! А вообще-то древние еще знали: войну может развязать и трусливый. Но закончить способны только смельчаки, сильные духом и телом. Сделать это труднее, чем развязать. Но зато почетнее. Я готова! Хотя, господи, что я говорю! Какая война? С войнами можно было мириться в век пороха и даже динамита. Теперь не то! Есть, конечно, людишки со способностью маленького лесного зверька замирать: «Меня здесь нет». Маленькие. Всякий может обидеть и даже съесть. Как-нибудь крупная птица поймает и съест. Надо замирать, исчезать, прятаться. Но то зверьки! А когда это люди — противно. У меня вообще странное отношение к людям... Я, например, увижу человека с зонтиком и думаю: хороший человек. Почему? А потому что с зонтиком. По-моему, плохие с зонтиком не ходят. — И она неестественно весело рассмеялась. — При чем тут зонтик?

Ей очень не понравилась кличка. Она понимала, конечно, что отменить или поменять ее не удастся никогда.

Второй год она работала в горисполкоме. Ее угостили перейти сюда из школы, включив в комиссию по работе с молодежью, а точнее сказать, по борьбе с некоторыми вредными привычками, грозящими здоровью подростков. Теперь она вплотную была связана с органами внутренних дел. Хотя комиссия, в которой она работала штатно, не обладала никакой властью. В задачу ее входило выявление

неблагополучных молодых людей, к чему была привлечена общественность: директора школ, ПТУ, заводов. Геше приходилось много времени тратить в районном управлении внутренних дел, убеждая работников милиции в неизбежности совместной борьбы с коварным злом, методы и способы обнаружения которого не были еще как следует разработаны и внедрены в практику.

Когда знакомые любопытствовали, где она работает, она отвечала однозначно: в горисполкоме, не вдаваясь в подробности. И вид у нее при этом был такой, что, казалось, ей неприятно говорить о своей работе.

Но это было не так. Она страстно увлекалась новым делом, понимая всю его чрезвычайную важность, и, по привычке думать о себе в высоком стиле, считала себя сражающейся за идеалы общества на самом переднем крае тихой войны. Это ей придавало энергию и уверенность. И она с удивлением вспоминала о прошлой своей работе, жалея о зря потраченном времени. Впрочем, французский язык пригодился ей и на новом месте: в старинный город нередко наезжали иностранные туристы. Геша очень старалась быть хорошим переводчиком, развивая в себе артистические способности и совершенствуясь с каждым разом в искусстве общения с людьми. Она не испытывала при этом ни тени страха или сомнения. Бывала естественна и обаятельна, наученная еще Ибрагимом улыбаться гостям даже в те минуты жизни, когда хотелось плакать.

Разумеется, все эти вынужденные превращения нужны были лишь для того, чтобы пресечь, если понадобится, контрабанду «дури», источники проникновения которой в известную среду молодежи были непредсказуемы и требовали тщательного поиска.

В сложных этих занятиях проходила теперь вся ее жизнь. Она много читала специальной литературы, включая и медицинскую, и часто задумывалась, откладывая книгу, вперившись невидящим взглядом в пространство, в зыбком свете которого возникал вдруг образ Ибрагима, многорукого красавца с яблочным румянцем, заваленного разноцветными купюрами денег и внешторговых чеков. В душе ее звенела в эти мгновения электрическая струнка, издавая предельно тонкий, как мышинный писк, пронзительный звук, словно в сознании ее включался экран испорченного аппарата, искажающего изображение до неузнаваемости. Мозг ее, отключившись от будничных дел, начинал играть, рисуя воображаемые картины мести с изощренностью малолетнего садиста, не укрепившегося в нравственных принципах. «Так-так, — говорила она, злорадно усмехаясь и дрожа ресницами, — значит, из тумбочки? Так и запишем — из тумбочки»... И почему-то пистолет оказывался у нее в руке, и почему-то свекровь падала на колени: «Не убивай моего сына! Не убивай моего сына!» — умоляла она, сцепив костистые пальцы с молочно-белыми, длинными ногтями. «Мама, не мешай! — требовал сын, лицо которого взляло землистым цветом. — Я заслужил!» «Он отец твоего сына! — стонала свекровь, ломая руки. — Пожалей моего сына!» «Он убийца», — спокойно говорила Геша, прижав к бедру руку с пистолетом. И так, с бедра... Нет! Тут картина вдруг пропадала, и Геша не слышала грохота выстрелов. Она только видела страдальческую улыбку на землистом лице Ибрагима. Оцепенело смотрела на себя в зеркало, и ей казалось в эти минуты, что она похожа на врубелевскую Тамару. Сердце ее бешено колотилось, дыхание было затруднено. «Нужны сирени, — думала

она.— Огромные мокрые цветы, какие мог писать лишь Врубель. Такие цветы только на его полотнах, такие не бывают в жизни, они лучше, чем в жизни... Боже мой, с каким наслаждением я положила бы его в эти сирени! Какая я была курица!»

В небольшом ее кабинете, под настольным стеклом, рядом с распластанным календарем, глянцево блестя фотография Эмиля, сидящего на трехколесном велосипеде. Он был очень похож на отца. И только на переносице, между густыми бровями, голубел, как чернильный штрих, тонкий кровеносный сосудик, который с невероятной точностью передался ему от матери: Геша до сих пор смущалась, когда кто-нибудь путал этот сосудик на ее переносице с мазком синих чернил. «Ты чернилами испачкалась», — говорили ей веселые мужчины, любившие ее. — Послунявь платок».

А мужчины любили ее с той великолепной забывчивостью, какая свойственна, пожалуй, только людям женатым, обладающим в полной мере чувством долга и верности, — любили, как любят дети цветы, солнечный восход, не зная еще о том, что вся эта красота, данная им словно бы в награду, вечна, а сами они, увы, ненадолго прописаны на земле. Георгина Сергеевна, или Геша, словно бы одним своим взглядом отпускала грехи и заставляла без всякого усилия со своей стороны забыть о бренности всего живого на земле, как если бы обладала, сама того не подозревая, таинственным даром омолаживать души и заглушать вопли и стоны страдающей памяти, напоминавшей о глухой толще прожитых лет. Мужчины старше сорока млели в ее присутствии и готовы были согласиться на все, что требовала от них эта добродушная красавица. Работники РУВД, встречая Гешу, распускали на лицах улыбки, и даже самые строгие из них не могли побороть в себе чувства восхищения, ломая свои привычки, если она заходила в их кабинеты. Они плыли в выжидательной полуушмешке, как будто хотели предупредить ее, что с ними она не сумеет расправиться с той легкостью, с какой удавалось ей это с менее стойкими товарищами, но в конце концов тоже расслаблялись и всячески хотели оставить о себе приятное впечатление.

— Георгина Сергеевна, — говорил ей седой подполковник, доверительно прикасаясь кончиками волосатых пальцев к ее руке, — вы умница. Вы расставляете все точки над «i», и это хорошо... При условии... При единственном условии! — восклицал он, с отеческой улыбкой глядя на Гешу. — Если существует само это «i»... Понимаете меня?! Не ставите ли вы точки над пустым местом? Надо прямо сказать, проблема эта не придумана вами, но, может быть, вы преувеличиваете?

Она тоже улыбалась красивому подполковнику, волосы которого, переняв цвет мундира, казалось, отвечивали голубизной, и говорила как будто бы совсем о другом, не имеющем никакого отношения к делу:

— Я знаю одну знаменитую оперную певицу... У нее голос — божественный... Но, знаете, чего ей не хватает? Легкости вдоха. Слышно, как она набирает воздух на вдохе. На выдохе у нее все прекрасно. А на вдохе... Тайна пропадает, загадки нет... Все есть, а этого нет и не будет никогда. Так и вы тоже! На выдохе у вас все хорошо, а на вдохе — шумно.

— Не понял вас...

— Что же тут непонятного?! Не хотите всерьез — то есть легко и просто! — взяться за новое дело. Поете хорошо, а на вдохе тяжеловаты, не можете легко набрать воздуха в грудь. Вон она какая у вас широкая! А вы не хотите... Я вас вычислила, работы

вам хватает. Но и вы нас поймите. Что мы без вас? Подполковник усмехался, хотя и слыл гневливым человеком.

— Тогда и я вам тоже издаю, — говорил он, откидываясь на стуле. — Вчера иду мимо универмага, а в урне торчат хорошие туфли, которые лет тридцать пять назад стоили больших денег. Вы не помните, к счастью. Вы другие люди — молодежь. Купили новые, а старые тут же выбросили. Это, наверное, хорошо. Так и надо. Но моя супруга да и сам я тоже никогда бы этого не сделали. Привычки нет. Я привык ремонтировать обувь. Износились туфли, их бы выбросить, а я несусь в мастерскую и, признаюсь, радуюсь, когда получаю хорошо почищенные: еще на несколько месяцев сгодятся. А вы что предлагаете? Плюньте на старье и давайте обнову. Завидую вам: вы многого не знаете. Вы не знаете, что значит чинить старую обувь, которая не жмет ногу. Я ведь не от скупердяйства, а потому, что люблю старую обувь, привык к ней. Это, знаете, как охотник пошел на охоту в новых сапогах и убил ноги вместо дичи. Нет, Георгина Сергеевна! Прежде надо хорошенько все обсудить, а уж потом, как вы говорите, воздуха в грудь без шума набрать. Для меня важно, как я выдохну и что выдохну. А как вдохну — это дело личное. А вообще, вы умница. Работаете в правильном направлении. Будем откровенны! Сбросим шелуху, — говорил он, свысока поглядев на свою собеседницу. — Я люблю думать и всегда думаю, что занимаюсь карающими операциями. Я воин, оберегающий отечество от внутренних врагов. Значит, в руках у меня карающий меч. Красиво? Но верно. Поговорка есть такая: куда дерево клонилось, туда и повалилось. Покажите мне это дерево! Но не предлагайте, чтоб я его исправил... Это не мое дело. Не современно? Понимаю. Но мое дело вырубить это дерево, чтоб оно не портило лес, а не ставить подпорки. У меня старая закалка. Знаете, как я в свое время карманников вылавливал в городском парке? Провоцировал! Незаконно? Верно. В пиджачочке в толпу воткнулся, а вот сюда, в верхний кармашек, тридцаточку суну, красненькую... Раньше тридцаточки были, вы не помните... Рука в карман, а я за руку. Куда клонилось, туда и повалилось. Я караю, Георгина Сергеевна, караю! И не хочу знать ничего лишнего! Это мне мешает. Я человек дела. И меня в обмашку не возьмешь!

— Слово какое-то непонятное... В обмашку, — говорила Геша, сердясь.

— А очень просто... Обманным путем.

— Ах, это старина! Конечно! Очень важно не забыть, помнить всегда... «В обмашку»... Это в старину тоже говаривали: «Супруге, прошу покорнейше, напомнить о себе», — говорила Геша, поднимаясь и чувствуя, что на лбу у нее под волосами выступил пот, которого она всегда боялась... — «Прошу покорнейше!»

— Перестаньте, пожалуйста. Сядьте! Сядьте, сейчас же! — говорил осерчавший подполковник, хватая ее за узкое, хрупкое, непривычно запястье, выходящее из которого руку ничего не стоит, никаких усилий... — Что вы от меня хотите?

— Помощи! Господи, простой, человеческой, запрограммированной помощи! Ничего больше, честное слово!

— Что значит запрограммированной? — сердито тоже спрашивал подполковник, глаза которого становились похожими на глаза невыспавшегося человека. — Говорите яснее, Георгина Сергеевна.

— А то! Ваша обязанность, ваша программа — помощь, а потом уже кара.

— У нас что получается... Вы на каких-то иностранных оборотах обходите меня. Я на наших, русских. Что такое? Вы русская? Русский язык знаете? Говорите со мной просто, по-русски... Что надо? Я скажу да или нет. Надоело!

— А что это вы так со мной разошлись? Я к вам не с улицы!

— Не с улицы. А я как с товарищем. С товарищем ругаюсь! Надо прямо сказать. С улицы придут,— говорил подполковник, меняя гнев на милость и улыбаясь опять отечески,— я с ними, знаете, какой вежливый. Положение обязывает. А мы с вами, Георгина Сергеевна, товарищи по оружию, нам не грех и поругаться ради выяснения позиций. Вот так я думаю. Думаю, что мы с вами сработаемся... Шефу своему привет. Кстати, как ваша машина бежит? Если что надо, скажите, поможем. И вот что еще помните,— говорил он, вставая из-за стола и кладя на спину Геши теплую руку, под ладонью которой волновались, как птичьи крылья, Гешины лопатки.— Помните, Георгина Сергеевна, вы занимаетесь серьезным делом. Будьте осторожны. Чтоб никакой самодетельности!

— Но вы-то сами понимаете? — спрашивала Геша, ощущая обжигающе-горячее прикосновение руки.— Ухожу от вас ни с чем.

— Как это ни с чем? — изумленно воскликнул подполковник.— А голова? Надо прямо сказать. Она битком набита информацией! Будем думать! Разве этого мало? Набросали столько вопросов, а говорите ни с чем! Будем думать. Ах, лет на тридцать помоложе бы! — говорил он, провожая Гешу до дверей.— В нашей молодости таких красавиц не было. Таких красавиц мы не видели, нет. Удачи вам! И не забывайте старика. Вот что еще напоследок хотел я сказать вам, уважаемая Георгина Сергеевна! Вы ведь знаете, есть самолеты туполевские, а есть ильюшинские... Какая разница, знаете? А та, что туполевские идут в небо круче, чем ильюшинские. Ту — сразу нос задирает, а Илы постепенно набирают высоту. Если же летчик с Ту на Ил переседет, может по привычке и Илу тоже нос после взлета задирать... Что получится, знаете? Самолет рухнет. Так вот, я вроде бы по характеру как ильюшинский самолет, а вы, девочка моя, туполевской конструкции. Понятна разница? Давайте летать, как положено: вы по-своему, а я уж по-своему, как привык. Хорошо?

— Хорошо.

— Ну вот и умница. Надо прямо сказать — умница.

Подполковник носил сапоги из хрома высокого качества, сшитые, видимо, по заказу. Они всегда блестели у него, какая бы ни была погода на улице, делая ноги похожими на стеклянные бутылки. Этот секрет раскрывался просто: подполковник держал в кармане тубик пасты и маленькую сапожную щеточку в чехле, ни одной капельки грязи никогда не оставляя на поверхности черной кожи.

А на улице тогда моросил тихий дождик. Белая машина, на которой всюду ездил Геша, была грязная, как белая охотничья собака, набегавшая по болоту. Два полукружия на ветровом стекле чернели в глинистой мути. Геша тоже терпеть не могла грязную машину, как подполковник нечищенные сапоги, ей даже казалось, что мотор хуже тянет, а она сама хуже управляет, когда машина испачкана по самую крышу.

Была весна. Снег растаял. Только кое-где лежали еще пласты черного спрессованного льда. Дворники долбили его ломом, разбрасывая колотые куски сочащейся черноты на мостовую, полагая, что коле-

са автомашин раскрошат их вдребезги. Приходилось тормозить и объезжать ледяные выбросы.

Старые дома тесно стояли вдоль улицы, желтая крашеная штукатуркой. Улица шла под уклон. Внизу блестели мокрые крыши старого города, двухэтажных особняков, обветшалых и требующих постоянного ремонта. Когда-то перед фасадами этих купеческих и мещанских домов зеленели палисадники, пестрела булыжная мостовая, пропавшая лошадиным навозом, чирикающая воробьями, каркающая и звонко вскрикивающая воронами и галками. Тучи их чернели в небе, кружились над куполами церквей и шпилями колоколен. Теперь асфальт, как поля вода, подошел под самые цоколи домов, затопив улицу серой массой, в близости которой выстроились вдоль тротуара американские клены. Теперь над покатыми крышами домов торчали бесчисленные телевизионные антенны всевозможных конфигураций, а над мостовой натянута проволока троллейбусов и уличных фонарей. Теперь особняки кажутся очень старыми, а архитектурные их достоинства — фронтоны с лепными лавровыми венками, перевитыми лентой, с летящим ангелом или каким-нибудь вензелем, похожим на герб; лепные карнизы или даже колонны с капителями, — все эти особенные лики домов теперь представлялись жителям и гостям города приятной достопримечательностью, воплощенной в камень и пробуждающей ностальгические чувства.

В горисполкоме давно уже спорили о будущем этой улицы или, точнее, многих улиц, составлявших исторически сложившуюся центральную часть города. В последние годы побеждало мнение, что дома эти надо сохранить, благоустроив жилища людей, мечтающих переехать в те новые кварталы, которые видны были из любого места города. Они белой массой возвышались над старыми домами в дневные часы и светились в ночи бесчисленными окнами, как горы горячей, тлеющей золы с пробегающими тут и там искрами.

Геша жила в деревянном доме и не хотела никуда переезжать. Дом этот стоял в переулке с булыжной мостовой и с булыжными тротуарами, между камней которых зеленела трава. Рядом с домом сохранились тяжелые деревянные ворота, висят на ржавых петлях, и калитка, открывавшаяся с визгливым пением. За калиткой был дворик с тремя дощатыми сарайчиками, по числу семей, живших в доме. По договоренности с соседями Геша ставила машину во дворе, возле самых ворот, где под травой глыбились вдавленные в землю булыжники. Во всех уголках дворика росла густая курчавая трава. Пахло тут влажными дровами, а летом жареной или вареной пищей. У всех жильцов была своя квашеная капуста, которую они шинковали или рубили поздней осенью во дворе, на широкой, врытой в землю скамейке. На этой же скамейке грелись на солнышке старики или играли дети. Играла когда-то и Геша.

Деревянный дом, обшитый выгоревшей, потемневшей вагонкой с шелушащейся краской, был похож на большую голубятню. Застекленные террасы, поблескивая мутными квадратиками, громоздились и на втором его этаже, поддерживаемые толстыми кирпичными тумбами, между которыми, в свою очередь, тоже блестело стекло террас первого этажа. Чудилось порой, что не люди строили этот разбеганный дом, а сам он вырос тут, как растут деревья, горы мусора или грибы.

Дом страдал неистребимой жаждой, пропускал все дожди в свое нутро. Профиль крыши был так изломан, что вода обязательно находила себе какую-нибудь щелку и просачивалась в комнаты вто-



рого этажа. Но этот дом был искусно спроектирован, у каждой семьи была небольшая квартирка с отдельным входом и при этом одна комната размещалась на втором этаже, а две и кухня на первом: было где спрятаться от капели. Террасы тоже были у каждой семьи, как будто кто-то когда-то позаботился о том, чтобы в доме этом люди чувствовали себя независимыми друг от друга хозяевами, у которых общим был только двор, место для встреч и разговоров о жизни, о делах, о детях, о войне и международной политике. Люди так привыкли к своему жилищу, так ругали его и так любили, что слухи о сносе дома приводили их в уныние. Забывались тогда протекающие потолки и гуляющие звуки капель, падающих в тазы и мешающих спать по ночам. Люди себя чувствовали так, будто им хотели предложить взамен на старенькую беличью шубку синтетическое великолепие. Особенно горевали, конечно, старики и старухи, которые представить себе не могли жизни в многолюдном гиганте и заранее ругались, ворчали, спорили заочно с местными властями, отстаивая свое право спокойно закончить жизнь в родном доме. В общем, старобитная жизнь в деревянном доме устраивала всех без исключения, и никто никуда не хотел уезжать.

К вечеру вместо дождя полетел снег. Как всякий весенний снег, он казался бессмысленно веселым и, точно глупец, пытающийся развлечь своими шутками умных людей, был пушист и настырен, битком набив воздух белой кашей. Поднявшийся ветер взвизгивал лохматые снежинки, они празднично и светло носились в воздухе, пугаясь мокрой земли и мокрого асфальта, соприкосновение с которыми грозило им гибелью. Снег этот, как всякий весенний снег, красовался в воздухе и пропадал на земле. Только крыши холодных автомашин, крыши сараев и стебли прошлогодней травы давали ему временный приют.

Но утром город проснулся в черно-белых тонах, как будто глупый снег сумел договориться с темным ночным морозцем и настоял на своем назло умным людям, которые знали, что этого не должно было случиться.

Рано утром Геша проснулась с острой тоской на душе. Тоска эта словно бы мучила ее всю ночь, а теперь совсем расслабила волю. Ей хотелось плакать, и она с трудом сдерживала раздражительность.

По радио говорили о трудностях. О трудностях полеводо- и животноводов. Дикторша, читавшая текст, упивалась трудностями, известными ей понаслышке, выдерживала паузы, горестно вздыхала, украшая текст соответствующей интонацией.

— С ума, что ли, сошли! — злым полусшепотом воскликнула Геша, выключая приемник. — Трудно, трудно, трудно! Лентяю и неумехе все на свете трудно! За что ни возьмется, все трудно! Безобразие какое! Скоро договоримся до того, что жить гоже трудно... Совсем обалдели! Тоску на людей нагоняют, нагоняют! Кто это все пишет? Зачем? Радоваться совсем разучились...

Она это говорила, ни к кому не обращаясь, с механической, нервной торопливостью жуя пережаренную яичницу, у которой вдруг вспомнила, и резко отодвинула от себя горячую сковородку, бросив вилку, звякнувшую об стол.

Этот звякнувший звук вилки, которая, стукнувшись об стол, упала на пол и тоже дребезжаще звякнула, совпал с неожиданным и продолжительным звонком в дверь.

— Да что это такое! — сказала Геша, плаксиво

морщась. — Иди открой, мама. Но только никого не пускай. Всех к черту! Подожди, я уйду вверх.

Уже сверху она слышала, как мать открыла дверь, как мужские голоса шумно ворвались в дом, как тяжело затопали по полу чьи-то ноги, неся кого-то в этот ранний час в полусонное ее жилище с той решительностью, какая бывает только у людей, имеющих право войти в чужой дом.

У нее зашло сердце в предчувствии непонятной беды, но на ум не приходило ни одно мало-мальски подходящее предположение, кто бы это мог быть.

И вдруг она услышала имя сына, произнесенное мужским голосом. У нее закружилась голова, на лбу выступил пот, она опустилась на жесткий диван и стала с силой растирать виски, ничего не понимая, находясь в полубморочном состоянии, из которого никак не могла выкарабкаться.

«Идите все к черту! — хотелось крикнуть ей вниз, но сил у нее не было. — Все к черту! Убирайтесь!»

Вот уж кого не ожидала она в этот день в своем доме, так это Ибрагима. То есть не то, чтобы в этот день! Она вообще не думала, не могла себе представить, что он ворвется в ее жизнь спустя столько лет почти полного забвения.

Она была очень смущена. И больше всего потому, что в это утро плохо выглядела, не успела причесться и была слишком раздражена, чтобы выглядеть счастливой и вполне независимой. Она была истинной женщиной и знала, что раздражительность и красота — несовместимые понятия. Заперлась в комнате и принялась приводить себя в порядок, то и дело выпячивая нижнюю губу и поглядывая исподлобья с задумчивой хмуростью. Она знала также, что если прическа, какую она задумала, не получится с первого раза, то и нечего больше стараться — все равно ничего не выйдет. У нее были послушные волосы, и она легко собрала их в пучок на макушке, оголив шею и оставив на ней только два-три тонких полупрозрачных завитка. Она знала, что и небрежность в прическе должна быть хорошо продумана и отлично исполнена, — и ей это удалось. Такие же тонкие пряди она оставила на висках, а на лоб пустила густую челку, тоже как бы небрежно упавшую с темени. Легкомысленное выражение, которое не замедлило появиться на лице, она усилила, выбросив локон, отделив его от массы вьющихся на лбу волос и придав горячими щипцами, которые были у нее под рукой, игривое движение. Она со всех сторон оглядела свою голову, сделав это с помощью небольшого овального зеркала, и осталась довольна собой. Тенями она никогда не пользовалась, но на этот раз, чтобы скрыть заспанность на лице, едва заметно тронула надбровья коричневым тоном. А на губах усилила блеск бесцветной помадой. Она помнила, что Ибрагим любил, когда от нее сильно пахло хорошими духами. У Геши были хорошие духи, которыми она не пользовалась с той далекой поры.

Ей, конечно, хотелось бы усилить блеск коричневой радужки глаз, чтобы получились три сияющих пятна на лице, составленных из глаз и темной губы. Но она была и так уже хороша необыкновенно. Волнение, которое охватило ее, прибавляло теперь красоты: ресницы вздрагивали, ноздри тоже, взгляд был тревожен и робок, даже губа и та волновалась, когда она, надев на себя строгий костюм темно-зеленого цвета, спустилась вниз. Она спускалась по крутой деревянной лестнице, придерживаясь за скользкое перильце с таким чувством, будто выходила впервые в жизни на большую сцену. Нога ее в узенькой туфле тянулась к следующей, к нижней ступени с той грацией, с какой, быть может, толь-

ко наяда ступала обнаженной ножкой в прозрачный ручей, вода которого холодна и быстротечна, а дно каменисто.

Голоса умолкли, когда она вся появилась на нижнем этаже, изображая крайнее удивление.

В комнате, которая считалась гостиной, сидели трое мужчин. Все они поднялись со стульев. Ибрагим поздоровался, склонив голову, и, ошалело улыбаясь, громко сказал:

— Что я говорил?! — обращаясь к тем двоим, с которыми приехал. — Красавица! Я им говорил: первая моя жена — красавица! Не верили! — сказал он, как бы извиняясь перед Гешей. — Это мои друзья.

Геша подняла брови и посмотрела искоса на друзей Ибрагима. Один из них с ярко-белой лысиной и оттого высоким лбом, под которым прятались в бровях и ресницах пронзительно голубые глаза — некрасивое, но умное лицо. Второй — каких много: бесцветный, серенький, с седеющими волосами, тяжелая голова на короткой шее, подбородок упирается в узел галстука, воротник рубашки чуть ли не до ушей — невзрачный и, наверное, равнодушный. Поднялся со стула, потому что все поднялись, поздоровался, потому что так полагается, увел взгляд, потому что ему все равно, красива или нет первая жена Ибрагима. В тесном клетчатом пиджаке, из обшлагав которого багровели налитые силой и тяжестью руки, он первый уселся на стул и как бы исчез из поля зрения.

Геша качнула глазами, здороваясь со всеми, и, овладев собой, сказала матери:

— Напоила бы чаем, что ли... Ранние гости — наказание.

— Мы с аэропорта, — вежливо сказал Ибрагим. — Прилетел посмотреть на Эмиля. Имею право.

— Если хотите травмировать мальчика, скажите, что вы его отец, — сказала Геша, не глядя на Ибрагима, и добавила презрительно: — Имеете право.

Вместо Ибрагима ответил лысый:

— Что-нибудь придумаем, — придвинувшись слишком близко к ней.

— Кстати, — обратилась Геша к нему, — вы с аэропорта. Очень хорошо! Но у меня не харчевня и не гостиница!

— Не позорь меня, — взмолился Ибрагим. — Я говорил, ты красивая, интеллигентная женщина! Я пришел к сыну. Ты его мать, я отец. Зачем так?! Мы остановились в гостинице. Э-э, нехорошо! В жизни бывает всякое, но об этом не надо знать Эмилю. Зачем ты меня обижает? Разве я не понимаю! Я подарки привез! — сказал он и обиделся, как избалованный ребенок.

Голос его дрожал, когда он жалобно и страстно говорил все это.

Она сказала:

— Надеюсь на твоё благоразумие. А как ты... что ты ему скажешь? Он спросит, а ты?

— А что говорила ему ты?

— Я говорила? Говорила, что папа живет очень далеко и что когда... потом... Я говорила, что ты когда-нибудь приедешь... Вообще он не спрашивает. Ты можешь передать ему привет от якобы отца... Что он якобы очень занят... Что-нибудь в этом роде, я не знаю... А разве тебе обязательно разговаривать с ним?

— Где он сейчас?

— Спит. В соседней комнате. Если мы не разбудили.

— Я подумаю, — сказал Ибрагим.

— Могу подвезти до гостиницы. Всех! Я тороплюсь. Мне бы не хотелось, чтоб все это произошло без меня. Извини. Я этого очень боюсь. Вы надолго в наш город?

— Я нет. Вот они — да. Что значит надолго? Все относительно.

— Выходит, ты с ними. Ну ладно. Не они с тобой, а ты с ними. Попутно.

— Надо поговорить.

— Поговорим по дороге.

Лысый, самый вежливый и умный из троих, стал надевать кожаное пальто. Поднялся и Серый, не выражая никаких эмоций.

— Хорошо, — сказал Ибрагим и тоже стал одеваться.

Запахло новой кожей. В помещении потемнело от тесноты, громоздкости мужских тел.

Геша долго грела мотор, долго соскабливала обледеневший снег со стекол грязной машины. Мужчины о чем-то азартно, но тихо спорили, не обращая на нее внимания. А для Гешы было самым главным сейчас увезти эту троицу из дома и, может быть, потом, уже на нейтральной территории, встретиться с Ибрагимом, если он будет настаивать. Прийти с Эмилем, если этого нельзя избежать, и все сделать так, чтобы Эмиль не догадался, кто этот красивый мужчина.

Лысый стал отворять ворота. Вытащил деревянный, круглый и гладкий засов, с усилием раздвинул широкие створки, примерзшие к снегу, потащил в сторону сначала одну, проводя на заснеженной земле циркулярный след, потом другую. Бугристый переулочек белым светом хлынул во двор.

Из окон смотрели соседи, прячась за занавески. Все они, конечно, могли подумать, что трое мужчин ночевали в ее доме.

— Выезжайте, я закрою, — сказал Лысый, пряча в черных ресницах васильковую синеву.

Сказал так, будто успел затеяться в друзья, понимая больше, чем кто-либо другой, ее волнение и невольную грубость. «Что-нибудь придумаем», — словно бы говорил его взгляд.

Ибрагим, усевшись рядом с Гешей, критически разглядывал постаревшую машину. В моторе громко барабанил распределительный вал. Когда-то на черной панели приборов была наклеена яркая тигриная морда с ощеренной клыкастой пастью. Геша заметила, как он погладил пустое место, глазам своим не поверя, что такая красота бесследно исчезла.

— А где же тигр? — спросил он, задумчиво улыбаясь.

— Слиял.

Лысый затворил ворота и, скользя, подошел к машине, вытряхивая из-за шивороты снег, упавший с наверхия ворот. На ногах у него были тонкие, на коже, черные ботинки знаменитой фирмы «Салламандра» — пешком этот человек не ходил.

— Итак, — сказал он, колыхнув машину грузным телом. — Путь открыт... Все за семафором! За рулем цветов по имени Георгина. Машина старая, как печка, а в салоне чудо. Нет, Ибрагим, ты Емеля-дурак! Из русской сказки. Я как человек за семафором могу тебе это прямо сказать, и ты не обидишься. Знаете, — обратился он к Геше, приблизив дыхание свое к самому ее уху, — мужчина в командировке — это мужчина за семафором.

— Вы мне мешаете, — сказала она, отстраняясь. Тяжело груженная машина требовала газа, но скользкую дорогу держала лучше. Геша подъехала к гостинице и, остановившись, молча ждала.

— Чего или кого ждем? — спросил Ибрагим.

— То есть? — спросила Геша, скосившись.

— Ха! — воскликнул Лысый. — Но это не та гостиница! Ничего, ничего! Мы зайдем и сюда. Выходим! Как раз время завтрака. Все выходим!

— У нас другой, — сказала Геша, стараясь скрыть удивление, — нет.

— У вас — нет, у нас — есть, — загадочно пояснил Лысый, намекая как бы на что-то такое, о чем не надо всем знать. — У нас особая гостиница, закрытая.

Ибрагим задержался.

— Надо поговорить, — сказал он и повернул ключик в замке зажигания.

Улица шумела. Автомашин опять, как зимой, вертели пушистыми хвостиками пара, люди словно бы почернели, одевшись в зимнее, торопились по белым, натающим покровам тротуаров. Геша смотрела сквозь боковое стеклышко, вслушиваясь в хруст шагов и жесткий гул резиновых скатов, катящихся по мостовой.

— Вы, оказывается, в командировке... — сказала она с усмешкой. — Или опять не имею права спрашивать? Не загрызешь?

— Надо поговорить, — сказал Ибрагим с упрямством в голосе.

— О чем? — воскликнула она, оборачиваясь к нему всем корпусом. — Ты бы спросил, хочу ли я говорить с тобой? Для начала. Нам с тобой не о чем. Надо тебе или нет — мне все равно. Не о чем говорить!

— Я отец Эмиля.

— Слушай, сделай так, чтоб я тебя искала! Уйди за горизонт! — вырвалось у нее чужое, вновь приобретенное, хлесткое, как ей казалось, выражение. — Сделай, пожалуйста! Какой ты отец! Ты просто алиментщик. Знаешь лучше меня. Иди к черту!

— В школе научилась? Или где ты сейчас?

— А что за люди с тобой? Сначала поговорим о них, а потом уж... Что у них за дела?

— Большие люди. Что они делают в городе, знают только несколько человек. Тебе не обязательно, — сказал Ибрагим, снисходительно поглядывая на Гешу, которая вдруг улыбнулась ему и, меняясь на глазах, изобразила на лице растерянность, сказав при этом:

— Неудобно получилось. Надо заранее предупредить. А не лучше ли встретиться вечером? Я тороплюсь. Извинись, пожалуйста, перед ребятами... Я себя плохо чувствую... Приходи сегодня часиков в семь. Можешь с друзьями. Вот тогда и поговорим.

Ибрагим внимательно посмотрел на нее.

— К тебе? — спросил он осторожно.

— Легкий ужин. Ничего больше. С вилками, конечно. Ну, что-нибудь! Я кое-что вспомнила, — сказала Геша и поняла, что Ибрагим слишком внимательно вглядывается в ее глаза. — Нарушаю планы? — спросила она, перестав улыбаться и с тревогой уже понимая, что совершила какую-то ошибку, вызвавшую подозрение Ибрагима. — Как хочешь. В конце концов надо это тебе, а не мне. Придете вместе, Эмиль ни о чем не догадается. Так будет лучше. Как зовут твоих ребят?

— Ребят? Они тебе сами назовутся, — сказал Ибрагим с внезапной злостью в голосе и вынырнул из машины, оставив дверцу незапертой.

В смущении она потянулась к дверце, и ей стало вдруг страшно. Она испугалась не за себя, ей стало страшно за то, как она глупо ошиблась. Слишком круто изменила свое отношение к Ибрагиму и к его друзьям. Раскололась, сделав вид, что поверила. Будь на его месте другой! Но он-то, зная ее, не мог же всерьез говорить о какой-то секретной работе «больших людей». Она промахнулась на шутке. Ибрагим хотел замаять неприятный вопрос, пошутил: «Закрытая гостиница! Важное задание!»

«А я, дура, сделала вид, что поверила, — думала

она с небывалым смущением и страхом за свою очевидную ошибку. — Догадался? Что-то новенькое. Такая вдруг злобная подозрительность! Вечером будет нелегко. Надо думать».

Она завела мотор и тронулась с места, но тут же затормозила, услышав сзади пронзительный сигнал черной «Волги», из-за стекол которой что-то грубое прокричал ей злой парень; она легко представила себе все, что он кричал, и опять смущенно улыбнулась, понимая свою вину и чувствуя: кровь приливает к голове, обжигая глаза стыдом.

Ибрагим не мог, конечно, забыть, как она беспокоилась, подозревая его и требуя объяснений, откуда в доме деньги, и, разумеется, понимал — она не такая дурочка, чтобы принять его за сотрудника, выполняющего какое-то задание, о котором знают очень немногие... Такого быть никак не могло.

Геша снова и снова возвращалась к своему испугу, мозг ее напряженно работал, словно бы ощупывая каждую черточку поведения Ибрагима и двоих его спутников, находя все больше и больше подозрительного в той, как это ни странно, подозрительности, с какой эта тройца относилась к ней. Ей казалось странным, что Ибрагим, приехав взглянуть на сына, не захотел посмотреть на него спящего, то есть не настоял на этом, а легко согласился дожидаться вечера. Станным казался ей слишком ранний визит и чрезмерная вежливость Лысого, молчание Серого, как будто все они, нагрянув с аэродрома к ней, пугали след, с удовольствием согласившись тут же уехать на автомашине. И наконец, подозрительность Ибрагима, который словно бы обжегся вдруг, наткнувшись на ее нелепую, хотя и очень естественную игру в доверчивую дурочку...

Обедать она собралась чуть раньше обычного. Уже не сомневаясь к тому времени, что приезд Ибрагима с друзьями имеет тайную цель, отнюдь не связанную с Эмилем, о котором якобы вспомнил любящий отец. Эмиль в этом деле играл, по всей вероятности, роль надежного прикрытия.

Расставив в своем уме все эти вопросы, Геша была озабочена лишь одним, очень важным обстоятельством: ей необходимо было успокоиться и взять себя в руки. Но сделать это было не под силу — она очень волновалась.

Днем растаял весь снег, было грязно, светило солнце, ослепительно блистая всюду, куда попадала его лучи. Геша бросила машину в переулке, рядом с воротами, и, не оглядываясь, чуть ли не бегом пошла домой. Эмиль играл во дворе, руки у него были испачканы в земле. Мать встретила Гешу очень встревоженно.

— Ну что? — с порога спросила она, испуганно глядя на дочь.

— Что — что?

— Ты его видела?

— Кого?

— Ибрагима. Он только что ушел. Я решила... Не дождался и ушел. Сказал, вы условились.

— А зачем приходил? Когда он пришел? А Эмиль? Подожди, подожди... Что-то я ничего не понимаю. Приходил Ибрагим, и что?

— Пришел часа два назад или час. Сидел, спрашивал... Ждал тебя. С Эмилем говорил... Но какой-то странный. Удивился, что ты не в школе. Интересовался... По-моему, я что-то не то сделала, — призналась вдруг мать, теребя пальцами мочку уха и виновато глядя на дочь. — По-моему, я зря ему все рассказывала.

— Мамочка! — ласково воскликнула Геша, жалостливо улыбаясь. — А что же ты могла ему рассказать? Что значит — все? Или я ничего не понимаю, или мы с тобой сошли с ума! — Она скинула мокрые

туфли и босая вошла в комнату, плюхнулась на диван и, по-мальчишески расставив колени, опять спросила, глядя на мать снизу вверх: — Что же ты рассказала, интересно? Все это очень интересно. Расскажи. Пришел Ибрагим... и что? Ну так что же? Пришел Ибрагим... Дальше что? — говорила она как можно спокойнее, чтобы мать не пугалась. — Расскажи, пожалуйста.

Рассказ матери был сбивчивым, она волновалась. Беспокойство дочери, с которым та не сумела справиться, приводило ее чуть ли не в ужас, словно она ненароком совершила против нее преступление и только теперь начинала понимать глубину пропасти, какая открывалась перед ней по мере того, как она с подробностями рассказывала, что произошло.

Ибрагим объяснил свое возвращение смиренным желанием скорее увидеть сына. Он был настолько деликатен, что, любясь Эмилем, ничем не обнаружил особенного отношения к нему и даже, делая знаки растерявшейся женщине, спрашивал, как зовут мальчика, сколько ему лет, расхваливая его за общительный нрав, за что и подарил зеленый танк с электромоторчиком, очень похожий на настоящий, умеющий ползать на резиновых гусеницах, поворачивать в разные стороны и двигаться назад. Эмил в восторге убежал с игрушкой в другую комнату, в детскую, как называла ее Геша. А Ибрагим посмотрел на часы и сказал, что Геша должна вот-вот прийти, потому что у нее сегодня мало уроков и она освободится рано. И что мать удивленно спросила, какую школу имеет он в виду. Она давно уже не работает в школе. Он что-то путает. И решив набить, так сказать, цену дочери, рассказала ему о новой ее работе, не скрыв от него тех подробностей, какие слышала сама от Гешы, о связи ее с органами внутренних дел, доказывая таким образом Ибрагиму, что бывшая его жена прекрасно обходится без него, ни в чем не нуждается, занимаясь очень серьезным и важным делом, с чем, безусловно, согласился Ибрагим, не уставая восхищаться Гешей, за которой раньше не замечал способностей общественной деятельницы. А потом опять посмотрел на часы, хлопнул себя по коленке, сказал, что не сумеет дожидаться, торопливо оделся и, не простившись с сыном, вышел из дома.

— Я ему сказала, — говорила мать, — что ты вот-вот придешь обедать, а он сказал, что вспомнил о каких-то делах, зашел и убежал. А я только потом поняла, что он мне соврал: ведь не могла же ты ему сказать о школе. Как подумала об этом, так у меня сердце опустилось от страха. Что-то он мне очень не понравился. Все выпытывал, вынюхивал... А эти друзья его! Особенно этот, молчун...

— Да, мамочка, — сказала Геша с вялой улыбкой, — ты, конечно, умница. Я, кстати, тоже не отличаюсь большим умом. А насчет страха преувеличиваешь. Пусть боятся они. Нам-то чего?

— Ты так думаешь? — нерешительно спросила мать.

Она с некоторых пор очень изменилась, смягчила властный нрав, уступив незаметно для самой себя первенство дочери, считая ее теперь главной решающей силой в семье. Геша, тоже незаметно, приняла это как должное, разговаривала теперь с матерью добродушно-насмешливым тоном, как с бывшим диктатором, ушедшим в отставку.

— Ну, хорошо, — сказала Геша тяжело поднимаясь с дивана, со старческой сутулостью и словно бы ломотой в ногах идя по комнате. — Кофе и коньяк с бананами отменяются.

У нее была узкая продолговатая ступня, струнно напряженная сужилиями. Нерастоптанная пятка, совершенно не приспособленная для ходьбы боси-

ком; на ходу Геша гулко постукивала по полу, не умея ходить без каблука, или шла на цыпочках.

— Скажи мне, что все это значит? — просила мать. — Я не могу взять в толк.

— Кто-то сказал, — отвечала Геша, — эмансипированная женщина — как собачка, умеющая ходить на задних ногах... Ходит плохо, но все восхищаются. Вот и я тоже похожа. Мне бы за ребенком смотреть и котлеты жарить. Сегодня страшный день! С самого утра все не так, все кувирком! На всякий случай, сделай к вечеру какой-нибудь салатик. Майонез? Банка, по-моему, оставалась. Огурцы соленые привезла. И, как дура, купила коньяк. Ибрагима я ждала вечером. Он меня опередил. Не знаю, но догадываюсь, зачем. Ах ты, осьминог! — говорила она, словно бы восхищаясь бывшим мужем. — Все рассчитал. Но, я думаю, вечером они не придут. Почти уверена.

— Я отказываюсь, — сказала мать.

— Что?

— Встречать их без тебя. Мало ли что на уме!

— Я буду дома. Не бойся, они не придут. Мы их спугнули.

В верхней комнате отсырел в углу потолок. Крупная капля навернулась в ржавой его сырости, образовалась, как драгоценная жемчужина в цветистом перламутре. В комнате книжный шкаф, приобретенный еще отцом вскоре после войны, когда мебельная промышленность только разворачивала свою деятельность: фанерные дверцы, волнистое стекло, букровая конструкция, грубо покрытая лаком, — он был дорог Геше своими воспоминательными достоинствами, точно шкаф этот все время возвращал ее в детство, к первым романам и повестям, которые до сих пор стоят на липовых полках. Отец считал лучшим романом «Белую березу» Бубеннова: Геша тоже привыкла так думать и говорила, что лучше этого романа она ничего не читала в современной литературе. Но из современной отечественной прозы она вообще почти ничего не читала, интересуясь «Иностранкой», зарубежным романом и детективом. К развлекательному жанру относилась с некоторой насмешкой, как бы признавалась людям в своей слабости, ребячестве, если неслаской потрепанную книжку, обещавшую ей недреманные часы полуночного чтения. Но была, кажется, создана для подобного чтения, и ничто не доставляло ей такого удовольствия, какое она получала от густо наперченного заграничного детектива.

Она, конечно, преувеличивала значение книг в своей жизни. Ее высказывания о литературе никак нельзя назвать серьезными. Но все-таки шкафчик был и книги любимые тоже.

Две картинки на стенах, одна чеканка авторской работы поблескивала над письменным столом, похожим на туалетный: тут и зеркало, и всевозможные склянки, и гребенки, и бигуди... Платяной шкаф, на крышке которого рулон бумаги, вентилятор, китайский термос в малиново-серебристом футляре и всякая всячина, ненужная и давно забытая, лежащая там до первой серьезной уборки. Зеленый палас под ногами, колющая жесткость которого доставляла странное удовольствие, когда Геша ходила босая. Все тело начинало как будто искриться, словно босые ноги впитывали в себя неведомые токи, рождающие наслаждение. Кожа на ступнях была тонкая, как у детей, точно Геша до сих пор порхала над землей, не касаясь ее, и не успела сбить ненатруженные ноги.

В этот день не хотелось ничего делать: обедать, ехать обратно на работу, что-то кому-то говорить. Она легла на кровать и стала разглядывать широкую в окружности, плоскую каплю, думая про нее, что

капля эта может упасть, а может и высохнуть на потолке, оставив еще один след, ржавое колечко. Скорей всего останется след, если не хлынет дождь, который, конечно, нужен всем, но только не ей.

«Только не мне, — думала она отрешенно. — Дождь теперь для меня сигнал тревоги. Надо что-то делать. Неужели нельзя как следует починить крышу? Худая крыша не просто худая крыша — это путь к эгоизму. Всем нужен дождь, а мне не нужен. Надо все-таки, — неожиданно подумала она, поднимаясь с постели, — обязательно позвонить подполковнику».

Ноги с нежностью приняли колючую массу паласа. С голого дерева за окном слетел воробей.

— Я поехала, — сказала она матери. — Ничего не бойся. Быстро вернусь. Смотри за Эмилем.

Подполковника не было на месте. Это показалось Геше хорошим знаком: все-таки надо дожидаться вечера, а утром дозвониться.

Вечером никто не пришел, хотя Геша надеялась, прислушивалась к шагам во дворе, к тормозящим автомобилям, к хлопающим дверцам. Эмиль допоздна играл со своим танком. Танк грозно гудел и лязгал, дергался вправо и влево, ворочая длинным пушечным стволом, наезжал на препятствия, давил пластмассовых солдатиков, которых выстраивал на его пути Эмиль.

В гостиной низко над круглым столом висел оранжевый абажур с густой бахромой, от которой на крашеном полу шевелились длинные тени. В этих золотистых тенях играл Эмиль, не подозревающий, что подарок ему сделал отец: Геша была благодарна Ибрагиму за то, что не сподличал.

Утром она доела остатки салата, выпила чашку кофе и умчалась на работу. Сказала шефу, что едет в РУВД по делам, тот велел передать привет друзьям. «Ты что-то зачастила, — сказал он лукаво. — У подполковника жена — министр».

Сияющая, уверенная в себе, как крупная, смелая собака, она вышла из грязной машины и, ловя приветные взгляды знакомых ребят, стоящих поодаль, сказала им, любясь собой в это раннее утро:

— Здрасьте, юноши! — Голос ее ломко прозвучал в прохладном воздухе, и воздух, казалось, радостно вздохнул, приняв в себя глоток нежных звуков.

«Юноши» отозвались не очень весело, не подошли здороваться, а виновато потупились, как будто не понимая ее.

Подполковник принял ее тоже неласково, посмотрел на часы, намекая на время, которого нет у него. Часы старенькие, стальные, с черным циферблатом, что-то вроде «Победы».

— Слушаю вас, Георгина Сергеевна, — сказал, как в телефонную трубку. — Вы, конечно, знаете о случившемся...

— Что случилось? — спросила Геша, чувствуя, как не в меру екнуло сердце в груди и как разлилась слабость по жилам. — Не знаю...

Ей хотелось вскрикнуть: я знала, что-то должно случиться. Вчера еще знала! Неужели?

— Сотрудник ГАИ, — сказал подполковник и поморщился. — Только что скончался в больнице. Стоял на посту... Знаете парк? Прекрасно. Там, вчера вечером... Жил всю ночь. Успел кое-что сказать. Короче, какая-то мразь! Там, говорит, в кустах драка, женщину бьют два подростка. Тот и побегал, а эта мразь за ним... Никакой драки. Обрезок трубы. Этим обрезком по голове лопушка нашего. За пистолетом охотился! Ушел с пистолетом. Вот так. Слишком доверчивыми стали! Неприятная история. Распространяться об этом не нужно, — предупредил подполковник и внимательно взглянул в глаза побледневшей женщины, которая, как ему показалось, едва удерживала себя на стуле.

— Ужас! — чуть слышно сказала Геша. — Какой ужас! Боже.. — И вцепилась в угол столешницы...

А очнувшись, пришла в себя уже под распахнутым настежь окном. В ушах шелестели как будто катящиеся по слякоти шины. Над ней озабоченные лица, погоны на серых мундирах. Шелест шин обрел вдруг глубокий звук, который упруго, как резиновое колесо, покатилося по стенам и по потолку. Звук этот дошел до слуха тревожным вопросом:

— Что? Обошлось?

«Кто это говорит?» — подумала она и прошептала:

— Простите, я что-то...

— Лежите, лежите, — сказал опять голос. — Сейчас придет врач.

— Не надо.

— Обязательно.

— Нет, нет, все хорошо. Я бы не хотела, не надо. Я себя хорошо... — вяло говорила Геша, поднимаясь с вонючего дивана, обитого холодным липким дерматином. — Окошко... очень дует...

Ее бил озноб. Пальцы были холодными, ногти поглубели. Она подумала, что на переносице сейчас синее чернильный мазок... Ей не хватало зеркала, и она, как раздетая, смутилась вдруг, увидев над собой лица мужчин. Дрожащими пальцами застегнула пуговицы на груди, постаралась улыбнуться и заметила насмешливую улыбку подполковника...

— Что с тобой, девочка? — спросил он подчеркнуто бодрым, отеческим тоном. — Ушиблась? Пощупай голову — шишку, наверно, подставила. Затылком об пол. Напугала!

— Нет, — ответила Геша, поднимаясь и ощупывая затылок. — Немножко... Вот здесь... Почти не больно.

Пришла молодая женщина в отглаженном халате с чемоданчиком в руке. Теплым, ухоженным пальцем мягко нажала на боевую жилу в запястье, прислушалась.

— Ничего страшного, — сказала. — Простой обморок. Раньше случалось? — спросила она, поглядывая на переносицу Гешы. — А это что?

— Это с детства... У меня и у сына... тоже. Не знаю. Спасибо. Я себя чувствую хорошо.

Ей было стыдно, что она заставила понапрасну волноваться людей, и виновато сказала:

— Извините, пожалуйста... Мне очень неловко.

— Ну, хорошо, хорошо. Сейчас мы вас отвезем домой, дома полежите...

— Нет, я сама, — сказала Геша, вспомнив об автомашине. — Тут я вам не подчинюсь. У меня дела. Женщины-врач промолчала и, словно бы обидевшись, ушла. В кабинете остался один лишь подполковник.

— Сейчас, — сказал он, — нам принесут чаю. Я заказал покрепче. Правильно?

Он был явно озабочен, и Геша хорошо это понимала.

— А вы, девочка, что-то скрываете от меня, — сказал он и весело улыбнулся, будто очень хорошо пошутил. — Все-таки чай в стакане, по-моему, вкуснее, чем в чашке... Как вы думаете? Смотрите, какой цвет, почти красный.

— Я привыкла к кофе.

— Нет, я чайник! — так же весело сказал подполковник, обжигая губы горячим напитком. — Что же у нас с вами? Какие дела? Не поговорили. Я слушаю вас. Только, чур, больше не падать! Что случилось?

Она подумала и решила ничего пока не говорить подполковнику: слишком близко находились две точки — провести черту между вчерашним визитом и преступлением очень заманчиво, прямая черточка — самый короткий путь от одной точки до дру-



гой, но именно это и остановило Гешу. Она сказала, не притрагиваясь к чаю:

— Очень устала. Хотела поговорить, а о чем не помню. То есть, я конечно, никогда не забываю о своих делах! А тут вдруг такое отчаяние, хотела ругаться с вами. А вы меня убили новостью. Лобовое столкновение. Я и свалилась. Страшно почему-то сделалось и очень жалко... «Доверчивый»... Это хорошо, что доверчивый.

— Сначала проверь, а потом доверяй, — возразил ей подполковник. — Чай остынет, пейте.

— И все-таки! Сначала доверяй, а уж потом, если понадобится... Иначе какие мы люди? Это собаки сначала обнюхиваются, рычат, шерсть дыбом, а уж потом дерутся или хвостом вяляют.

— Не то говорите! — прервал ее подполковник. — Разве можно! При чем тут собаки? Случай из жизни знаю поучительный: врач молодой напился на банкете, а работал в ведомственной железнодорожной поликлинике. Напился и стал твердить, что все железнодорожники, простите, суки. Начальник поликлиники услышал и говорит: «Вы хотите сказать, что вы ветеринар?» А пьяненький: «Хочу сказать, что сказал». «Значит, вы ветеринар, если утверждаете это. А нам ветеринары пока не нужны. Зайдите завтра с заявлением». Тот наутро приходит и кается, пощады просит, обещает исправиться, ругает себя и водку. А начальник стоит на своем: «Нам ветеринары не нужны». И вынудил в конце концов уйти молодчика этого. По-моему, правильно сделал.

— Слава богу, вы не мой начальник, — сказала Геша и поднялась. — Спасибо за чай.

— Ох, Георгина Сергеевна! Как все близко к сердцу! Что же вы от меня скрываете? Не хотите рассказать. Что?

— Каждая женщина — актриса, — ответила она с нарочитой кокетливостью и осторожно пошла к двери, пока не убедилась, что ноги крепко держат ее на прочном полу, а потом и на серой лестнице, марши которой тоже прочно впаялись в свое место, в ярко-синие, пахнущие свежей краской стены.

«Все хорошо, — подбадривала она себя. — Все так, как надо. Это, конечно, не они. У них что-то другое. Я это чувствую. Мозг меня обманул: он дурак. Надо верить чувству».

На что она надеялась, она и сама не знала. Но что-то ей подсказывало, что поступила правильно, отложив рассказ о встрече с черной троицей. Скажи она подполковнику, тот, по всей вероятности, пошел бы по ложному следу. Уж очень все очевидно! В жизни так не бывает: Ибрагим, зеленый танк, Эмиль, а потом убийство. Нет, тут что-то другое.

И она стала ждать. Ездил, ходила ли по городу, сидела ли дома или в своем кабинетике, стояла ли в магазине — где бы ни была, ее не покидало ощущение, что она лежит в засаде, внимательно вглядываясь во тьму, вслушиваясь в тишину, уверенная, что рано или поздно встретится взглядом с одним из тех трех, которые стали мерещиться по ночам.

Земля к тому времени затонула зеленой травой, деревья влажно зашумели листьями, зацвела чере муха. Все это образовалось так быстро и так незаметно, что порой даже чудилось, будто ветры, согнавшие с лица земли холод и принесшие тепло, были сами зеленого цвета — оттого и окрасилось все вокруг в этот цвет, запахло смолистым соком, забылось в жарком и торопливом цветении. Всего-то прошла неделя, а люди уже оделись в летнее платье, город умылся первыми дождями, река успокоилась и вода в ней прояснилась. И хотя не прилетели еще стрижи и ласточки, весна была уже сделана.

В чистой, отполированной машине, в двигателе которой заменили износившийся распределительный вал, Геша ехала домой обедать.

День был солнечный. Ветровое стекло было так прозрачно после мытья специальной жидкостью, что казалось, будто его не было совсем перед глазами.

Она плавно остановилась перед светофором, благо издали заметила, как погас зеленый и загорелся желтый сигнал, подумала (в который раз!), что никогда не любила и не любит проезжать перекресток на зеленый, если этот зеленый горит так долго, что вот-вот перельется в желтый, улыбнулась, поймав себя на этой мысли, и с улыбочкой огляделась. Рядом стоял синий «Москвич» с большим самодельным багажником на крыше, на котором были связаны проволокой старые доски, испачканные в извести. Небритый мужчина обнял обод руля, навалился на него грудью, нетерпеливо глядя на светофор, в который били солнечные лучи, испепеляя свет электрических ламп. Доски везет, наверное, на садовый участок, собрал их на какой-нибудь стройке и ждет теперь не дожидается, когда пустит в дело. Какое-то дело у него впереди! Приедет, загонит машину на крохотный участок, снимет с багажника доски, сложит их аккуратно...

Зеленый сигнал отвлек ее, и она навсегда забыла о случайном соседе в потоке. Неторопливо тронулась с места, наслаждаясь приятной ездой; по левой стороне тоже двинулись навстречу нетерпеливые машины. И вдруг!

Краем глаза, скользящим, неверным взглядом узнала в мужчине, который сидел в такси... Нет, не узнала! Ей показалось. Рядом с шофером сидел, белея крутой лысиной, тот самый, который...

Она вела машину на второй передаче и, не помня себя, вдавила акселератор в пол. Машина взвыла и рванулась, визжа резиной, буксующей на асфальте. До разрешенного разворота было слишком далеко, и Геша, уловив удобный момент, круто заложила руль влево, машина с вибрирующим резиновым визгом, кренясь вправо, ретиво сделала крутой разворот... Геша с трудом справилась с управлением, едва усевшись на месте, ибо ее по инерции потащило вправо, но удержалась на сиденье, вывернула руль воющей машины, разогналась, не видя ничего вокруг, перешла на третью, на четвертую передачу и, в отчаянии слыша милицкий свисток, крикнула:

— Иди к черту! Потом!

Догнала такси, пристроилась, превратившись в комок нервной энергии, прилипла к заднему бамперу, видя перед собой знакомую лысину. Шофер такси пытался оторваться от слишком рискованной дурочки, но она не отставала и наконец, перестроившись, пошла с правого борта, вглядываясь в незнакомого мужчину, который вместе с шофером внимательно смотрел на нее, не понимая действий красавицы. Шофер, мельком поглядывая и не упуская из виду дороги, ткнул себе в висок указательным пальцем и повертел им, словно ввинчивая в голову.

— Сам дурак, — незлобиво сказала Геша и отстала от такси, понимая, что милиционер, торопливо идущий ей наперерез, уже предупрежден по радио о грубом нарушении. Он очень удивился, увидев перед собой взволнованную и чертовски красивую женщину, лицо которой показалось знакомым.

— Ошиблась, — сказал Геша, предъявляя документы. — Ищу одного типа. В этом все дело. Пони-

маю, нарушила...— И страдальчески воскликнула: — Очень похож! Думала: он!

— Понятно,— нерешительно сказал инспектор.— А что за тип?

— А вот найду, тогда и расскажу. Да сделай ты мне просеку, наконец!— крикнула она вызывающе.— Или отдай удостоверение. Время дорого, обед кончается.

И тот, смутившись, вернул удостоверение, попросив ездить поосторожнее.

Что бы там ни говорили об особенностях женского ума, как бы ни относились к его возможностям, а все-таки не отнимешь у него редкого дара предугадывать грядущие события, предчувствовать их даже тогда, когда, казалось бы, нет никаких внешних и внутренних причин для этого, и всякий здравомыслящий человек, обладающий аналитическим умом, только руками разведет. А женщина, не понимая своих душевных импульсов, но слыша и чувствуя их, с удивительной порой точностью угадывает то, что должно произойти, словно бы и в самом деле чуткое сердце что-то говорит ей и надо лишь внимательно прислушаться к его голосу.

Предчувствия не обманули Гешу: Ибрагим с друзьями приехал в город по важному и весьма загадочному делу, не имеющему никакого отношения к убийству.

Пока она ждала их и разыскивала, произошли вот какие странные события.

Серый, как про себя назвала его Геша, а по паспорту — Сергей Федорович Круглов, сорок седьмого года рождения, был коренным жителем города, состоял на учете в наркологическом диспансере. Недавно вернулся после отбывания двухгодичного наказания. Несколькими месяцами назад въехал, за неимением других претендентов, в маленькую комнатушку на первом этаже старинного особняка. Плохо видел, плохо слышал, но очки не носил. «Мерил», — говорил он сердито, — на мартышку похож. Не буду». Поэтому и вел себя необычно: не отвечал, когда с ним здоровались, и сам тоже проходил мимо, не удостоивая никого даже кивком. Походка была, как у пьяного: зрение подводило его и здесь, хотя не только зрение, конечно, было виновато, но и алкоголь. Работал на местной фабрике грузчиком: физические силы пока позволяли Круглову справляться с нелегким трудом.

Жил замкнуто и бесшумно, ничем не мешал соседям: никогда не включал ни радио, ни телевизор, ни магнитофон, потому что ничего этого не было у Круглова. Никто не знал, дома он или нет. И лишь вечером, в потемках можно было догадаться об этом по светящемуся окну, наполовину загороженному картоном упаковочной коробки, в которой когда-то были бутылки пива, о чем гласили надписи по-чешски «Праздрой», видные с улицы. Впрочем, стекла были настолько пыльные и грязные, а лампочка светила так тускло, что никаких занавесок вообще не требовалось. К тому же прежний хозяин, скоропостижно умерший в этой комнате, обнес окно с внешней стороны металлической решеткой. Круглов увидел прочную решетку, мрачно усмехнулся и сказал себе под нос: «Это вполне...» — и поселился тут.

В комнату он привез старую железную кровать с сеткой, два стула, тумбочку, полушерстяное одеяло и подушку. Матраса не было. Он настелил на панцирную сетку такой же картон, каким загорожено было окно, набросил на него грязное пикейное покрывало и стал жить. Скучный свой гардероб развешил на гвоздях, которые вколотил в стену: зимнюю

куртку и шапку-ушанку, пиджак из букле и брюки, не знавшие утюга. Обедая в столовой, а ужинал дома, на тумбочке, залитой лиловыми чернилами. В комнате всегда были две-три пустые бутылки из-под портвейна — неприкосновенный запас на тот случай, если в доме не останется ни копейки.

Круглов с детства испытывал отвращение к никотину и никогда не курил. Но в комнате тем не менее вскоре настоялся густой и очень неприятный запах, который исходил от самого Круглова, от его грязной и потной одежды; от куска хозяйственного мыла, лежавшего на тумбочке в замыленном блюде рядом с тощей кисточкой для бритья; от черного хлеба, черствеющего на той же тумбочке; от огрызка соленого огурца, лежавшего тут же и успевшего покрыться плесенью.

Впрочем, сам Круглов никакого запаха не замечал, как не замечает человек, наевшийся чесноку, своего чревоухания.

Вся эта обстановка не заслуживала бы такого подробного рассказа о ней, если бы не одно чрезвычайно интересное явление, какого, пожалуй, не знало еще человечество, накопившее в своей долгой истории множество из ряда вон выходящих случаев, записанных любознательными людьми со слов свидетелей, что, конечно, не умаляет достоинств этих правдивых и очень интересных записей.

Надо и то сказать, что Сергею Федоровичу Круглову повезло родиться и вырасти в нашем обществе. О нем, бывшем осужденном, наказанном за непростительное хулиганство, заботились с таким бескорыстием и с такой надеждой на исправление, что не только устроили на работу, но и выделили жилье, вполне отремонтированную, побеленную и оклеенную новыми обоями, с поблескивающим дубовым, прочным паркетом комнату. Где еще могло произойти такое чудо, как не у нас?

А винить общество в том, что Круглов не в силах был укротить пагубные страсти, конечно же, нельзя. Он всегда отличался распушенностью и врожденной ленью да к тому же еще агрессивностью, которая и привела его когда-то на скамью подсудимых.

Ирина Васильевна Круглова, ища защиты у людей, рассказывала в былые времена, не унимая легких слез: «Всегда с ножиком ходил, грозился: все равно никуда не уйдешь. Разве я вышла бы! Всех ребят разогнал и заставил... У него и отец такой же. всю жизнь живет с женой, не разводится и мучает ее всю жизнь. И этот тоже в отца. Я ему и нужна, чтобы мучить. Как войдет... Ой, вспоминать страшно! «Ага! — говорит.— Сейчас всех, кто тут есть, убивать буду»... Страшно! А мы с дитем, если сбежать сумеем, то у соседей ночуем. Сколько так-то ночевали!»

Теперь это в прошлом. Жены с ребенком нет, и мучить теперь некого. Посторонних людей он никогда не трогал и даже побаивался, будучи пьяным, если чужие. Подлая его натура словно бы спряталась в потемках, Круглов успокоился и, как думали люди, знавшие его раньше, исправился. А потому и шли ему навстречу. Так уж у нас принято поступать с заблудшими овцами: одна из ста заблудится — девяносто девять бросаем, и все на поиски этой одной-единственной, как будто лучше ее нет и не будет никогда. Привычка! Потерять боимся, а что имеем, не ценим. К чему все это приводит, видно на примере того же Круглова. Живет он теперь на свете так, как если бы его очень обидели, и он в этой своей обиде волком смотрит на людей, живущих по человеческим законам, и словно бы грозит отмщением.

Однажды он пришел домой, усталый и голодный, без копейки денег в кармане, отворил дверцу тум-

бочки, посмотрел на зеленые бутылки, стоявшие там, но, скинув ботинки, завалился спать. Усталость сморила его. Он даже свет не сумел выключить и, ворочаясь на скрипучей, взвизгивающей сетке, злился на желтый свет, мешавший спать.

Было, наверное, часов семь вечера, на улице завывала метель, сквозь потолок слышался бубнящий голос диктора, слова которого стуком большого барабана доносились до слуха. Сон никак не приходил. В углу комнаты, слева от окна, под стояком отопления, опять, как и вчера, кто-то старательно и задорно грыз и грыз жесткое дерево. Круглов, прислушиваясь к этому хрусту, улавливал тонкие, цокающие звуки, бившиеся в металлической трубе, точно вместе с горячей водой там проскакивали мелкие камушки, ударяясь об металл. Он вскоре понял, что не иначе как кто-то царапает ногтями трубу или пробует зубами на прочность. Крыса, конечно...

И с этим неприятным для себя открытием уснул. Или, во всяком случае, ему показалось, что он уснул. Потому что через некоторое время хруст и металлические звуки прекратились, а вместо них послышался требовательный и громкий писк, заставивший Круглова свеситься с кровати и взглянуть туда, откуда раздавался визгливый голос.

Он увидел большую крысу с голым, неуправляемым хвостом, который непонятно для чего служил наглomu животному. Крыса стремительной тенью пробежала в тусклом свете комнаты, приблизилась к тумбочке, на которой лежал кусок черствого хлеба, встала на задние лапы, вытянулась и попыталась забраться по деревесине наверх. Это ей не удалось, она ловко, как мячик, упала на пол, не ушиблась, но, увидев Круглова, шмыгнула в угол и пропала в черной дыре, которой совсем недавно еще не было там.

С этими животными Круглов встречался не впервые, а потому не испытывал никаких особенных чувств, подумав лишь о том, что крысу надо изловить и сжечь во дворе в назидание другим, а дырку законопатить минеральной ватой. Можно, конечно, позвонить в санэпидемстанцию и вызвать там кого надо, чтоб отравили вездесущее племя ядом.

Но все-таки, продолжая смотреть в угол, где была дырка, он с интересом ждал, что будет дальше: заберется крыса на тумбочку или не сможет — хлеб она, конечно, учуяла и теперь не оставит попыток стащить его. На всякий случай поднял тяжелый, как кирпич, сырой ботинок с пола и поудобнее улегся на кровати, чтобы метнуть ботинок правой рукой в крысу: авось попадет.

Ждать пришлось недолго. В углу, а вернее, в утробной его глубине, послышалась возня и непонятный бумажный шорох. Он напряг слабое зрение и в туманной полутьме увидел что-то шевелящееся и шуршащее... Что-то засветлело в углу, как если бы оттуда вылезла белая или розовая крыса или кто-то выпихивал из дыры какую-то бумагу... Происходило что-то непонятное. Круглов опустил ботинок, пытаясь понять, что происходит. Он явно слышал хрустящий бумажный шорох, очень знакомый и желанный, видел подозрительно розовый шевелящийся комочек, который то показывался, увеличиваясь в размерах, то словно бы исчезал. Наконец эта бумага (а это была, конечно, бумага!) как будто выпрыгнула из черной дыры и, скользя по лакированному паркету, сгорбилась, замерев на полу, напоминая что-то очень знакомое. А следом за ней высунулась острая морда крысы, и Круглов увидел блеснувший глаз животного. Крыса несмелыми толчками вынесла свое податливое тело из узенькой норы и, как бы образовавшись из ничего, уселась

возле бумаги и стала грызть ее, ухватив за краешек и шурша.

Неясная догадка сбросила Круглова с кровати, крыса исчезла, а он, тяжело топая, подошел к розовой бумаге, нагнулся, взял ее нерешительно и не поверил слабым своим глазам: в руке была десятирублевая денежная купюра — червонец. Непослушными руками расправил десятку, поднес к лампочке, взгляделся. Десять рублей! Бумага почти новая, хрустящая, с отгрызненным уголком, номер на месте...

Круглов улыбнулся (а это случалось с ним очень редко) и подумал с удивлением, что такого чудного сна никогда не видел в жизни. Понял, что проснулся, хотел открыть глаза, но... Глаза были открыты. Кровать пуста. Он стоял посреди комнаты. В руках — червонец. Он в ужасе посмотрел в угол комнаты и с перехваченным дыханием увидел там черную дыру. Не поверил самому себе, подошел, опустился на корточки, пощупал шершавые края дырки, поднес пальцы к свету, заметил древесные крошки, прилипшие к ним, ощутил их кожей, потеревав палец о палец...

И услышал музыку. Она слетала к нему с потолка, как будто кто-то играл на аккордеоне, а женский голос пел. Слово было летний вечер, пахло цветами, а все вокруг было так хорошо, как никогда еще в жизни Круглова не случалось... Слишком хорошо! Это его испугало, и он, не выпуская из руки червонца, зажал уши, словно музыка, звучащая в нем, звучала во сне. Он ведь не спал, черт побери! При чем тут музыка? И не сошел с ума! Почему же музыка?

Он прижал ладонь к левому уху и стал, как это делают, выгоняя воду из уха, нажимать на него ладонь и отпускать. Попрыгал на левой ноге, свесив голову набок. Прodelал то же самое с правым ухом. Но ничего не помогло. Музыка звучала очень глубоко, не в ушах, а словно бы в самой голове, забравшись под лобную кость, под глаза и пугая своей непроходящей, очень нежной и красивой мелодией, которой Круглов никогда раньше не слышал.

Он с отчаянием подумал, что все-таки, наверное, спит и чудеса эти сняты ему. Осторожно положил десятку на тумбочку, шатаясь подошел к кровати, снял с себя брюки, погасил свет и в страхе спрятавшись под шершавым одеялом, глуша музыку скрипучей сеткой.

Утром проснулся с головной болью, вспомнил необычный сон, прорычал со злостью и звучно зевнул. За окном едва синело утро, окрашивая комнату в пепельный цвет. Зевота мучила его. Пора было вставать. Но он, свесив ноги на пол, чувствуя, как холод входит в теплые ступни, долго еще зевал, почесывался, поглаживая колючую щетину на подбородке и, как всегда, тянул до последней минутки...

Свет слабой лампочки брызнул в глаза, Круглов зажмурился, а когда огляделся вокруг, зевая и почесывая грудь, оцепенел в крайнем изумлении и с раскрытым ртом.

На тумбочке лежала новенькая, помятая десятка. Горбушка черного хлеба бесследно исчезла. В углу чернела дыра.

Он схватился за голову, за уши, потому что снова услышал аккордеон и мелодичный голос, поющий на очень высокой, комарино-тонкой ноте. Подташнивало, и кружилась голова. Понял, что с ним происходит что-то нехорошее. Подумал о медицине. Испугался, сердце его заколотилось с такой частотой, что он даже вспотел и едва перевел дыхание, поглядывая в углы комнаты с мистическим

ужасом и небывалым душевным страданием. Он уже не сомневался, что заболел, и это ввергало его в глубокую тоску.

Машинально оделся, машинально зашнуровал ботинки, не понимая, зачем это делает, если все равно сошел с ума.

Он вышел из дома и, словно забыв, куда ему нужно идти, вспомнил вдруг, что не взял с тумбочки...

«А что не взял? — спросил сам себя Круглов. — Разве там что-нибудь? Может, там и не было ничего? — размышлял он, возвращаясь в дом и отпирая висевший замок на двери комнаты. — Конечно, не было».

Но там, на тумбочке, была все-таки десятка. Он взял ее двумя пальцами с легкомысленной усмешкой, понимая, что берет пустоту, которая ему чудится. Но все-таки взял, ощутив плотность бумаги, и так же легкомысленно, как что-то несуществующее, сунул якобы во внутренний карман пиджака, с сожалением посмеявшись над собой как над окончательно чокнутым, пропащим человеком, хотя и почувствовал при этом скомканную жесткость бумаги на груди.

Круглов даже вспомнил бога и прочувствованно обратился к нему, беззвучно шевеля губами: «Господи, прости меня, грешного, старого, недостойного. Прости. Да будет воля твоя. Грешен я, господи!»

Был он человек не религиозный, но о боге иногда помнил, мня его своим защитником, а порой даже крестился украдкой, стыдясь самого себя, будто совершал что-то непристойное.

После вчерашней метели, как это часто бывает, небо прояснилось, ветер совсем утих, снежные наметы островерхими волнами белели тут и там, скульптурной своей пластикой являя людям великое мастерство хозяина зимних ветров. Еще не утопанные языки снега лежали и на тротуаре, чередуясь с голой чернотой соленого асфальта.

Круглова пошатывало. Ему казалось, что он идет по шпалам, то и дело сбиваясь с шага: то поскользываясь, то увязая в сыпучем снегу, то семена по твердому покрытию — ноги его привычно, по зимнему, осторожничают, мышцы их были напряжены, как бы сами собою ожидая коварной ледяной дорожки. В сумерках, будь они утренние или вечерние, глаза совсем плохо видели.

На автобусной остановке, слушая свою бесконечную музыку, которая угнетала его, как похоронная, Круглов покашлял предупредительно и, тронув рукой плечо пожилой женщины, стоявшей к нему спиной, спросил смущенно:

— Где бы это... самое... Вы не знаете? Зайти бы надо... Медпункт какой-нибудь... А?

— Чего? — отозвалась женщина с испугом, как спросонья.

— Медпункт какой-нибудь... Не знаете где? Поблизости есть какой-нибудь или нет? Зайти надо.

— Болит чего?

— Да так, надо... Музыка какая-то мешает... Не пойму сам...

— Давление, что ль?

— Не знаю, — ответил Круглов с надеждой. — Может, и оно. Никак чего-то... Трясу башкой, а она как пчела в волосах...

— Сходи, сходи. Проверься, конечно, — сказала женщина. — То циклон, то какой-то антициклон... Крутит, вертит — ничего не поймешь.

— А где это? Медпункт-то...

— А тут рядом! Вон, по Никольской пойдешь, под горку спустишься, красный дом увидишь, а налево голубой. Вот в этом голубом «Приемный по-

кой». Там увидишь. Там «скорые» стоят. Зайдешь и спросишь, где дежурный... Я почему знаю, потому что зуб рвала ночью как-то. На стенку лезла! Пошла, а мне тут же и вырвали. Рубль даю, а он обиделся. Ты, говорит, что это! Ты лучше, говорит, походи и медсестре дай, а мне не надо. А за чьей медсестрой? Что она, помогала, что ль? У меня у самой зарплата не больше ее. Спасибо сказала, и ладно... А ты не шути, молодой еще, иди, иди...

Подождал автобус, засипел пневматическими тормозами, заблокированные колеса его, скользя по накатанному льду, опасно понесли всю огромную тушу автобуса на людей, которые попятились на тротуар, а колеса стукнулись резиной о бортовой камень и остановились на поблескивающем ледяном панцире.

Круглов похлопал себя по ушам, растянул рот в принудительной зевоте, стараясь избавиться от звучания аккордеона, и пошел по Никольской, под горку, боясь поскользнуться, чувствуя себя так, будто крутая эта улица тянет и тянет его вниз, как пропасть, над провалом которой он едва держался, цепляясь испуганными ногами за земную твердь.

Небо над крышами окрашивалось в голубо-алый цвет. Стены казались лиловыми. Стайка сизых голубей паслась на тротуаре, подбирая крошки, брошенные из окон. Разбежались из-под ног, как куры. Один взлетел, задев маховым пером, обдав лицо морозным ветром.

Круглов увидел красный дом, а наискосок от него, через улицу, купоросно-голубой фасад больничного типа. Приземистый длинный дом со стеклянной вывеской, предупреждающей пешеходов о выезде машин. Выстрелом хлопнула в морозном воздухе входная дверь на пружинах, из нее вышел парень, держа за щеку. Видно, зуб...

Круглов к нему.

— Эй, мужик! — окликнул он. — Погодь малость!

Тот остановился, блаженно глядя и улыбаясь перекошенным лицом. В уголке разбухших губ запеклась свежая кровь, в глазах — счастье, во рту зажата окровавленная вата.

— Ну как? — спросил Круглов. — Отпустила?

— Не говори! — ответил тот, улыбаясь, будто встретил старого друга.

— А где тут это... вход-то? Здесь, что ли?

— Здесь... Войдешь и потом направо. Иди, там нет очереди. Без очереди.

— А ты не знаешь, тут это... Чего-то у меня музика в голове какая-то, — сказал Круглов, повертев возле виска растопыренными короткими пальцами. — Слушай, как думаешь, а? Помогут?

— Помогут! — воскликнул добродушный парень, которому весь белый свет казался в радужном сиянии.

— А слушай, а это... Вот посмотри-ка, — сказал Круглов, протискивая руку за пазуху. — Извини, я тут это... Чего-то ничего не пойму... Вот это вот, видишь, что это? — спросил он, достав и показывая смятую десятку. — Как думаешь?

— Ты даешь! — с неловким, ватным смехом отвечал парень. — Как чего?! Червонец!

— Точно?

— Сомневаешься, давай мне, — говорил он, не переставая смеяться. — Тебе не сюда, наверное, — махнул он рукой на дверь, — а куда-то еще надо. Тут первая помощь...

— Закатай губы...

— Чего ты говоришь?

— Губы, говорю, закатай, — мрачно повторил Круглов и, расправив десятку, засунул ее обратно в карман.

Странная догадка осенила его, ознобом пройдясь по всему телу.

— Так,— сказал он, глядя на обескураженного парня.— Хвосты рубаются.

— Что?

— Уйди, перемычка, скройся в тумане... Чего ты? Или машинка закаточная нужна? Чего ты так губы раскатал? Уйди,— говорил он нахраписто, хотя на самом деле вовсе не злился на парня, а был даже очень благодарен, говоря с ним по-своему шутиливо и задушевно. Иначе он не умел, не мог говорить с людьми, у него не получался разговор, а вылетали бранчливые блатные словечки, понятные далеко не всем, и окрашены были эти слова в черный как будто цвет.— Не обижайся,— сказал он парню и похлопал по плечу.— Фотография у тебя веселая.

А когда остался один, вынул опять таинственную десятку, разглядел ее всю от краешка до краешка, заметил даже следы крысиных зубов и дырочки от острых когтей, тонкие проколы.

Душа его возликовала, он понял, что свершилось чудо, что крыса откудала-то из подполья принесла ему червонец за краюху хлеба и что грех будет, если он эту дурную денежку не прогуляет.

Музыка его утихла, отделилась, как улетающий комар. Но теперь Круглову и самому захотелось петь, душа просила шумной радости. Он посмотрел на купоросный фасад «Приемного покоя», посторонился, пропуская «скорую», и потихоньку пошел пешечком обратно в горку, безумовато бормоча себе под нос:

**Как рыба корюшка,
Ты рыба жадная...
Ах, Оля-Олюшка...
Любовь площадная...**

Голуби опять бежали из-под ног, трещали крыльями. Ему было жарко, душа горела радостью, ликовала, избавившись от смертельной тоски: он давно не чувствовал себя таким здоровым и беспечным, рожденным как бы для веселья и музыки:

**Как рыбка корюшка,
Ты рыба жадная...**

...Домой вернулся поздно и никак не мог попасть ключом в замочную скважину, сопя у закрытой двери. А когда все-таки справился и зажег в комнате свет, первым делом прошел в угол. Там, как и утром, чернела дыра, которая на этот раз показалась ему более широкой. Медленно опустился на корточки, придерживаясь рукой за стену, достал из кармана небольшой кусок сала с жестким просоленным клочком кожи и, невнятно напевая «Как рыбка корюшка», положил его около норы.

— Еще принесешь,— ласково говорил он в дырку,— чего-нибудь... Поняла? Биксы жареной с луком хочешь? Накормлю. Как хочешь! «Мы рады вам, но больше рады вы»,— запел он снова и едва не пустил слезу от умиления.— Падаю на хвост. Тишина! Гоп! Тишина.

Улегся в кровать, провалившись в сетке, как в люльке, а утром, не помня извилистого своего пути домой, знал только, что нес в кармане кусочек сала и очень берег его.

Чудо есть чудо. Оно, может быть, и случается в жизни, но — без свидетелей. Это уж потом о чуде рассказывают, ссылаясь на якобы свидетелей, и даже описывают иногда в популярных газетах и журналах, не говоря о старинных книгах и о тех далеких временах, когда чудеса происходили гораздо чаще, чем теперь. Теперь любое «чудо» можно объ-

яснить и поставить на место с помощью научных достижений нашего времени — всегда найдется образованный человек, который четко и ясно все объяснит, обоснует и легко развеет суеверия невежественных людей. И хотя даже умным людям порой не хочется верить образованному человеку, истина от этого не страдает. Во всяком случае, все чудеса, происходившие в последнее время, никогда не повторялись, не давали повода для серьезных размышлений; возникнув в чем-то воспаленном сознании, давали вспышку, капсулировали, так сказать, взрыв всевозможных слухов, толков и россказней, а спустя немного времени благополучно забывались, как забываются интересные сны. Можно даже сказать, что самое чудесное чудо — это всего лишь навсего загадочный сон наяву, сон определенных общественных кругов, а вовсе не целого народа... Сны эти у каждого круга разные. Здесь все зависит от воспитанности, образованности и даже чувствительности того или иного слоя людей. Чем выше интеллект, тем грандиознее чудо. Только раньше были чудеса, захватывавшие сердца и умы всех общественных слоев... Но это говорит лишь о том, что раньше люди были талантливее — как сочинители, так и читатели.

А вот случай с крысой, которая прогрызла дыру в комнате Круглова и принесла в обмен на черный хлеб десятку, можно, наверное, назвать из ряда вон выходящим, потому что тут, как это ни странно, было продолжение.

В субботнее утро проснулся ничего не помнящий Круглов, напился теплой воды из поллитровой банки, и взгляд его упал на крысиный лаз, возле которого опять лежала смятая десятка...

Витиевато выругался шепотом и, вспомнив вчерашнее, удивленно поднял с пола свеженькую, хрустящую купюру, на которой в этот раз не нашел следов когтей или погрызов.

Нужно ли объяснять, как кстати пришелся этот подарок! Круглов не знал, кого благодарить. Дрожащая его душа плакала в счастливом забытии. Мозг отказывался что-либо понимать, но при этом не утратил способности правильно мыслить, подсказывая Круглову, что нужно сейчас же отправляться в магазин или на рынок за салом. Нельзя же остаться в долгу перед животным, которое кое-что соображает.

Крысы всегда отличались острым умом и необыкновенной храбростью. Но этим они отличались и тысячелетия назад. За долгие века они, конечно, поумнели, а крыса, которая вышла на Круглова, была самая умная из всех, какие когда-либо жили на свете.

Так примерно подумал обескураженный Круглов. Сердце его, словно бы обдуваемое холодным ветром, забько колотилось в груди. Радость и таинственный страх — все перемешалось в нем, сбивая с толку. Смелые мечты о будущем бросали в пот. Он чуть ли не падал, подкошенный слабостью, когда думал о завтрашнем дне или сегодняшнем вечере, потому что, как он полагал, животное к вечеру вполне может проголодаться.

В нем впервые в жизни проснулся заботливый хозяин. С этого дня он стал прислушиваться к каждому шороху, ибо животное, очень быстро сообразившее, что требуется от него для получения лакомого кусочка сала, выносило денежные купюры по нескольку раз за вечер. Круглову оставалось только подбирать деньги с пола и, расправив, прятать в карман. Был один вечер, когда животное вынесло ему семьдесят рублей!

И если в первые дни, когда Круглов подбирал деньги и, относясь к ним как к чему-то случайно-

му, неверному, трагил не считая, хотя, конечно, не забывал и о своем животном, то спустя некоторое время он уже всерьез задумался над загадочным явлением. Бросил пить, торопился с работы домой, запирался в комнате и, громко шурша бумагой, в которой принесил сало, а приносил он всякий раз небольшой кусочек, считая, что в комнате нельзя оставлять шмот сала без присмотра, посвятивал весенней синицей, клал кусочек шпига возле засалившейся норы и ждал выхода животного. Ждать ему приходилось недолго.

Сначала показывалась остренькая горбоносая мордочка с поблескивающими бусинками умных глаз, потом лоснящееся животное, которое со временем стало казаться Круглову красивым, без опаски уже хватало кусок сала и проваливалось во тьму подполья. Все затихало, но вот раздавался шорох, царапанье жесткой бумаги о неровные края отверстия, и из черноты, как из брюха живородящей рыбы, появлялась денежная купюра.

Новый кубик сала между тем уже лежал перед дырой. Животное отпихивало от себя бумагу и с торопливостью дрессированного циркача, исполнившего нелегкий номер, хватало лакомство, тут же по-тюленьи ныряя, словно в воду, во тьму подполья.

Теперь наступала очередь Круглова, и он тоже торопливо хватал новую десятку, будто бумага, как животное, тоже могла ускользнуть от него в подпол. В долгие часы невероятной этой охоты он забывал обо всем на свете, во рту пересыхало а взгляд был прикован к темному отверстию, возле которого белел следующий кусочек жирного сала. Иногда он тихонечко посвистывал, умея это делать самым превосходным способом: свисточки получались тонкими и ласковыми, похожими на птичье пение. Это всегда помогало. Животное с любопытством высовывалось и как бы спрашивало у него, сидящего на стуле: звал? Но, как ни странно, не каждый раз соблазнялось салом, а бывали даже случаи, что на свист она вытаскивала десятку, выпихивала ее из норы и снова удалялась восвояси.

В этих случаях Круглов проявлял благородство и, забрав червонец, больше не тревожил свою благодетельницу. Остатки же сала, разрезанного заранее на маленькие кубики, оставлял перед дырой. Утром еще одна десятка лежала на полу.

Лишь однажды животное огорчило его и вынесло клочок полуискошенной купюры с обгрызенными краями. Была купюра старая, грязная, пропахшая чужими карманами, сумочками и бумажниками. Впрочем, к тому времени, когда это случилось, Круглов уже так обогатился, что только усмехнулся, ругнув про себя несознательное существо, съевшее старенькую десятку, от которой, наверное, вкусно пахло.

К тому времени он собрал довольно большую сумму денег, так что сумел купить себе приличный костюм темно-синего цвета, серый свитер, теплое, на ватине, пальто с цигейковым воротником, югославский плащ, ботинки и необходимую мелочь; купил ватный матрас, подушку и два комплекта постельного белья, купил платяной шкаф, сделанный на той самой фабрике, где работал, и, конечно, обеденный стол. Кроме того, он купил по объявлению старый холодильник «Саратов», купил кое-какую посуду, хорошие ложки из мельхиора, складывая все это звенящее богатство на полках холодильника, в котором, кстати, держал и сало, не мотаясь теперь в обеденный перерыв по магазинам и не заходя на рынок, где покупал раньше, как побирушка, сто граммов шпига.

Но и после всех этих приобретений у него оставалось рублей семьсот — восемьсот, к которым каждый вечер и каждое утро прибавлялись новые суммы денег. Он никогда не вел строгого учета сумасшедшим этим деньгам: суеверие останавливало его, и Круглов только приблизительно знал, сколько их у него.

Он, конечно, понимал к тому времени, что своеобразное животное (он никогда даже в мыслях не называл его настоящим именем) приносит деньги из какого-то тайника. И он мог бы, разумеется, попытаться разобрать паркет и обнаружить клад. Но, поразмыслив, решил не делать этого и оставить все как есть, потому что, во-первых, это было бы уголовным преступлением: узнать о тайнике и присвоить себе шальные деньги, на которых, возможно, была чья-то невинная кровь; а во-вторых, он уже так нежно полюбил серое животное, что не хотел нарушать мирной его и сытной жизни.

Частенько по утрам видел на полу мелкий, черный, как семена репейника, помет животного, которое по ночам бегало по комнате, а однажды даже спало у него в ногах, на кровати, как избалованный теплолюбивый песик. Он улыбался и, укоризненно покачивая головой, заботливо подметал веником эти семена сытной жизни, хотя и ворчал иногда на бестолковое животное, если находил испражнения в неподходящем месте, в ботинке, например, или в носке, особенно если обнаруживалось это неудобство, когда он уже натягивал носок на ногу или надевал ботинок.

Перед восьмью марта в солнечный, но морозный день Круглов увидел на рынке, куда пришел за салом, алые тюльпаны. В цветочном ряду на дощатых столах светились большие, похожие на террариум ящики из органического стекла. За прозрачными их стеклами лежали влажные, большие цветы. У них были сочные листья, которые казались голубыми. А в глубине распахнутых багрово-алых цветов ярко желтели венчики, окружая бархатную черноту тычинок и пестиков.

В прозрачных этих теплицах горели свечи. Озябшие на холоде продавцы переминались с ноги на ногу, серые и невзрачные рядом с роскошным, нездешним садом, согретым стеариновым пламенем свечей. Они как будто были приставлены здесь для охраны зимнего чуда, как будто не хозяевами были, не искусными цветоводами, а слугами холодных, равнодушных цветов, красующихся на виду у прохожих в стеклянных своих дворцах.

Цены на цветы были баснословно высокими — три рубля за штуку. Но никто не роптал.

Возле запотевшего стеклянного чертога, в сияющей туманности которого грудились цветы, Круглов остановился. Тюльпаны, казалось, были фарфоровыми. Он подумал, что за такую красоту на месте хозяев запросил бы в три раза дороже. Велел подать один цветок, не совсем понимая, что делает. Здоровый сивый мужик з напаянном на шубу белом халате поднял крышку ящика, осторожно вынул, словно опасаясь разбить, верхний цветок и аккуратно завернул его в прозрачный целлофан. Щеки у мужика были свекольного цвета.

Тюльпан, похожий на красотку в нейлоновых одеждах, очутился в руке у Круглова. Он очень смутился, впервые почувствовав рукой хрупкую невесомость цветка, и торопливо пошел прочь.

— А деньги! — услышал он сильный голос мужика.

Круглов остановился, понимая, что это относится к нему, махнул рукой, нахмурился и, вернувшись, вынул червонец, который подобрал сегодня утром в углу своей комнаты.

— Совсем чего-то, — сказал он виновато, слыша

шорох целлофана, напоминавший привычную уже азартную охоту за деньгами.— Извини. Ум за разум... Гоп, тишина!

Он спрятал попку за душной пазухой, а дома развернул шумно хрустящий, поблескивающий целлофан и бросил цветок на пол, к норе, почувствовав головокружение. Сказал насмешливо:

— Это тебе витаминчики... Любви все возрасты покорны,—забормотал он и улыбнулся, как пьяный,—но денег больше — и любовь сильнее... Пригодятся. Гоп, тишина!

Растение лежало цветком к норе. Нижний лепесток, ударившись об пол, безжизненно подвернулся. Животное высунулось на шорох и, увидев цветок, испугалось красной его пасти. Но любопытство взяло верх, осторожное животное, скрывшись было, снова посунулось и вытаскило себя из норы, подкралось к тюльпану, привлекая за собой дохлый хвост, обнюхало цветок и, опять чего-то испугавшись, нырнуло во тьму.

— Не нравится? — спросил Круглов. И ногой отшвырнул цветок к батарее отопления.— Ну ладно! Я тебе сейчас сала отрежу. Видал, какого купил!

Два дня и две ночи Круглов ходил, как лунатик, не спуская глаз с черного отверстия в углу своей комнаты. Кусочек сала лежал нетронутый. Животное не являлось и на посвист, видимо, тюльпан так напугал его, что оно глухо затаилось под полом. Или обиделось на Круглова, который вместо сала подкинул ему растение.

Он, конечно, уничтожил тюльпан, измял его, изорвал и спустил в уборную. Протер кусочком сала даже место на полу, где лежал цветок, уничтожив запах, который мог опять напугать животное. Он проклинал себя и свою дурь, мучился, не выходя из дома, сбегав только в поликлинику, за больничным листком, который ему выписали, взглянув лишь на истощенное тоскою лицо с безумоватым взглядом покрасневших глаз. Ему снились страшные сны, как будто он спускался в мокрое и холодное подземелье, полз в полуумраке по ослизлым камням, и, задыхаясь, просыпался в поту и предсмертном ужасе, потому что подземелье кишмя кишело пищащими и верещащими крысами, но не было среди них той, какая сдружилась с ним.

Ему было очень плохо. Жизнь потеряла всякий смысл, и, хотя он понимал, конечно, что запасы подпольных денег не бесконечны, ему все-таки чудилось, что там их очень и очень много. Но, спугнув добродушное животное проклятым цветком, он их никогда уже не увидит, животное же прогрызет себе нору у соседей и погибнет, отравленное ядом.

Он боялся уснуть, прислушиваясь к малейшему шороху в спящем доме — до слуха доносились храпы и сонный бред людей, скрипы и стоны, дремотный топот босых ног и шум воды в трубах. И чудилось тогда Круглову, что он лежит во чреве каменного существа, которое переваривает в ночной тишине дневную пищу. А он потягивался с позевотой и слушал, как происходит эта таинственная работа.

Он очень страдал, умоляя животное вернуться, и так измучился, что когда вдруг услышал знакомую возню в подполе и верещанье с писком, то вскочил с кровати, упал на колени, закрыл лицо руками и хотел заплакать. Очень хотел! Но слез не выдавил.

— Пришло,—шептал он дрожащими губами, слыша бумажный хруст и шорох.— Ах ты, господи! Ташит... Ну-ну... Где ты скитался? Чудо заморское!

Но замолчал, увидев светлеющий клин нарождающейся купюры, которую толкало перед собой

вернувшееся животное,— он никогда не мешал серьезной работе, тем более в этот раз.

Тем более в этот раз! Ибо перед умиленным взором растроганного Круглова сиреневой гроздью расцвела купюра достоинством в двадцать пять рублей. В два с половиной раза больше, чем до сих пор! Он, как рыбак, привыкший подсекать и вываживать на берег хороших подъязков, зацепил вдруг крупного язя, в дугу согнувшего упругое удище, и, с трудом справляющийся с охватившим его волнением и с рыбой, молил теперь небо, чтобы добыча не сорвалась, чтобы все до конца было удачно и рыба оказалась бы у него в садке.

Выпихнуть из норы эту крупную купюру животному было труднее, Круглов хорошо понимал это и с перехваченным дыханием следил за нелегкой работой, с трудом сдерживая себя, чтобы не ринуться на помощь животному.

Но наконец-то измятый комоч сиреневого цвета выпрыгнул из норы, скользнув по паркету, добродушная морда животного хитро блеснула веселым глазом, туловище выскользнуло из тесноты шершавой дырки, желтые зубы вонзились в кусочек сала — и животное исчезло.

Круглов, истосковавшийся по добыче, тихонечко, на цыпочках подошел к норе, поднял с пола четвертную и возликовал.

— Ах, рыбка корюшка! — воскликнул он сдавленным шепотом.— Ах, Оля-Олюшка! Ты смотри, что получается! Глубоко копаем! Та-ак! Срочно сало! Гоп, тишина!

Свежий кубик сала вновь забелел в углу комнаты. Проголодавшееся животное, словно учуяв его, вынырнуло из-под пола и с молниеносной быстротой схватило свою добычу.

В жизни Круглова начиналась новая эпоха. Он даже подумал, грешным делом, что животное, израсходовав все червонцы, может быть, сомневалось, нужны ли человеку новые бумаги; может быть, эти бумаги пахли не так, как прежние, и оно мучилось там у себя в потемках, голодало, но не решалось предложить их в обмен на сало, и только голод заставил поступиться совестью и вынести эту нехорошую, по его мнению, бумагу доброму человеку. Может быть, все так и было, а он напрасно подумал, что животное испугалось тюльпана?

Но, как бы то ни было, вечер оказался рекордным — животное наградило Круглова тремя сиреневыми купюрами. А еще одну он обнаружил утром, выпавшись наконец и воспрянув духом.

Соседи отпраздновали Международный женский день, отшумели, отсмеялись; жизнь опять вошла в привычную колею. Круглов богател, но ни один человек на свете не догадывался об этом. На мебельной фабрике он работал истово, стал еще более молчалив и замкнут и вел себя чуть ли не как глухонемой, зная свои обязанности и исполняя их самым добросовестным образом. Даже женщины, работавшие в цехах, обратили на него внимание, прослышав, что человек бросил пить и взялся за ум, приоделся, обедать ходил в ресторан, который, правда, кормил комплексными обедами почти за ту же цену, что и столовая, но в отличие от столовой блюда на стол подавались официантами. Каждый месяц Круглов получал небольшую премию, и, если его приглашали обмыть ее, он молча доставал из бумажника трешницу и совал в карман пригласившему.

— Выпей за мое здоровье. Гоп, тишина! — говорил он мрачно, будто ему неприятны были слова и вообще всякий звук, вылетающий из собственного рта. И торопился домой.

Он с детства знал, в юности чувствовал, в зрелых годах надеялся: в жизни его произойдет когда-нибудь что-то такое, что ни с одним человеком на всей земле не могло и не должно было произойти. Теперь, когда это с ним произошло, он понимал, почему никогда никакое учение или профессиональная работа не представляли для него интереса; почему он лениво учился, лениво работал и смотрел на трудолюбивых людей свысока, как на обыкновенных нзудачников, которым ничего не светит в их скудной жизни. Все эти радости казались ему неестественными, и он их презирал. Хотя и бездельников тоже не любил, потому что знал, чувствовал, был уверен, что ничего примечательного, достойного у них уж тем более никогда в жизни не случится, что пробудут они свой век в безделье, так и не поняв, для чего и зачем были рождены на свет.

Себя же всегда причислял к избранныкам судьбы и теперь безусловно знал, что не ошибся. Единственно, что угнетало его,—это вынужденное молчание, безвестная слава избранника, о котором никто, ни один человек на земле ничего не знает и даже представить себе не может, что он уже есть, этот избранник, живет, ходит в простой одежде, ест простую пищу, ютится в маленькой комнатенке, и поневоле делает вид, что он такой же, как все, трудяга, хотя без зарплаты и премий может спокойно обойтись, позволив себе жизнь богатого бродяги, знающего толк в наслаждениях и презирающего человеческий труд.

Круглов иногда еле сдерживал себя, чтобы не проговориться. Были случаи, когда под ярким солнышком душа его оттаивала и, возбужденный думами о себе, он начинал вдруг издавать кряхтящий стон, с хмурой усмешкой глядя в глаза одутловатого собрата по работе.

— Чего? — спрашивал тот, греясь на весеннем солнышке. — Живот, что ли?

Круглов, перебарывая себя, вздыхал в отчаянии и говорил с мучительным стоном:

— Дурак ты, вот чего...

Но умный собрат по труду был уверен, что он не дурак, и не обращал на слова Круглова никакого внимания.

— Отказываться от привычки вредно, — нравучительно замечал он. — Есть даже смертельные случаи. Организм знает, что ему нужно. И отказывать ему не надо — это вредно. Вот у меня, например, два сына, младший в меня пошел — любит соль. А старший в мать — огурцы и помидоры ест без соли. Соль, конечно, вредна для почек, но я люблю соль. И не отказываюсь от нее никогда, потому что, значит, так надо.

А Круглов смотрел на него, корчась от желания ошеломить самоуверенного дурака, рассказать ему о чудесах, которые свалились на Круглова кучей денег.

— Да ты разве, — говорил он, с трудом разжимая стиснутые зубы, — от чего-нибудь откажешься?

— А ты? А ты-то?

— Гоп, тишина! — мрачно заключал Круглов.

На фабричном дворе пахло стружкой и ацетоном, на пологой крыше отделочного цеха грелись сызые голуби, спали на солнышке, распушившись и вобрав головы в мягкое перо межкрылий, и были они похожи на маленьких кошечек, разомлевших в тепле.

Денег у Круглова скопилось так много, что стало уже опасно держать их дома, хотя окно и было забрано решеткой. Всякий замок на двери тяжел и внушительен, но отпереть его ничего не стоило даже новичку в рискованном деле. Круглов врезал внутренний, номерной, оставив и всякий.

Но душа его была неспокойна в дневное, рабочее время. Ночью теперь не чистят квартиры, а вот день, когда все на работе, стал опасен. Хотя если подумать: кто же полезет в убогую комнатенку одинокого мужчины, в которой холодильники — и тот старой марки? Но именно за холодильником, с тыльной его стороны, в старом детском портфельчике, найденном во дворе, Круглов и прятал свое богатство, перевалившее уже за третью тысячу. Круглову и не снились такие деньги! Конечно, это еще не «Жигули», но ведь и животное не отказывается от сала.

Умное, сообразительное животное! Оно все отлично понимало и тоже по-своему было, наверное, довольно беспечной, сытой жизнью. Мех его приобрел кротовый лоск, выражение носатого лица, когда животное дремало в комнате, возле теплой батареи, было хоть и брезгливо и злобно, как и положено всякому представителю неистребимого племени, но Круглов, однако, находил в нем некоторую благообразность и, что самое главное, глядя на лоб, видел таинственный ум, который как бы отражался на лице брезгливостью к бессильным и глупым обитателям земли, в том числе и к нему, к Круглову, внушая к себе уважение. Рядом с этим животным он порой себя чувствовал неуклюжим бегемотом в вольере, на которого животное поглядывало добродушно, но в то же время высокомерно, как на существо низшего порядка.

Это сопоставление вызывало в нем улыбку, и он, восхищенно глядя на спящее животное, тихо бубнил себе под нос:

— У-у, дракон рогатый! Нажрался... Спишь! Хорошо тебе, перемьчка! — (Никогда не зная, какого рода этот дракон, мужского или женского, Круглов думал о нем уважительно как о животном вообще). — Разлеглось тут! Всю комнату загадило, заразюка.

Мир да гладь царили в эти минуты в душе умиленного Круглова, хотя и смешно ему было отвлечься порой от действительности и взглянуть на себя со стороны. Здоровый мужик в тренировочном костюме, толстоногий, с мощными ляжками, распирывшими синий трикотаж, с железными от переноски тяжестей мышцами плеч, груди и живота, он и в самом деле попал в кабалу к своему животному, был зависим от его загадочного рассудка, который в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, какое-нибудь такое совершить действие, которое то ли в уныние свергнет, то ли в радость — никогда не угадаешь.

Круглов очень устал от всех этих нервных забот, от бессонницы и от физической нелегкой работы. Иногда общее утомление сказывалось так остро, что он чуть ли не в обморок падал, теряя всякие силы и едва добираясь до постели, чтобы провалиться в мертвецки тяжелый сон. И в конце концов он понял, что ему необходим отдых.

А весеннее солнце тем временем уже растопило снег не только в городе, но и в окрестных лесах. На вечерних зорях над розовыми теплыми березняками тянули вальдшнепы, встречая выстрелы охотников с безразличием фанатиков, умолкая лишь на короткое время, если вдруг сноп визжащей дробы просекал воздух слишком близко. До темноты в лесу красиво и гулко пели дрозды-дерябы. Рябинники со своим сплошным щебетом умолкали, а дерябы пели до первых звезд, затихая сразу, как по команде, незадолго до окончания вальдшнепной тяги.

Тишина весеннего леса, нарушаемая журчащей водой, была сродни той мерцающей звездами небесной тишине, в просторах которой высоко проле-

тали звенящие далекими турбинами, холодные, неземные самолеты. Последний вальдшнеп в земных пределах пронзительными свистами врывается с запоздалой своей страстью в лесную тишину и, незидимый, призрачный, тянул в потемневшем небе над оцепеневшими березами, похрипывая в любовном азарте и резко свистывая таинственную песню в молчаливый лес,— один во всем подзвездном мире славящий весну.

А поляя вода меж тем скатилась уже в реку, вспучив ее и замутив; перелетные птицы, осев в окрестностях, занялись строительством гнезд и брачными играми; перезимовавшая под снегом трава радовала глаз, уставший от зимней белизны; на солнечных припеках светились желтые низкорослые цветочки мать-и-мачехи, а в городских скверах и парках набухли и позеленели на дымчатых ветвях почки сирени.

Круглов надел свой югославский плащ цементного цвета, накинул на короткую шею шелковистый шарф, сунул руки в шелковистые карманы и пошел по улице, поблескивая новыми ботинками.

Ему нужен был почтовый конверт и бумага.

Терпение лопнуло. Он больше не мог скрывать свою тайну и понял, что настало время попроситься в отпуск, махнуть куда-нибудь подальше и, набив карманы деньгами, пожить немножко так, как положено богатому и нестарому человеку. У него таялся заветный адресок, оставленный когда-то человеком с юга, с которым он работал в одной бригаде на арматурном заводе. Он помнил запах железной окалины, игольчатые ее уколы, когда она отскакивала в лицо со сгибаемой в станке проволоки, помнил красные от ржавчины рукавицы, дребезжащий грохот железной арматуры, однообразный запах горячего обеда и тяжелый храп лысого южанина, спавшего рядом. Куда ни посмотришь, всюду зеленели, золотились масляными стволами густые сосны, от запаха которых Круглову делалось тошно. Он не любил вспоминать о том времени и о тех местах, сумев в конце концов сделать так, что вычеркнул из памяти, из жизни те годы, обманул себя и поверил, что ничего этого не было.

Был только южанин, его рассказы о богатой жизни в теплой стране, о Каспийском море и о терпких, густых винах. Звали его Саша, Александр Борисович Кантонистов, единственный человек, которому Круглов, по старой памяти, мог доверить тайну.

Надежды, правда, было мало, что тот откликнется, придет, поживет в его комнатенке, но все-таки Круглов, давно не писавший, старательно выводил строчки письма: «Хорошо тебе бичевать, а тебе дело человек предоставляет. Делом пора заняться. Дело такое, в письме не напишешь. Вместе будем в зените славы. Приезжай, сам увидишь. Поживешь в моей лачуге и уедешь довольный. Дело чистое. Даже смешное. Приедешь, увидишь сам. Брось телеграмму, буду ждать. Поговорить надо. Прошу тебя»,— писал он, сидя за казенным столиком на почте

Опустил письмо в ящик с таким чувством, будто сделал что-то не так, очень растерялся, когда услышал, как письмо стукнулось о донышко: теперь уже не вернешь. И стал ждать телеграмму.

Но Александр Борисович неожиданно приехал сам и привез с собой товарища, имя которого было Ибрагим. Когда Круглов увидел Кантонистова, радость его омрачилась — перед ним стоял холеный подозрительный белокобый мужчина в дорогом кожаном пальто. Сашка как привык называть его Круглов, не бросился в объятия, не прослезился, а

холодно подал руку, на безымянном пальце которой тяжело блеснула золотая печатка.

— Тебе повезло,— сказал он.— А вот мой друг, у него тут сын, скажи ему спасибо,— уговорил. Времени нет! Ну, здравствуй... Нет времени совсем! Тебе повезло!

Круглов обиженно сказал:

— Тебе, может быть, тоже.

— Ах, чудной человек! — воскликнул незнакомый Сашка и рассмеялся добродушно.— Извини, но в прошлое дороги нет. Задний ход я не даю. Что у тебя за дело? Где зенит нашей славы? Ну?! Это все, что ты имеешь? — спросил, окидывая взглядом убогое жилище.— Хижины! Вижу, что хижина, а это уже хорошо — не обманул. Ты честный человек.

— Да уж не трепач,— с усмешкой сказал Круглов.— Не пожалеешь, что приехал.

Кантонистов был ошеломлен, когда увидел чудодейство Круглова. Ибрагим сидел с пылающими щеками, не веря в чудеса, и долго не мог прийти в себя, ощупывая купюру, принесенную животным. Кантонистов поглядывал на Ибрагима, Ибрагим — на Кантонистова, а вместе они с недоверием смотрели на Круглова, который скромно торжествовал.

Была глубокая ночь, когда все это произошло. Приехали они перед полночью и, конечно, шумом шагов и разговорами смутили животное, и оно не сразу откликнулось на призывное посвистывание.

— Я готов,— сказал Кантонистов, пронзительно глядя на Круглова, когда на улице стало уже рассветать.— Я согласен. Ибрагим поедет с тобой, а я останусь. Ты хорошо отдохнешь. Договорились? А теперь,— добавил он, постучав ногтем по часам,— теперь заедем к одной красавице, посмотрим на мальчика и примемся за дело Времени, товарищи, нет! — воскликнул он, играя роль деятельного распорядителя.

После бессонной ночи они и заявили к Геше, сказав, что нагрянули прямо с аэродрома, с неба, так сказать, на голову. Подозрение Геси, которая заметила странное их поведение, оказалось ложным: они устали и торопились отдохнуть после дороги и всякой чертовщины, от которой гудели их возбужденные головы. Другое дело Ибрагим! Его поведение было, конечно, странным, и Геша имела основания заподозрить его в преступных намерениях. Но вот в каких? Об этом она ничего не знала и даже не догадывалась, пока перед ней не раскрылась тайна, повлекшая за собой, увы, опять трагедию.

3.



Нажды теплым вечером, когда окно было настежь распахнуто, Геша, делая последние мазки на весеннем, порыжелом своем лице, услышала звонок в дверь. Звонок мелодичным колокольчиком вплетался в веселые радостных звуков, которыми были наполнены комнаты в доме звенела джазовая музыка, а за окном, на позолоченных ветвях распускающегося тополя чирикали и поцелуисто пели воробьи. Казалось, будто чирикали сами нежно-зеленые лопнувшие почки. Из музыкальной этой шкатулки Геша не сразу услышала звонок, а только со второго раза, хотя и ждала его.

На ней было лилово-дымчатое платье с перламутровой брошкой в виде большой и тоже темно-лиловой бабочки: Геша себя чувствовала в этот светлый, розовый вечер созданной для повелительных взоров и жестов. Веснушки, которые высыпали ры-



жеватый загаром на окрылках носа, только молодили ее лицо и, притуманенные пудрой, казались искусственным оттенком матовой кожи, как если бы изощренная модница нанесла их в минуту озарения тонкой кистью фантазии и удивилась сама своей удаче.

Она знала, что тот, кто сейчас увидит ее, будет поражен, и, сбегая вниз, часто-часто щелкая каблучками по деревянным ступеням, словно бы слышала себя и видела со стороны — легкую, лилово-дымчатую, душистую и очень красивую.

В этот вечер она не могла ошибиться!

Человек, который заехал за ней, был смущен и озадачен, точно встретился с незнакомой и очень красивой женщиной, выдававшей себя за Гешу, и мучительно думал теперь, что ему нужно делать и как себя вести с ней: верить или не верить. Так, примерно, ощутил себя рядом с Гешей капитан Корольков, никогда не упускавший случая что-нибудь приятное сказать ей в былые дни, которые далеко отодвинулись теперь, убежали длинным эшеломом в туманную даль и, отгромыхав, уступили место тихому празднику.

Боже, боже, где те легендарные мужчины, которые при виде такого чуда припадают на колени и, покорно склоня голову, ждут приказаний госпожи своего сердца? В каких дебрях истории затерялись они? Или изощренный ум поэта извлек этот образ из своего сердца, отдав ему кровь и душу, чтобы он вечно напоминал живущим на земле об упущенных человечеством возможностях? Или о заблуждениях, о падении нравов и обнищании душ, не способных торжествовать над бездной унылых будней... Может быть, Геша не зря говорила, что чтение художественной литературы вредно? Может быть, и в самом деле оно порождает иллюзии, утрачивая которые, человек разочаровывается в жизни?

— Нет слов! — только и сказал капитан Корольков, когда Геша, источая нежнейший аромат, шла с ним рядом к ожидавшей автомашине.

Нет слов и у нас продолжить описание той прелестной, притягательной красоты, которая в этот вечер несла на своих крыльях возбужденную и жаркую, податливую на внимание мужчин, милую Гешу, приглашенную друзьями в ресторан, чтобы отпраздновать там день рождения диктора местного радио.

В гостиничном ресторане играла музыка, и ее было слышно с улицы. Геше сегодня нравилось, что оркестр играл так громко.

— Здравствуй, здравствуй, здравствуй, — говорил знакомым громким голосом очень вежливый, целующий руку диктор радио, встречая Гешу возле безлюдной в этот час стойки администратора, за стеклами, за деревянным барьером которой сидели молоденькие женщины. Одна из них знала английский, изучив его в институте иностранных языков в Москве, другая — немецкий, одну из них звали Валентиной, другую — Таней. Танечка в этот вечер была тоже приглашена на ужин и зашла за барьер по привычке. Все были счастливы видеть друг друга, всех впереди ожидал долгий и шумный вечер, чуть-чуть похожий, может быть, на карнавал без масок, хотя все они знали, что маски мелькают в ресторане на каждой странице прейскуранта. Это всегда, сколько помнила Геша, было предметом для шуток и смеха: «беф-бризе, соус-загадка! — говорил кто-нибудь, читая тяжелый прейскурант. — Держу пари, это котлета с рисом, орошенная супом!» Все смеялись, словно каждому было приятно разгадывать французско-русский кроссворд и при этом убеждаться лишним раз, что никакой загадки

нет и бризе тоже нет, зато все воочию убеждались в исключительной любви шеф-повара к домашним котлетам и рису. Белая масса отваренного риса выкладывалась на тарелку двумя полусферами, с помощью разрезанного пополам резинового мяча, с розовыми кусочками свеклы на вершинах. Удивительное воображение шеф-повара повергало мужчин в восторженную истому: недоверенный рис разрушался их вилками со сладострастным вождением, точно они никогда ничего вкуснее не пробовали в жизни. Котлеты тоже шли за милою душой. Из них торчали веточки петрушки, как будто котлеты были подстрелены поваром в тот самый момент, когда они лакомились зеленью, и, зажаренные, были поданы прямо с зеленого луга за пиршеский стол. Да здравствует беф-бризе! Да здравствует соус-загадка! Древние римляне, возлежавшие на бражном пире в полузабытой истории, никогда не видели такого риса и таких котлет. Что там колбасы, вываливающиеся вместо кишок из зажаренного на вертеле оленя! Что там живые голуби, вырывающиеся из чрева жареного вепря, которому по мановению пьяного хозяина вспарывали брюхо счастливые рабы, гордясь своим кулинарным искусством. Блюда эти давным-давно известны благодаря римским сатирам. И ни один современный интеллигентный человек даже бровью не поведет, окажись он по воле машины времени на том разухабистом и обжористом пиру! Какие живые голуби? Что за издевательство над бедными птицами, упрятыми в душное брюхо свиньи! И при чем тут жареные колбасы? Зачем все эти громоздкие и противоестественные фокусы, когда есть котлета с зажатым листиком петрушки в поджаристой мордочке, есть нежнейшие и белейшие грудки риса со свекольными сосочками и есть неуловимый аромат соуса-загадки? Пируй, веселись, смотри, как блестят женские глаза и губы, кричи на ухо своей соседке любовные слова, благо никто, кроме нее, не услышит, потому что оркестр в ударе, и, еще немножко, музыканты, заложившие беруши в ушные раковины, взорвутся со своими инструментами и превратятся в облако дыма или в конце концов не выдержат бешеного темпа и оборвут на громовой ноте популярную танцевальную музыку.

Интуристская гостиница до полуночи слышит подземный гул, похожий, наверно, на гул землетрясения, и, может быть, даже потихонечку шатается в ритме скорострельного барабана, в пушечном его гуле, зудом ползущем по бетонным перекрытиям полустеклянного, полукамennого здания, на мирных этажах которого сидят за столиками тихие дежурные, кроткие стражи порядка и нравственности.

И как же хочется нырнуть из этой тишины в звенящий грохот и шум, в сверкающее множество белоскатертных столов, в заманчивый и грозный мир, мутящий разум и волю. Так страстно хочется принять добровольную пытку молодым людям, стоящим у стеклянных, запертых дверей.

Но лишь компанию из шести человек — трех женщин, одетых одна другой лучше, и трех обыкновенных мужчин, — провожаемую завистливыми взглядами, пропускают сквозь эти стеклянные двери, как будто срабатывает фотозащелка, распахивая перед ними прозрачные створы.

Они идут, иронически улыбаясь, как идут люди на пошлое зрелище, отдавая себе отчет в том, что делают, и осознанностью этой возвышаясь над человеческими страстями и слабостями.

То была, конечно, компания, которая праздновала день рождения диктора радио, человека в городе известного и уважаемого.

Накрытый на шесть персон угловой стол мерцал

фарфором и стеклом, пестрел салатом, который лоснились свекольными, морковными, яичными, огуречными изделиями, изображавшими розы и другие фантастические цветы, растущие среди зелени лука и петрушки. В этом ресторане заведено было встречать гостей, заказавших стол, тоже цветами, но только не настоящими, а бумажными, похожими на георгины. Какой-то искусник стал наловчился делать бумажные георгины, что, по всей вероятности, получал надбавку к зарплате. По мнению организаторов этой местной традиции, новшество было выгодно всем. Над этой традицией тоже шутили остро словы. Не остались в долгу и на сей раз, покачивая головами и вздохнув. Но никто не хотел обращать особого внимания на укоренившийся обычай, никто не хотел портить праздничного настроения. Официантка, заждавшаяся гостей, была так вежлива и услужлива, что улыбки вскоре вновь запорхали над овощными розами, над пожелтевшим майонезом, над красным, золотистым, прозрачным сиянием стекла. Конечно, фужеры не для вин, но что поделаешь! Стоит ли огорчаться из-за таких мелочей, когда перед тобой знаменитый диктор радио, которому завтра исполнится тридцать пять лет, когда на тебя посматривают в красноватом полумраке глаза друзей, а черные испанские маслины, жирно поблескивая в белом фарфоре, просятяся на зубок!

Но странное дело! Чем дольше тянулся вечер, тем печальнее становилась Геша, хотя она танцевала и с диктором, и с капитаном, и с Танечкиным мужем, и опять с милейшим диктором. У него вместо галстука была коричневая бабочка в белый горошек, он что-то говорил, говорил, говорил, как радиоприемник, который, увы, невозможно выключить, а она улыбалась, улыбалась, улыбалась, чувствуя затылком чей-то внимательный взгляд, неприятный, протыкающий импульс из зала, словно кто-то следил за каждым ее движением, не сводя с нее глаз. Она оглядывалась, но видела людей, занятых только самими собою. Ощущение тревогиросло с каждой минутой, Геша нервничала и с трудом уже управляла мышцами улыбающегося лица, боясь показать тревогу друзьям.

А тут как раз подошла ее очередь произносить тост, и самозванный тамада, не по возрасту полный, розовощекий муж Танечки, заставил ее, растерявшуюся, говорить. Она говорила явную глупость и, говоря, знала это, мучаясь чуть ли не до слез, когда слышала свои слова о том, что она просыпается под голос новорожденного и засыпает тоже под бархатистый его баритон и что теперь она счастлива лично пожелать ему здоровья и радости в жизни и что единственным ее желанием является желание сейчас же услышать привычную фразу, которая всегда придает бодрости и уверенности, и что она очень просит сказать его: «С добрым утром, товарищи».

Диктор был очень тронут, друзья тихонечко хлопали в ладоши, когда он, глядя увлажнившимися глазами на Гешу, сказал дрогнувшим голосом:

— С добрым утром, товарищи!

Геша была смущена, не ожидая от себя такого вопиющего лицемерия, и тряслась в мелком противном смехе, пряча глаза от диктора, который ей напомнил вдруг попугая, сказавшего по ее велению: «С добрым утром, товарищи!» — звенела ножом, старательно называя на вилку зеленый горошек а сама нервно смеялась, недовольная собой и расстроенная окончательно.

Когда же умолк оркестр, певец, исполнявший ресторанские песенки о любви, объявил на весь зал, что среди гостей присутствует известный всем че-

ловек, голос которого каждый горожанин слышит ежедневно, и что человек этот — диктор местного радио — празднует день своего рождения. Певец призвал всех поздравить диктора и пожелать долгих и счастливых лет жизни. Геша совершенно расстроилась, не зная, что и подумать.

Оркестр заиграл выход тореадора из знаменитой «Кармен», публика нестройно зааплодировала, кто-то крикнул: «Ура!» — вызвав шумный смех, а диктор стоял и раскланивался, прижимая руки к груди. Он так расчувствовался, что даже послал воздушный поцелуй оркестрантам, бравурно игравшим в честь его классики, приложил две ладошки к губам и словно бы выпустил невидимого голубя, молитвенно разведя руки и устремив их в сторону эстрады.

— Да, да! — нервозно воскликнула неуправляемая Геша. — Очень торжественный момент! Очень! Я просто никогда еще... — говорила она, охлаживая себя и приводя в чувство, — не имела такого удовольствия сидеть за одним столом со знаменитостью... Впечатление на всю жизнь! До гробовой доски. Конечно! — чуть ли не вскрикнула она. — Конечно, Верди — великий композитор, но зачем же... При чем тут ресторан?!

Диктор очень вежливо улыбнулся, правильно оценив накалившуюся обстановку, и с легким наклоном головы заметил:

— Да, разумеется... Верди велик... Но и Бизе, я бы сказал, тоже...

Этого только и не хватало Геше! Она почувствовала, как жар окутал ее глаза и затмил весь свет, а она одна-одинешенька, на виду у всех, такая непросветная дурочка, спутавшая Верди с Бизе, сидит голенькой...

— Господи, — сказала Геша очень серьезно. — С ума сошла. — И тряхнула головой, как подавившаяся утка, из стороны в сторону.

Тишина, воцарившаяся за столом, и то смущение, которое испытывали теперь друзья, сочувствуя Геше, вынужденное молчание, довлеющее над застольем, — все это показалось ей вечностью, провалом в бездну, кромешной тьмою и страшной душевной мукой. Выйти из этого состояния было очень трудно, хотя, казалось бы, ничего особенного не произошло: вспыхнула, ошиблась спгорача — всего-то! Но у кого из людей чувствительных и самолюбивых не случались в жизни подобные казусы, или, как говорил один летчик-испытатель, обалдения, коэффициент которых равен единице? Он, правда, вывел коэффициент по-другому, куда более серьезному поводу, но что-то подобное было и за праздничным этим застольем. Люди как будто потеряли способность управлять своими эмоциями, не могли стронуться с места даже в мыслях, которые как бы увязли в болоте смущения. Нужна была посторонняя помощь, чтобы вывести из затягивающей все глубже и глубже трясины.

Именно в этот критический момент, когда лица всех присутствующих обрели оттенок идиотизма, Геша резко поднялась со стула.

— Геша! Геша! — воскликнули все. — Георгина Сергеевна! Геша! Куда это? Ну что такое?! Геша!

— С добрым утром, товарищи! — сказал словно очнувшийся после глубокого обморока, обескураженный диктор. — Продолжаем нашу программу...

Он чуть ли не силой усадил Гешу за стол, за которым раскрепощенные, обретшие свободу, вольные в своих проявлениях друзья смеялись так, что стали оглядываться люди с соседних столиков.

Геша тоже стала оглядываться, делая это молниеносным движением шеи, случайно взглядывая на соседей, постреливая глазами и тут же прячась,

словно всего-навсего нервно потряхивала прической, откидывая при этом рукой пружинки волос, спадающих на виски. Но взгляд ее был исключительно зорок в эти мгновения. Ей показалось, когда диктор усаживал ее за стол, что в поле ее зрения возникло вдруг напряженно внимательное лицо, которое она совсем недавно видела в своем доме, а потом гналась на автомашине, спутав это лицо с другим. Неожиданно, как предательский удар, над ухом у нее раздался знакомый голос:

— Я приветствую вас, Георгина Сергеевна...

Перед ней стоял, конечно, Кантонистов, ни фамилии, ни имени которого она еще не знала.

Геша очень испугалась, увидев его.

— Прошу прощения, — сказала она, взглянув на капитана, который удивленно поднял брови, и на всех друзей, разглядывающих незнакомца. — На минуточку... — И, быстро встав, увлекла за собой Кантонистова в гардеробное помещение, где возле окна стояли стулья.

Села, пригласив его сделать то же, и он подчинился. Возбуждение ее достигло опасного предела, она слышала влажный стук сердца, ей было жарко, лицо горело, мысли путались, она не могла объяснить, зачем утащила за собой этого человека, понимая лишь одно: друзья могли принять этого субъекта за хорошего ее знакомого.

— Во-первых, — сказала она, переводя дыхание, — я не знаю вашего имени и фамилии... Я не люблю разговаривать с безымянными предметами... Итак?

— Александр. Кантонистов, — ответил тот, шаркнув кожаной подошвой по полу. — Разве Ибрагим не сказал?

— Нет. Он повел себя странно. Кстати, он тут?

— Он дома. Я здесь один.

Она испытующе оглядела Кантонистова. Воротничок голубой рубашки на перламутровых пуговках, темно-серый, тяжелый, поблескивающий костюм, галстук в красную, вертикальную полоску и, конечно, «Саламандра», начищенная до лакового лоска... На руках надутые жилы под черными волосами. Он доверчиво улыбался, тоже разглядывая ее с любопытством, как если бы сравнивал с той Гешей, которая с припухшими после сна глазами, бледнолицая и недовольная, резкая, встретила их ранним утром.

— Ну, хорошо, — сказала она. — Я верю. Признаться, я не должна была бы... потому что... вы начали знакомство с вранья. Терпеть не могу, когда мужчина врет! Это вызывает физическое отвращение, гадливость. Что тут у вас за дела? Зачем приезжал Ибрагим?

— Ибрагим идиот, — сказал Кантонистов, не слыша ее вопросов. — Расстаться с такой женщиной! Глупый человек, — объяснил он с дружеской, доверчивой интонацией и досадливо прищмокнул губами.

— Не хотите отвечать. Что за секреты? Я ждала вас вечером того же дня, Ибрагим почему-то тайно пришел...

— Не тайно! — воскликнул Кантонистов. — Зачем ему тайно, если он хотел посмотреть на сына. Он только для этого и летел сюда. Честное слово! Случайно узнал, что я собрался в этот город, — вот и все! Купил танк, взял билет и полетел. Какая тут тайна?

— А почему не пришли вечером?

— Времени нет! Дела! Никакой тайны, честное слово! — похотывая, говорил Кантонистов. — Если хотите знать о моих делах, вы не поверите! Я любопытный человек, и все! Меня поманили пальцем, сказали, есть уникальное зрелище, а я любопытный... Я живу в бедной лачуге. Зачем мне говорить вам это? Даже не могу пригласить в гости... Я си-

делка... Хозяин уехал отдыхать, оставил вонючее животное, я должен кормить его салом... Вы мне не верите? Ха! Я сам себе не верю! — сказал Кантонистов, хлестко шлепнув тугую свою коленку. — Честное слово!

Судя по его странной, но как будто правдивой исповеди, ясно было, что от Ибрагима он кое-что узнал о ней, и Геша терялась теперь в догадках, почему он так откровенен и зачем ему надо было подойти первым.

— Я вам не верю, — сказала она. — Что значит бедная лачуга, сиделка, животное? Что вы мне голову морочите?

Кантонистов взглянул на часы, постучал ногтем по стеклу, сказал решительно:

— Нет десяти... Я не люблю, когда мне не верят. Бросьте ваших пижонов, поехали, я вам покажу лачугу, животное, и вы все поймете. Этот хмырь, вы помните, он приходил к вам, так загулял, что его не прогонишь теперь домой. А мне надоело! Он мне подсунил липу! Это очень смешно.

— Во-первых, — строго сказала Геша, — я не знаю, кто вы и зачем вы здесь... И прошу моих друзей не называть так, как вы изволили их назвать. Или только в лицо, если вы мужчина... Иначе это подлость. А во-вторых... — Геша задумалась на мгновение и твердо сказала: — Поехали.

Этого, видимо, не ожидал Кантонистов и взволнованно воскликнул:

— Я гарантирую!

— Что?

— Все! Безопасность, хорошее настроение. Немножко развлеку и привезу обратно, если вы пожелаете... Клянусь!

— Пожелаю, пожелаю...

Геша вернулась к столу, встретила тревожный, вопрошающий взгляд капитана.

— Я на часок, — сказала она, поведя глазами в сторону двери. — Я обязательно вернусь.

Капитан незаметно кивнул ей и, взяв салфетку, стал торопливо вытирать губы.

— Нет, нет, — сказала Геша, обращаясь уже ко всем, — вы оставайтесь, веселитесь, а мне необходимо отлучиться на часок... Это очень важно. До скорого! — Она помахала стиснутыми пальцами, держа руку возле груди, сощурилась в улыбку, как бы прося прощения, и потаенно спросила глазами у капитана: «Что ты хочешь делать? Ни в коем случае, ты мне не нужен».

«Почему? — так же потаенно спросил насторожившийся капитан. — Я это сделаю, как надо».

«Нет, я прошу тебя. Ты можешь все испортить».

«Хорошо, хорошо, я остаюсь», — ответил капитан и, покорно опустив глаза, положил салфетку на стол.

— Мы вас не отпустим, — сказал диктор. — Я довольно скоро должен родиться, часов через пять или шесть... Как сейчас помню...

Кантонистов ждал ее, надев черную кожу, помог одеться Геше, подержав ее плащ за лацканы, распахнул перед нею дверь, сунув швейцару деньги, взял вскоре частника на «Жигулях», быстро договорившись с ним об оплате. Геша спустилась по ступенькам гостиницы и огляделась по сторонам. Садясь уже в машину, увидела и услышала с нежным чувством облегчения, как на больших оборотах греется двигатель «Москвича», на котором привез ее сюда капитан.

В новенькой, душистой и уютной «шестерке» звучало радио, машина легко разогналась и бесшумно катила по темной улице, освещая серый асфальт ближним светом. Геша удивленно улыбалась, видя

боковым зрением не отстающего от них, растворенного во тьме сизого «Москвича».

«Чудак,— думала она с волнением,— он ничего не понял. Ровным счетом ничего.— Но ей было приятно, что капитан не понял ее и все сделал по-своему.— Так, а теперь мы свернули на Никольскую,— размышляла она.— Ага, понятно... Но что же он хочет предпринять?»

«Москвич» ехал следом метрах в пятнадцати, и Геше казалось, что Кантонистов в любой момент может обнаружить преследование — так явно и немело вел свою машину по следу капитан. Но Кантонистов, кажется, дремал, уронив голову на грудь.

Возле старого двухэтажного дома он огляделся и велел водителю остановиться. Геша заметила, как «Москвич», замигав сигналом левого поворота, проехал мимо и свернул в ближайший переулок, темнеющий с другой стороны улицы, наискосок от дома, куда повел Гешу полусонный и молчаливый Кантонистов.

Темный двор, тусклая лампочка над крыльцом, полутьма каменной лестницы, ведущей вверх, четыре двери первого этажа, бряканье и звон ключей, которые Кантонистов вынул из кармана. Одним из них он отпер входную дверь коммунальной квартиры.

Геше стало не по себе, когда он, обняв ее за плечи, подтолкнул в желтый полусумрак длинной и тесной прихожей.

— Соседи,— прошептал он и поморщился.

На деревянной, крашенной в коричневый цвет, филенчатой двери висел тяжелый замок.

— Экзотика! — шепотом сказал Кантонистов, отпирая висящий замок, а потом другой, внутренний. Он был мрачен и казался очень усталым.

— Что это по-вашему? — спросил он, зажигая свет в маленькой комнатке. — Разве не лачуга?

Геша подумала, что капитан, конечно, заметит свет, зажегшийся в туманном окне, и на душе ее стало полегче.

— Ну, хорошо,— сказала она с усмешкой. — А где животное? Вообще я боюсь собак и ждала какое-нибудь чудовище.

— Подождите,— устало сказал Кантонистов. — Может быть, и увидите... Это, действительно, чудовище...

Геша брезгливо села на краешек стула с грязной засаленной обивкой неопределенного цвета и огляделась. Комната как комната, маленькая, рассчитанная на одного человека, и то очень неприхотливого. Окно заложено картоном. Грязное, мутное стекло. Амбарный замок на столе, куда положил его Кантонистов. Кружевной клочок обгрызенной какой-то... нет! Это была не просто бумага! Это был клочек двадцатипятирублевой купюры! Она удивленно взглянула на Кантонистова, а тот, нахмурившись, смахнул его на пол, как мусор, сделав это слишком поспешно и притом постаравшись скрыть это движение от озадаченной Гешы.

— Времени нет! — сказал он, разводя руками. — Некогда убираться. Я вам говорил! Всюду мусор. Не привык жить без женщины. Женщина в доме — это всегда порядок. У вас не болит сегодня голова? Какое-то проклятие... А собственно, зачем мы с вами приехали в эту лачугу? Скажу откровенно, меня обманули. Я завтра же улетаю домой. Что будем пить? Здесь нет даже приличной рюмки!

— Пейте, что хотите, меня увольте.

Кантонистов снял пиджак. На покатых плечах, на рубашке маленькие погончики. Взгляд его был потухшим, как будто он обратил его вовнутрь, прислушиваясь к самому себе. Ни улыбки, ни движения на безжизненном, бледном лице.

Достал из маленького холодильника початую бутылку пива, на ходу поддав носком ботинка лежащий на полу кружевной, очень странный клочок купюры, загоняя его под холодильник. Геша заметила это и зябко передернула плечами. А Кантонистов, стоя, кивнул ей, залпом выпил пива из горлышка и зажмурил глаза.

— Вот что интересно! — сказала Геша, поднимаясь. — Вы меня позвали продемонстрировать свое искусство пить из бутылки?

— Подождите,— ответил Кантонистов, махнув рукой. — Мне нужно прийти в себя. Я ж вам говорю, очень устал! Не могу жить, ночевать, спать на паршивой этой постели, боюсь одиночества. Дайте прийти в себя! Мне необходимо с вами поговорить. — И он внимательно, исподлобья, долго смотрел в глаза Гешы.

Она с трудом выдержала этот взгляд, чувствуя, как дрожат веки и ресницы.

— Дайте прийти в себя,— повторил он. — Тоска! Вы знаете, что такое тоска? Женщинам не дано почувствовать. У них другие заботы. Тоскующая женщина — это всего на всего женщина, которую разлюбил мужчина. Мыльный пузырь. Простите за откровенность,— сказал он, усаживаясь на кровать.

— Бог простит,— отшутилась Геша.

— Никогда так не тосковал. Никому никогда не жаловался. Цените! Что за город такой тоскливый?

— Уже оценила. Что дальше?

— А дальше? Сядьте, пожалуйста. Стул грязен, как капот грузовика. Что я могу? Садитесь на кровать. Здесь почище. Но вы не захотите, знаю... Как же! И правильно сделаете. На кроватях не сидят. Особенно в таком платье. Красивый цвет: не лиловый, не серый... Ибрагим дурак... — сказал он, превозмогая себя. — Мальчишка, ай-яй-яй!

Речь Кантонистова стала медлительней, тупее, а глаза, взгляд которых был направлен на Гешу, сделались совсем каменными — голубовато-серыми халцедонами в пасмурную погоду, когда ни один лучик не светится в глубине.

— Я думал о вас,— сказал Кантонистов. — Ложился на эту, не знаю, как ее назвать, и единственное мое спасение — вы... Все эти дни вы были рядом...

— У вас большое воображение. Чья эта комната?

— Я ведь не задал вам еще ни одного вопроса,— едва ворочая языком, ответил Кантонистов. — Мне не хочется слышать и от вас. Устал. Давайте помолчим.

— Глупость какая-то! «Помолчим»!

Перед ней сидел на застеленной кровати дьявольски усталый или мертвецки пьяный человек, принадлежащий к тому кругу друзей Ибрагима, в котором не принято было церемониться с женщинами. Жить просто так из дружеских чувств в «бедной лачуге», не получая выгоду от вынужденных неудобств? Что же его удерживало здесь? Какие-то дела... Почему обрывок купюры валялся на столе?

Все это угнетало Гешу, а деньги, которые опять, как когда-то, бросились ей в глаза, наводили на мрачные предчувствия, словно пробудившийся инстинкт пророчил беду, тревожа Гешу и побуждая к каким-то неясным действиям.

В наступившей тишине она услышала вдруг подозрительный шорох в темном углу комнаты. Пращуровский страх холодным дождем окропил кожу.

— Тихо,— шепотом сказал Кантонистов, подняв указательный палец. — Животное идет. Не пугайтесь.

Темный угол, с которого не сводила глаза обмывшая Геша, зашевелился, что-то сдвинулось там, тьма прорезалась светлым пятном и другою тьмой, мелькнувшей в непредсказуемом судорожном движении... Геша попятилась к двери, увидев большую

крысу, кинувшуюся в шалом беге к холодильнику... Крик, готовый вырваться из груди, застрял у нее в глотке. Глубоким испуганным вздохом она словно бы загнала этот крик в свою грудь, погасив его ахающей, шепотливой, сиплой струей воздуха.

— Проклятие! — услышала она голос Кантонистова и увидела его бросок к столу, тяжелый и плавный, как погружение в воду моржа или сивуча. — Она смеется надо мной!

Мелькнула рука, схватившая тяжелый амбарный замок. Геша увидела резкий замах и услышала грохот массивного замка, пущенного, как из пращи, в засуетившуюся крысу, которая была отброшена ударом к стене, опрокинута на спину...

— Господи! Что вы делаете?! — воскликнула она, глядя на Кантонистова. — Что это?

— Животное, — ответил он мрачно. — Сушит лапки...

Крыса, вздрагивая в последних конвульсиях, сучила маленькими ножками, словно бежала, бежала в ужасе от мучительной боли, на которую она никак не рассчитывала в этот вполне обычный вечер долгой ее жизни. И не могла убежать.

Все это произошло на глазах у Геси и произошло так быстро, что она не успела всерьез испугаться и, не понимая ничего, схватила плащ. Но Кантонистов, ринувшись в угол, поднял что-то с пола...

— Видите, что она делала, — вскричал он, держа что-то в руке. — Посмотрите! Мне надоело! Еще немножко, и я сошел бы с ума. Она жрала где-то деньги и делилась со мной огрызками. Вот! Эта пятерка... Да — пять рублей... Она издевалась надо мной! Вот! Смотрите. Вы любопытная, хотели все знать... Смотрите во все глаза и слушайте, иначе я сойду с ума.

Кантонистов облизывал сухие губы и казался в самом деле сумасшедшим. В левой руке его трепетал в трясущихся пальцах клочок синеватой бумаги, в правой он держал, как камень, бурый от въевшейся ржавчины тяжелый кусок железа с болтающейся дужкой. Лицо было искажено ужасом, как будто он только что убил человека.

— Вы свидетель, — сказал он, ткнув рукой в сторону дохлой крысы.

Он тяжело дышал, поглядывая то на Гешу, то на замок в руке, в который он вцепился с такой бешеной силой, что побелели пальцы.

— Проклятие! Зачем это нужно? Устал! Честное слово! Вы мне не верите? Вот — убил...

Он взглянул на замок и осторожно положил на стол, огрызок пятерки выбросил на пол. Отряхнул руки, попытался улыбнуться...

И вдруг глаза его подернулись пепельным страхом: дверь в комнату бесшумно отворилась, и человек, стукнув тяжелым чемоданом о косяк, запыхавшись, вошел, возник, образовался, как только что в углу образовалась крыса, валявшаяся теперь с оскаленными желтыми зубами, с мокрой мордой у стены.

Геша метнулась в раскрытую дверь, выбежала из комнаты и, толкнув в коридоре какую-то женщину в тапочках и халате, торопливо прошла, как будто протиснулась к другой, спасительной двери.

На улице хорошо пахло свежим воздухом, тополиными почками и землей. Капитан прохаживался под окном, загороженным картоном, и, увидев бегущую Гешу, поймал ее, схватил за плечо.

— Что? — спросил он. — Этот, с чемоданом, тоже туда? Кто это?

— Не знаю! И ничего не знаю! Ужас, ужас!

За окном раздался вдруг воплевый рев, который тут же смолк. Грохот сдвинутого стола донесся из

комнаты, где только что была Геша, и глухой стук... И наступила тишина.

4.

До сих пор Геша не могла без волнения вспоминать дьявольское это дело. Труп Кантонистова она, конечно, видела, чуть не упав в обморок, но в расследовании убийства, разумеется, не участвовала. Подробности дела знала только по рассказам капитана и подполковника, который, кстати, в мае пошел на повышение.

— Дали папаху, — говорил он, пряча довольную улыбку. — Скорей бы зима, Георгина Сергеевна! Щегольнуть хочется! Перед зеркалом покрасовался — смешной какой-то я в ней, а жена говорит — ничего. Ничего так ничего! Придется теперь папаху темно-серого каракуля хочешь не хочешь носить.

Таинственное дело с крысой и деньгами раскрылось довольно легко. В толстой стене комнаты бывший ее съемщик, скоростижно скончавшийся одинокий старик, некий Петров Иван Захарович, под видом естественного холодильника вырубил нишу в кирпичной кладке, обшил ее досочками, сделал деревянные полки и дверцы и стал туда ставить кастрюли с супом или картошкой, мясо или рыбу, которые в зимние месяцы покрывались инеем, и прочую снедь... Пока не пришла нужда в тайнике.

Давнее дело с ограблением кассира, с пропажей восемнадцати тысяч рублей, предназначенных для оплаты рабочим текстильной фабрики, лежало мертвым грузом в архивах местной милиции.

Когда тайник был обнаружен и из него извлекли четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь рублей, частично превращенных в бумажную труху хозяйственной крысой, устроившей себе гнездо в тайнике, подполковник присвистнул с удивлением, вспомнил, разглядывая фотографию старика, рецидивиста Ивана Захаровича, с которым был когда-то знаком по долгу службы, держа его в памяти под кличкой «Ваня-клык», и понял с досадой, что дал промашку, не потревожив в свое время одышливого старичка, поверив Петрову, что тот в глухой завязке и с прошлым своим покончил навсегда. Однажды только этот Петров возник в памяти, удивив подполковника и вновь насторожив его.

Было это в теплый дождливый денек, двенадцатого августа, накануне дня рождения жены подполковника. Гостей позвали именно двенадцатого, потому что число это выпало на субботу. Подполковник в гражданской одежде, под японским зонтиком, в поисках подарка зашел в ювелирный магазин, носивший название «Изумруд», и, минуя отдел изделий из золота, прошел туда, где продавалось серебро и полудрагоценные камни.

В фирменном магазине было жарко и безлюдно. Две миловидные женщины лениво обслуживали старого толстяка, который внимательно разглядывал ожерелье из лазурита. Недорогие камушки васильково-синего и небесного цвета сияли в пухлых его ручках шлифованными, сложенными гранями. Неторопливо, как четки, перебирал их в пальцах внимательный покупатель. Пестрые осколки окаменевшего неба издавали тихий звон капель.

Продавщицам было скучно в дождливый день. Одна из них сказала сквозь зевоту, рассчитывая на ответную шутку:

— Сначала ожерелье, потом золотые серьги потребует, а там, глядишь, и перстень с бриллиантом.

— Это уж как водится, — ответил старый живчик, раскачиваясь над стеклянным прилавком. — Покажи-

те, пожалуйста, голубушка, другое ожерелье. Может быть, найдется совсем сине. Камни эти бывают изумительного цвета. Лазурит приносит счастье.

— Счастье приносит не камень,— со вздохом откликнулась другая продавщица,— а мужчина!

— Золотые слова! — сказал толстячок со стариковской лаской в голосе.— Я мог бы отстегнуть и покорнее сумму. Но человек я приметливый и в счастье свое не устал верить. Вам, красавицам, оно дается легко, а мне всю жизнь пришлось гоняться за ним, как за солнечным зайчиком. Авось, думаю, камушки теперь помогут. Тайна в них огромная... Нам с вами не понять.

Приглядываясь и прислушиваясь к толстячку, который, словно бы смазанный жиром, плавал в тяжелом душном воздухе, кокетничая с молодыми женщинами, подполковник решил и жене купить в подарок недорогое это украшение. А толстячок все рассматривал, все разглядывал, перебирая в пальцах тяжеленькие, налитые синевою камушки.

Был он в просторном, засаленном костюме темного цвета, в желтой плетеной шляпе и в промокших на дожде, дамских как будто бы туфельках, испещренных черными дырочками.

«Ваня-клык! — чуть ли не воскликнул подполковник, когда тот обернулся к нему, скользнув темным нефтяным взглядом.— Ты смотри, какой привереда! Давно ли в телегеечке вернулся, а уже камушки разглядывает».

— Иван Захарыч, не узнаешь? — сказал подполковник с усмешкой.

— Как же не узнаю, — ответил Петров, отрываясь от темно-синего великолепия.— Сразу узнал. Вы еще на улице были, узнал.

— Вон ты какой! Зоркий... Чтой-то тебя на камушки потянуло?

— Нервы поистрепались...

— При чем тут нервы?

— Как при чем?! Камушек за камушком, из руки в руку, один за другим. Это отвлекает. Теплые, живые, приятные на ощупь... И думать с ними легко. А года мои такие, что только и осталось о боге думать. Жизнь была тяжелая, если знаете, если припомните.

— Интересно, какого же ты бога взял на вооружение?

— А ведь я язычник! — удивленно воскликнул постаревший, толстенный Ваня-клык.— Камень найду на улице, увижу в нем что-то, поставлю перед собой на стол — вот тебе и бог. Лавой огненной кипел, лился, как вода, видел начало мира, а теперь у нас под ногами валяется и никто не замечает. А в нем тайна великая! Вся история земли! Разве не бог? А икону человек написал красками на доске, другой кланяется. Какой там может быть бог, если его человек придумал? Нет, я язычник! Вот куплю лазуриты и буду смотреть на мир синими глазами. Это же счастье. Верно, девушки?!

— Ну, а живешь как? — спросил подполковник.— Что делаешь?

— Я-то ничего... На отдыхе. А вы-то что? Дедушкой стали? Светочка замуж вышла? Хорошая у вас дочка, красивая...

— Внук у меня, и тоже зовут Ваней, но только не в твою честь, конечно...

— Ну уж, это, конечно,— смущенно махнул рукой Иван Захарович.— Поздравляю. Ваня нынче в моде. Хорошее имечко! Здорова ли супруга? Тоже красивая женщина. Сколько я — лет, наверное, восемь — не видел... Ну да восемь лет — разве для нее время! Такая же, небось, молодая и обаятельная... Откровенно говоря, думал, вы уже где-нибудь в

Москве делами ворочаете. Таланты у вас огромные! Могли бы и заметить. Не ценят у нас таланты! Какой-нибудь выскочка заправляет, а истинные таланты сидят в тени и подчиняются. Тормоз это очень серьезный... Помните, как вы мою «куклу» расшифровали? Признаться, я был очень удивлен...

— А что, Иван Захарыч,— прервал его подполковник,— слышал я, будто ты из колонии побег совершить пытался? Я не поверил! Серьезный человек и вдруг такую глупость придумал. Было или нет? Развей ты мои сомнения.

Иван Захарович Петров потупился красной девицей и пошел потихонечку от прилавка к окну, приглашая взглядом и подполковника. Возле окна он с обидой сказал:

— Зачем же вы при милых женщинах так нехорошо говорите? Я бы не хотел, чтобы посторонние люди думали обо мне плохо. С прошлым покончено, наказание принял с достоинством и отбыл от звонка до звонка, даже лишний год протрубил за побег... Не побег это был, а игра фантазии!

Подполковник слушал, не веря ни одному слову Вани-клыка, а потом сказал назидательно:

— Не знаю, так ли все было. Но вот натура у тебя вредная. Почему ж ты человеку не веришь, что он жизнь твою хотел спасти? Жизнь твоя, хочешь ты или не хочешь,— бесценная штука, Ваня. Ты, может, на его месте и не подумал бы, а он подумал об этом. Он хороший человек, а ты, Ваня, как был брехуном и крохобором, так им и остался. Молись на свои камни, а мне с тобой говорить больше не хочется. И лучше не попадайся в другой раз мне в эти вот лапы, а то я человек с пристрастием, и рассказ тебе обязательно припомню. Эх, Ваня, Ваня... Старый стал, а как ребенок! Сколько, кстати, лазуриты эти стоят? Мне подарок надо сделать,— добавил он хмуро.

— Копейки! — воскликнул Ваня-клык, не ожидавший такой грубой реакции подполковника.— Я, ей-богу, хотел рассмешить вас, а вы не поняли,— говорил он, поспешая за ним к прилавку.— А камушки ничего не стоят, хотя тайна в них сокрыта великая! Это я вам говорю. Я даже удивляюсь: дешево у нас ценят изумительную красоту!

Теперь, при воспоминании о давнишней встрече и разговоре с Иваном Захаровичем, подполковнику казалось, что тот ехидно ухмылялся, поглядывая с фотокарточки, словно говорил насмешливо: «Игра фантазии! Сами видите, деньги все замуровал в стену, не пользовался и копеечкой... Я ведь язычник! Сделал все, как вы велели, в лапы вам больше не попался, хотя таланты у вас огромные... А кассу я взял от скуки. Извините, пожалуйста... Больше уж точно не буду».

— Старый знакомый,— едко сказал подполковник.— А крысу кто дрессировал? Петров или сама талант проявила? Читал я где-то, что крысы — самые умные животные.

Капитан сказал:

— Да, я тоже по телевизору смотрел. Легко дрессируются. Может быть, и Петров. Но думаю, что это случайность. Счастливая, конечно, для Круглова... Кормилицей была.

— Какая же она для него счастливая? — возразил подполковник.— Он из-за этого животного человека убил! Трагическая, а не счастливая случайность!

— Я тоже так думаю,— сказал капитан.— Я имел в виду эфемерное счастье Круглова.

— Какоз?

— Призрачное. Таким людям не везет в счастье. Жить бесцельно — невыгодно.

— Кто это сказал? — спросил подполковник, не веря, что капитан способен на такие формулировки.

— Чернышевский, товарищ подполковник.

— Молодец! Читаешь... классиков! Придется это выражение изъять у тебя для служебного пользования — доклад скоро делать. Кстати, ты это обоснуй на бумаге и покажи. Добро?

— Добро, товарищ подполковник, буду рад помочь.

— Какая же это помощь?! Ты что говоришь-то? Помощи я не просил ни у кого и никогда.

— Я имею в виду коллективный разум, товарищ подполковник.

— Другое дело.

Подполковник был не в духе и выглядел, как это часто бывает с рассерженными деловыми людьми, довольно смешным. Капитан, зная об этой особенности начальника, не вдавался в рассуждения и, конечно, не спорил с ним, заранее зная о неминуемом поражении.

— Как я понимаю, — сказал осторожный капитан, — дело ясное. В состоянии аффекта Круглов нанес удар тяжелым замком по темени Кантонистова за то, что тот убил животное. Во всем признался, и, кажется, нам тут делать нечего. Тем более что Георгина Сергеевна и я были, можно сказать, свидетелями происшествия.

Подполковник, который уже догадывался о папаше, дожидавшейся его, криво усмехнулся.

— Почему Георгина Сергеевна, — спросил он как бы между прочим, — и зачем уехала с Кантонистовым из ресторана? Она была знакома с ним. Что за связь? Надо это отработать. Тут может быть ниточка.

— Вы так думаете? — спросил обескураженный капитан.

Подполковник всем корпусом повернулся к нему и строго сказал, повысив голос:

— Уверен!

Именно в этот день, вечером, Геша неожиданно для самой себя прижалась к матери.

— Ты знаешь, мама, я безумно люблю Черное море и Крым! Мне обязательно нужно съездить туда еще раз! Ты меняпустишь?

— Черное море? — удивленно спросила мать. — Но ты была совсем еще девочкой! Неужели ты помнишь Крым?

— Я вдруг вспомнила! — призналась Геша. — Сначала думала, что это мне приснилось, а потом поняла, что нет. Я вспомнила, как порезала стеклом руку... Помнишь, порезала палец? Собирала на пляже стекляшки... Море их обкатало, а я уронила на камушки, стала подбирать осколки и порезала себе палец. Я хорошо помню, ты испугалась, потому что кровь стала капать на камни.

— Но тебе тогда было всего три года! — воскликнула мать. — Ты не можешь помнить. Наверное, я тебе когда-нибудь рассказывала, вот ты и помнишь... Или, может быть, папа...

— Нет, — сказала Геша, — я сама. Там был мальчик, который мне нравился. Он смотрел на мою кровь, и морщился, и очень страдал, по-моему... Забыла, как его звали. Помню, он ходил в белой панаме, а на руке следы от ссадин. Около локтя. Корочка отвалилась, и кожа там была светлее. Я хорошо это помню. И море тоже помню. С одной стороны горы и с другой, а там, где мы жили, камушки на пляже, впереди, между горами, море... Все в искорках. Если бы ты знала, как я хочу туда хотя бы на две недельки! Мама. Ты молчишь?

— Это так неожиданно, — ответила мать и погла-

дила Гешу, как маленькую, по голове, или, точнее, по пышным, упруго причесанным волосам, ощутив рукою пружинистую непрочность коричневой волны.

— Только не говори «нет»! — воскликнула Геша. — Я должна знать, что у меня нет никаких преград. Что я совершенно свободна... Пожалуйста, скажи — поезжай! Я тебя очень прошу.

— Поезжай, — сказала мать.

Геша поцеловала ее и шепотом, со слезами на глазах, с дрожью в голосе сказала:

— Спасибо. Я, может быть, никуда не соберусь, но я должна знать, что, если вдруг соберусь, меня никто не удержит дома. Я, наверно, никуда не поеду... Но все равно... Спасибо.

— Тебе надо отдохнуть. У тебя голые нервы.

В этот день Геша была на грани истерики. Она не могла найти себе места, и ей казалось, что она все время плачет, хотя и не плакала.

— Ну почему я не играю на гитаре? — спрашивала она в отчаянии, как будто в жизни ее случилось непоправимое несчастье, и восклицала: — В доме у нас никогда не было гитары! Я так завидую людям, которые играют. Мне кажется, я все вечера проводила бы с гитарой! Ты говоришь, я не помню Крыма! Как же не помню, если я даже стихи написала?

— Ты? Стихи?

— Не стихи, но я бы под гитару... я бы подобрала музыку и пела бы... Это, наверно, не так уж трудно.

Она целый час просидела за своим столом и написала такие строчки:

Как друга аметистовая
В дымке голубой,
Ты сними, кипарисовая,
Зимнею порой.
Таврида моя нежная,
Согретая весной,
Вершины твои снежные
И крокус под сосной...

Ей так это понравилось, что она боялась продолжать, хотя и чувствовала — нужно было сказать еще кое-что о Крыме и о себе. Но дальше у нее получилось уж слишком:

К тревоге я приучена
И ветра слышу вой (!).
В груди моей измученной...
Грохочет твой прибой...
Зовут в дорогу дальнюю
С севера на юг,
В страну мою миндальную
Без слякоти и выюг...

Кто зовет? Она не понимала и не могла ничего придумать. А строчка, в которой можно было бы объяснить этот зов, никак не складывалась в голове. «В груди моей измученной...» — повторяла она горькую, как ей казалось, фразу, которая ей очень нравилась! «Корабли, журавли...» — выжимала она из себя рифмы, надеясь, что «корабли и журавли» позовут в «дорогу дальнюю», но они глухо молчали. «Воплем корабли зовут в дорогу дальнюю, на краешек земли... А как же будет тогда: «В страну мою миндальную»? Эта строчка ей тоже нравилась.

Ей вообще казалось очень интересным это занятие — писать стихи: что-то вроде кроссворда.

— Мне нужна гитара, — говорила она страдающим голосом. — Как ты думаешь, — обращалась она к

матери, которая, скрывая тревогу, ласково поглядывала на нее,— очень трудно научиться играть на гитаре? Ну, не играть, конечно, а просто аккомпанировать... Как ты считаешь?

— Другие играют,— отвечала мать с грустной улыбкой.— Значит, и ты сумеешь.

— Ты мой самый хороший друг, мама! — восклицала Геша, никогда не отличавшаяся излишней чувствительностью.— Ты просто чудо! Спасибо тебе.

Ночью была гроза. Первая в этом году, она обложила все небо над городом тучами и вспыхивала в разных его концах своим электричеством, освещая и тучи, и город, стучащие под ветром ветви бесноватых, белесых под молниями деревьев: рушила на землю, на крыши домов и автомобилей шумящую массу воды, в грохоте которой грома казались веселым треском пастушьего кнута.

Геша никак не могла избавиться от слуховой галлюцинации: тупого стука падающего тела, слыша вместе с ним и вопль смертельно раненного Кантонистова. Неживые его глаза словно подглядывали за ней из-под полуприкрытых синих век... Ужас этой смерти был еще и в том, что на полу рядом с телом лежала дохлая крыса, только что убитая тем же замком. Неужто закон Моисеев — «око за око» — явил тут себя во всей своей жестокости? Смерть крысы приравнялась к смерти человека, словно человек этот был из крысиной породы. Или крыса возвысилась до значения убитого Кантонистова?

Суетные поиски странной закономерности там, где торжествовал случай, не давали ей покоя. Она не спала, измученная бесконечной чередой совпадений, в которые и сама она была вовлечена, путаясь в догадках, какую роль во всем этом происшествии играл Ибрагим, отец ее сына.

— Он меня сведет с ума,— четко сказала она, глядя в темный потолок и слушая, как моросит за окном в тишине успокоившейся ночи дождик. Голос ее прозвучал безучастно, как чужой. Она услышала его, улыбнулась и вдруг поняла, что с ума не сойдет.— Глупость какая! — прошептала она и потянулась в зябком ознобе, прячась под одеяло.

Туманным утром в теплом воздухе пахло молодой травой, тополиными листьями. Земля, напоенная дождем, кротко смотрела в небо чистыми лужами, на дне которых застыли, как впянные, бурные прошлогодние листья, пронзенные иглами травы. Было тихо и влажно. Небо, залитое молочным светом заоблачного солнца, повизгивало первыми стрижами. Полет был размашист и смел, и глаз не уставал любоваться быстрыми птицами. Летали они низко в это туманное утро, над самыми крышами, стремительно загребая воздух косыми крыльями, юрко отворачивали от натянутых проводов, от телевизионных антенн, словно играли с опасностью, жарким своим визгом оглашая живое небо, праздную возвращение на гнездовья.

Начинался новый день зеленого роста на земле. Росла трава, росли листья, сбросившие с себя клейкие панцири почек, росли цветы мать-и-мачехи, медунцы, одуванчиков, которые в это утро, когда солнце белым шаром висело над крышами, робко прятались в зеленых венчиках, дожидаясь жарких его лучей. Росли и маленькие листья на пепельно-сером, невысоком еще кусте жасмина. Матово-зеленые, гладкие, они прорезали острыми вершинками мертвенно-серую кору и зелеными цветками украсили куст, который совсем недавно казался вымерзшим, иссохшим, не перенесшим зимних морозов. Зеленая эта жизнь тянулась к свету отгороженному от куста глухим забором. Жасмину еще много лет надо было расти и крепнуть, чтобы одо-

леть извечную тень, в которой ему по прихоти человека суждено было жить. Но в это туманное, паркое утро, когда свет, казалось, проникал всюду, ему было очень хорошо. Маленькие листья, словно тугие лепестки крохотных роз, цепко держали шарики дождевой воды, похожие, как чудилось Геше, конечно же, на жемчуг, отливающий перламутром. Черная земля, в которой рос жасмин, как всякая земля под старым забором, лоснилась многолетним перегноем и, влажная, источала жирный, животворный дух. Трава, хоть и лишенная солнца, росла тут сочная, густая. Зеленые иглы ее начали свой новый рост, устремившись в зенит с извечной силой и самоуверенностью, как будто ничто не могло помешать душистой траве, никто не вправе был нарушить законы, по которым протекала хрупкая ее, ничем не защищенная жизнь, нацеленная, как к магниту, к невидимому солнцу.

— Вы, наверное, рассчитываете на благодарность,— сказал в этот день Геше благодушно настроенный подполковник, который уже точно знал о присвоении ему очередного звания: был звонок приятеля из министерства.

Минут сорок сидели они вдвоем в его бледно-розовом кабинете, пропахшем новым дерматином. Подполковник внимательно выслушал ее, кое-что записывая для памяти и для дела в большой блокнот.

— Вы мне не поверите,— говорила Геша волнуясь.— Не поймете меня! Я стала бояться денег. Больших денег, которые были всюду. Они валялись как что-то не очень нужное, как, например, валяются иногда книги или детские игрушки, когда их много. Они мне мешали думать, вернее, я жила, оглушенная ими. Вздрагивала от испуга, если вдруг выдвигала какой-нибудь ящичек, а в нем валялась пачка денег, которых вчера еще не было. Я боялась на них смотреть! А что я могла сделать? Этот человек — отец моего сына. Я просто сбежала, и все. Откровенно говоря, я боялась не только денег. Здесь, с мамой, я почувствовала себя опять человеком, и вдруг этот утренний визит! Мне показалось, что он приехал со своими друзьями неспроста. Он никогда ничего не делал просто так! Хотя я не имела никакого представления, чем он вообще занимается. А этот Кантонистов, или как его там... Я его никогда раньше не видела. Мне кажется, он очень... он был усталым, как будто ему все на свете надоело и он ждал только смерти. А может быть, он не мог перенести вида полусъеденных денег? Эти люди... у них болезнь наживы. Что ему эти жалкие десятки или двадцатипятирублевки?! Он наверняка ворочал тысячами дома, а здесь вдруг польстился... Что-то тут другое! Чует мое сердце — другое. Нервное потрясение, ужас. Я не знаю, как назвать это состояние, но, видимо, он не мог переносить, когда на его глазах уничтожалось то, ради чего он существовал. Он, наверное, испытывал страшные муки. Какое-то серое ничтожество, хвостатое существо приносит ему, как в насмешку, никуда негодные денги. Для него это пытка! Пускай хоть три рубля, но они уже ни на что не годны. У него, наверное, сердце разрывалось от ужаса: он ведь большой человек, для него нажива — наркотик! Он наверняка испытывал состояние, какое испытывают наркоманы в период, когда у них нет возможности, нет какого-то там средства наркотического. Они ведь жили могут себе порвать, если не удовлетворяют свою потребность. А такие, как Кантонистов, мало чем отличаются от наркоманов. Я наблюдала, я знаю, он вел себя очень странно. У него были мертвые глаза. Я как раз думала об этом сходстве, когда он схватил замок со

стола. Потом, правда, испугалась. Он никак не мог выпустить из рук эту тяжелую железку, смотрел на меня и, я почувствовала, с большим усилием заставлял себя положить замок на стол. Между прочим, я тогда свалилась в обморок, потому что подумала вдруг, будто это они убили работника ГАИ. Но потом поняла, что болезнь у них другая...

— Болезнь? — с усмешкой спросил подполковник. — Вы все время подчеркиваете, что это больные люди. Только почему-то «больные» тянут денежки к себе, в свой карман или там ящик, как вы говорите, и, уверяю вас, жилы себе не рвут. У вас, извините, разыгралась фантазия. Да, вы правы, на этот раз пистолет понадобился не им, у них другой какой-то метод добычи денег. Мы, конечно, разберемся, какой... Но, представьте себе, что метод добычи устарел или был перекрыт контролем, короче, отказал. Почему бы не предположить, что эти «больные» в период простоя не перейдут на открытый грабеж? Вот тут я готов с вами согласиться — нажива равносильна болезни, да. Болезнь эта затягивает, и человек уже не может остановиться. Все верно! Только почему-то этим больным обязательно нужно иметь при себе оружие! Сначала для устрашения, а потом и для убийства. Вы, Георгина Сергеевна, слишком большое значение придаете эмоциям. А у бандюги простой расчет, холодная голова и, главное, никакого понятия о жалости, человечности, гуманизме. Что ж я с ним о совести буду говорить? Он понятия не имеет, что такое совесть. Если он болен, то болезнь эта сначала начисто съедает совесть, потом жалость, потом душу, и человек перестает быть человеком. Становится крысой. О чем же мне говорить с крысой, извините меня?

Подполковник говорил спокойно, стараясь почаще улыбаться, чувствуя свое явное превосходство над растерзанной, перепуганной женщиной, которая, конечно же, рисковала, связавшись с этим Кантонистовым.

— Вы, наверное, рассчитываете на благодарность, — сказал он, отечески дотрагиваясь до ее белокожей, с голубыми тенями, долгой руки.

— Зачем вы меня обижаете? — спросила Геша, поглядев на него исподлобья. — Это я вас должна благодарить... Вернее, капитана, который был рядом.

— С капитаном я еще поговорю! Отпустить такую хорошенькую женщину, потерять ее из виду, а самому прогуливаться на свежем воздухе. Ничего себе герой!

— Откуда он знал, какие у меня отношения с этим человеком? Я же ему ничего не сказала! Он, слава богу, сам догадался, хотя я не боялась и не хотела, чтобы он ехал за мной. Это уж потом! Не могла же я предположить, что такой ужас... какая-то крыса, а потом этот... Нет, я очень ему благодарна! Я выскочила, как сумасшедшая. Боже мой! — шепотом воскликнула она и жалобно взглянула на подполковника.

— Что такое? О чем вы? — встрепнулся тот.

— Как я скажу Эмилю, когда он вырастет! — сказала Геша в отчаянии. — Что я ему скажу об отце!

— Об этом еще рано думать, — хмуро ответил подполковник. — Сначала надо во всем разобраться.

А примерно через месяц, в жаркий летний день, поблескивая новыми звездами, он пожал ей руку и таинственно сказал:

— Спасибо, Георгина Сергеевна.

— За что? — не поняла она, качнув ресницами. — Чудесный день!

— Скажу по секрету, наши ребята там, где вы когда-то жили, напоролись на очень большой клубок змей. Или крыс. Это уж как вам больше нравится. Болезнь, надо сказать, неизлечимая, что-то вроде бешенства... у этих животных.

Она стояла перед ним на солнце в полотняной кофточке, расшитой ярким орнаментом, в широкой синей юбке до колен, в алых босоножках на высоком тонком каблучке, ярко освещенная, блестящая и смущенно смеющаяся, как если бы хотела понравиться щеголеватому полковнику в серой рубашке...

Улыбка еще играла на ее лице, чувственно-выпяченная губа еще дрожала в радостном возбуждении, но глаза уже потухли, жалость и страдание словно бы свели их судорогой, когда она прошептала самой себе:

— Бедный Эмиль!

Полковник спохватился, нахмурился:

— Простите, Георгина Сергеевна, — сказал он виновато. — Совсем забыл... Не учел!

Но было уже поздно.

— Бедный мой мальчик, — сказала Геша с жалкой улыбкой. — За что ж ему-то такое наказание?

Они стояли на песчаной дорожке, в сквере перед фасадом горисполкома, между алых, как кровь, цветов, двумя кострищами стелющихся перед гранитными ступенями лестницы.

Полковник предупредительно поддерживал ее под локоть, видя, как заблестел побледневший лоб и словно бы почернели глаза ее и губы. Голубая жилка явственно обозначилась на переносице.

— Спасибо, — тихо и задумчиво сказала Геша. — Я давно знала, что так... что все это... Давно готовилась... Я знала, конечно... Боже мой! Как я не хотела называть его Эмилем! Правда, это очень смешно для мальчика — Эмма? Его и так-то жалко... А тут... Я-то переживу. Я давно знала. Да. Ну, ладно... Не было и нет. Не было, нет... не будет. Я знала это. — Она опять жалко улыбнулась. — Спасибо. Я не такая уж слабенка, как вы думаете. И в обморок не падаю. В прошлый раз я надышалась этой химией... Как вы там целый день сидите? Удивляюсь.

— Поменяйте имя, — сказал полковник. — Назовите, например, как я внука... Ваней... Или, например, Мишкой. Чем плохо? «Ведь ты моряк, Мишка!» А?

— Ну уж это! — обиженно сказала Геша. — Это не ваше дело!

— Я пошутил!

— Это не ваше дело!

— Конечно, конечно...

— Эмиль — красивое имя.

— Конечно.

— Эмиль! Я привыкла. Я ведь люблю-то Эмиля, Эмку... Как же так!!

— Конечно.

Простенький фонтан с круглым бетонным бассейном пришелся очень кстати. Он выстреливал вверх белой струей вспененной воды, мелкие брызги которой относил в сторону несильный ветерок. Под этот ветерок и под летящие пылевые брызги полковник как бы случайно подвел вздыхающую то и дело, ослабшую, крепящуюся что было сил женщину и стал говорить ей о пользе фонтанов, об успокаивающей силе живой воды, об этих искусственных оазисах, которые просто необходимы в современных больших городах. Говорил о том, что людям порой очень важно остаться наедине с живой водой, уйти в нее взглядом, утонуть в плеске и трепете прохладной струи и забыться, как забываются лю-

ди, глядящие на живое пламя, пляшущее в ночи перед задумчивым взглядом.

— Понятно,— говорила ему Геша, согласно кивая.— Понятно.

В Крым она не собралась, а, как обычно, уехала к бабушке «на дачу», поселившись с Эммой и с матерью в хорошем деревянном домике. «Ты, Эммочка, счастливый! У тебя есть прабабушка! — говорила она сыну.— Такое счастье редко кому достается».

В тот вечер, когда она увидела цыгана, идущего по шоссе, мозг ее уже освободился от печалей и был занят решением новой загадки: хорошо или плохо ходить по земле, не зная дома? Куда шел цыган и что ожидало его впереди — кочующий табор или оседлость в деревне? Или идет он по земле, как по своему жилищу, у которого ни углов, ни потолка и пола, а лишь одно окно, распахнутое в мир?

В тот вечер, когда облако, похожее на гигантскую гроздь винограда, светилось самоцветом в золотистом небе, Георгина Сергеевна впервые в жизни почувствовала вдруг свою растворенность и счастливую затерянность в огромном мире. В руке у нее нежно пылали лилово-розовые цветы герани, которые быстро, увы, увядают в вазе. Ромашки жарким благовонием кружили голову... Некошенный луг над речкой и лента шоссе, по которой ушел загадочный человек с магнитофоном,— все это всколыхнуло ее душу, и она в восторженном благоговении перед вечной жизнью ощутила всем телом свою малость и необязательность в этом мире. Ощущение это пришло неожиданно и радостно, как будто «хозяин» ее тленной оболочки напомнил вдруг о себе, сказав, что она всего лишь гостья на этой земле и что настанет когда-нибудь час расставания и ей придется навсегда покинуть этот чудный мир, который расстилался перед ней в мудрой простоте и ясности.

Сердце ее сжалось в остром ощущении своей незначительности, блаженство разлилось по телу, словно кто-то пообещал ей бессмертие и вечную радость, и она не знала теперь, кого благодарить за эту щедрость. Благодарить за жизнь, которая показалась вдруг бесконечной; благодарить за прожитые годы и за завтрашнее утро, которое придет, за чудо обновления, которое свершилось в ней, точно она покинула наконец-то свой тесный кокон и, как во сне, полетела над зеленой речной долиной.



МАХМУД ЮДАШЕВ



Хамза

Когда заводят речь о завещаньях,
Я вспоминаю горы всякий раз.
Я книгу закрываю. На прощанье
Себе завета я прошу сейчас.
В минувшем много дум многоэтажных,
Средь них легенды в тишине ночей.
Одной любовью в мире жив отважный,—
К любимой, к маме, к Родине своей.
Когда одно иль эти чувства вместе
Бывают в землю втоптаны пятой,
То сердце ищет бури или мести,
Точнее, революции святой!
На ткани кровь — и эта ткань, как пламя,
Как знак свободы, счастья и труда,
И эту кровь, окрасившую знамя,
В народе не забудут никогда!

Вспоминайте меня

Вдалеке сверкают горы,
словно символы величья,—
Там в чащобах бродят лани
от селений в стороне.
Вспомнив сложенный веками
наших прадедов обычай,
Вечеру у дастархана не забудьте обо мне.
И в каком бы направлении ни сияла ваша Мекка,
Если вы родную землю сберегли в душе своей,
Ни разлука и ни горе не достигнут человека.
Если хочется молиться, то молитесь только ей.
Я далек от вас сегодня —
за полями, за долами,
За оградой гор высоких,
чья вершины в белизне,
Но когда приходит вечер
сразу следом за стадами
И дымы струятся в небе — вспоминайте обо мне.
Я живу, земля родная, лишь просторами твоими,
Звонким званием узбека от рождения горжусь.
На земле отцов и дедов вспоминайте мое имя..
Если здесь меня забудут — я в бродягу
превращусь.

Перевел с узбекского
Н. КАРПОВ

ЮРИЙ
САПОЖКОВ



Завещание отца

Меня бессмертием Родина
Посмертно наградила.
Отверстие для ордена
Мне пуля просверлила.
Жизнь принимал в открытую,
Не показал ей спину.
Шинель свою пробитую
Велел примерить сыну:
Проверенная, давняя
Примета мне известна —
Не быть двум попаданиям
В одно и то же место.

Комсомольское
собрание

Собрались ночью
в подzemелье душном
И, прежде
чем повестку объявить,
Единодушно
Решили:
«О еде не говорить».
...Соотношение сил
на поле брани
Высчитывали палачи.
Вот только комсомольского собрания
В голодном Ленинграде
не учили.

На Пискаревском
кладбище

На последней черте
Не цветы, не венок.
На могильной плите
Только хлеба кусок.

И записка была:
«Ты прости меня, мать,
Что тогда не могла
Этот хлеб тебе дать...»

Канатный
переулок

Любители
передвижений скорых,
Оставьте
ваши спешные труды:
Какая осень!
Вон на светофорах,
И тех
созрели красные плоды!
Я выбираю
место для прогулок,
Где
ближе к деревенскому жилью
Перетянул
Канатный переулок
Подъемных кранов
гордую семью.
И праздные здесь не увидишь
лица,
Ну разве что
из чьих-нибудь ворот
Охотник допоздна повеселиться,
Как по канату,
медленно пройдет.

Переселение

К чему весь этот хлам —
Выбрасывают краше!
Взять книги бы с собой,
И тот офорт...
Но мы везем старье,
Поскольку
с ним не страшен
Нам никакой комфорт.
Все утрамбовано,
Усилим упорным
Держу коробки,
сумки
и мешки.
Так держит дерево,
что выкопано с корнем,
Родной земли
тугие узелки.

Восхваляю я, путник, находчивость
венецианцев —
Будто молнии вспыхнули и заметались.
как в танце:
Буквы в небе над аэропортом — видны отовсюду!
Чистой радугой имя твоё засветилось, как чудо...
Марко Поло! Ты дальним гостям
открываешь ворота!
Славлю венецианцев — как здорово
выдумал кто-то!..
Пусть он здоровствует —
славное имя воротам тем давший!..
Я, пришелец, я, странник,
немало в пути повидавший,
Одолевший пространство и время,
И горы, — и доли, —
В те ворота, что ты открываешь,
Вхожу, Марко Поло!..
В небе — грохот, и, вздрогнув,
Земля поплыла и взлетела:
Серебристою рыбой плывет
в вышине «Каравелла»,
В небесах «Каравелла» парит
серебристою птицей..
Делом мысли и рук человеческих
Небо гордится!

Нынче короток путь
Нескончаемо долгий когда-то...
Ты встречаешь приветливо всех нас,
Хозяин радушный,—
Торопящихся с севера, с юга,
 с восхода, с заката,
И опять провожаешь гостей ты
 дорогой воздушной...
Я судьбе благодарен
За то, что она мне с рожденья

Все мы превозмогли,
Все своей подчинили мы власти.
Если странником ты родился,
Да к тому же поэтом,
Не узнаешь покоя веки на свете на этом...
Неоткрытые дали открыть все пытаемся, жаждем,
Всею страстью души,
Каждой клеточкой, помыслом каждым...
Сколько помню себя —
Вечно в дальнюю даль я стремился,
По отплытьям томился,
По синим полетам томился,
Я о крыльях мечтал,
 в сновидениях видел я парус:
И врзался в волну,
 и ветров перебарывал ярость...
— Неужели, ответь мне,
Мечтал ты о крыльях в дороге!
Не сильнее ли крыльев
Твои были быстрые ноги!
На земле и на море не знал неудач никогда ты —
Конь, корабль и верблюд твой
В пути становились крылаты!..

Сколько сделано было
Расчетов и проб, чтобы начал
Был полет поднебесный металла
Над морем и сушей!..
Вездесуща душа и бессмертна —
Немыслимо, значит,
где-то спрятать от мира
Твою всемогущую душу...
О душа человека — искателя, первопроходца,
Обреченная вечно искать, постигать и бороться!
Страсть прокладывает путь
Сквозь нехоженость, через препоны,—
Видно, не утлеть —
как сосуд не наполнить бездонный.

**От открытия — к открытию...
И поиски снова, сначала
По эскизам мечты,
 что все красочно обозначала...**

Каравеллы Колумба он вел,
 дух исканий крылатый...
 Тот же дух надувал паруса аргонатов когда-то.
 Смастерил колесо и добыл пламя первое в мире,
 И колосья вознес
 Над земною зеленою ширью...
 И пока на земле есть еще неоткрытое что-то,
 Есть и люди, одной одержимы могучей заботой,
 Что не знают покоя
 В извечном стремлении к цели,
 Хоть потери несли
 И не раз пораженья терпели...
 Если вдруг на планете другой
 Эверест обнаружат,
 В миг туда полетят,
 Восхождением безмолвие нарушат...
 Этот ищущий дух!..

Он грядущие дни приближает,
 Потому-то борьбу за прогресс
 Остроты не лишает!..
 О, источник бессмертья!
 Как слезы, как слезы, он солон.
 Его ложе — ледник...

Ключ — он скорби и горечи полон...
 Муки крестные, муки распятия, муки — доколе!..
 Чтобы храмом восстать,—
 Сколько надобно вынести боли!..

☆☆☆

Все ты выдержал стойко,
 Достоин и славно, как надо...
 За твои испытания и муки
 Бессмертье — награда.
 В удивительной Книге твоей
 Слышу сердцебиенье...
 Озаряет дорогу мою сквозь века твое зренье.
 Фарисейству враждебен
 И чужд практицизму и лести,
 Мысль и сердце свое отдал людям,
 И с ними ты — вместе...
 Удивительной книгой своей
 Ты раскрылся пред нами...
 Над Венецией ты заблестал,
 Засветился огнями...

☆☆☆

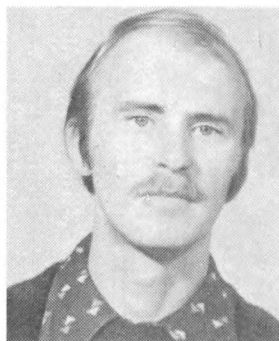
Неужели на свете всему есть конец!
 Это странно!..
 О, возможно ль забыть Марко Поло¹,
 Забыть Магеллана!..
 Неужели и ты — как бывает —
 Напрасно трудился,
 И в бессмертье спасенья души не обрел!..
 Не добился!..
 Нет и нет у бессмертья конца!..
 По горам и по долам
 Вновь, за солнцем следя,
 По дорогам идет Марко Поло...
 Из грядущих столетий
 Явившись — с Машрика, с Магриба² —
 Мы свидетели, странники,
 Столько поведать могли бы!..
 Марко Поло, ворота открой! —
 Нет меж нами границы!..
 Знай, бессмертье твое беспредельное
 Длится и длится.

Перевела с грузинского
 Е. НИКОЛАЕВСКАЯ

¹ «Книга Марко Поло» (1298 год) — собрала в себя все впечатления и материалы, собранные им во время путешествий.

² Машрик, Магриб — старинные названия Востока и Запада.

НИКОЛАЙ НАТАРОВСКИЙ



Родился в 1948 году
 в г. Канске
 Красноярского края.
 Окончил Ивановский
 текстильный институт.
 Сейчас работает конструктором
 на механическом заводе.

☆☆☆

Памяти отца

Читаю Константина Симонова
 «Дневник военного писателя».
 О том же самом под Борисовом
 отец мой думал обязательно.
 Великая война Отечественная —
 день первый — горечь отступления.
 Теперь на мне его ответственность,
 чтобы она была последняя!
 Читаю Константина Симонова
 «Дневник военного писателя».
 О том же самом под Борисовом
 я б думал с ними обязательно.

☆☆☆

Ах, полынная травушка, ты полынно горька!
 В поле сиром, на краешке, положили сынка.
 Ах, полынная травушка, ты полынно горька!
 У родимой у матушки отобрали сынка.
 У полынной России растут сыновья.
 Будто утром косили — а по пояс трава!

☆☆☆

Меня отцовская беда наотмашь в сердце била,
 И мне судьбой — его судьба,
 От горя что хранила
 И заводила патефон и каблучки ломала
 О доски низеньких платформ
 Рязанского вокзала,
 Где бритых наголо солдат —
 Под плач — в состав товарный,
 И увозила навсегда в полк армии ударной...
 «Вставай, страна огромная!..» —
 Вздыхалось в поднебесье.
 Была война отцовская мне колыбельной песней.

г. Солнечногорск

Дедюта
 «ЮНОСТИ»

Девушки моей мечты

Ж

ашему дому не везло: артобстрелы разворотили пятый этаж и разрушили парадный вход. При артналетах я прятался в глубине квартиры и помню то отчаянное возбуждение, которое возникало у людей, когда летели с полок кастрюли, билась посуда, перемещалась мебель и комнаты заволакивались едким розоватым туманом — смесью крошева от битого кирпича и дыма. Но еще не успевало заглухнуть эхо от разрыва и осесть пыль, как на лестницах дома видениями появлялись сандружинницы с носилками и сумками. Они врываются в двери, распахнутые взрывной волной, кричали: «Есть пострадавшие?» — пролетали по комнатам, выискивая раненых и убитых. И снова мчались вверх в другие квартиры с возгласами: «Есть пострадавшие?» Обстрел продолжался, рвались снаряды, а они, словно заколдованные от пуль, проникали повсюду. Я не запомнил лиц ни одной из них. Розовая мгла разрушений поглощала девушек, и взгляд порой лишь выхватывал пилотку со звездой, выбеленные известкой сапоги, саперную лопатку, стукнувшуюся о дверной косяк. Бабушка называла их «ангелами-спасителями» и крестила, когда они выплывали из дыма.

В ясный весенний день сорок третьего я вышел во двор без цели, просто радуясь теплу, перекличке птиц, звонким талым ручьям. И вдруг услышал позабытый хрустящий скрип качелей. Когда-то взрослые парни возвели во дворе качели, и любимым их развлечением было взлететь как можно выше, а потом с уханьем провалиться вниз. Качели приобрели известность. Возле них собиралась молодежь, назначались свидания, звучали песни, вертелись и мы, малолетки.

С началом войны качели замолкли. Потом их завалил снег, потом снег растаял, но и летом никто на них не обращал внимания. Едва не спилили зимой на дрова два их крепких столба — управдом отстоял: «Подождите, граждане, может, и пригодятся. У нас ведь еще не все сараи разобраны...» А тут в ушах забытый монотонный скрип качелей! Откуда?

Я выглянул из-за поленницы и увидел взлетающие, как до войны, качели, а на них двух девушек в военной форме: одна с рыжей копной волос, другая смуглая и чернокошная. Ах, как взлетали в вышину застоявшиеся качели! Но я смотрел не на качели, я следил за пламенно-рыжим и иссиня-черным клубами девичьих волос, метавшихся между небом и землей ярко и молодо. Я подошел поближе и замер. Надувались, как паруса, юбки, и девушки зажимали их коленями. Не знаю, сколько я простоял, переносясь в давнее и мирное время, пока не раздался голосок с качелей:

— Эй, паренек, ты чего там под юбки заглядываешь!

Я обомлел, покраснел, губы мои слиплись. Девушки, разругавшись, соскочили с качелей. Они выглядели очень юными, на несколько лет старше меня.

— Так чего ты? — воскликнула смуглая.

— Да ничего я, — выдавил я.

— Совсем парнишку запугала, — улыбнулась рыжеволосая.

Я не отрывал взгляда от их открытых, чистых лиц



ОЛЕГ
ШЕСТИНСКИЙ

РАССКАЗЫ

Рисунок Е. Лесничей

и не мог себе представить, что это те же самые девушки, которые в чадю пожара спасали и выручали нас при артоналах.

— Качели у вас совсем заржавели.

— Дак кому ими заниматься? — рассудительно заметил я.

— Это ты не прав. Надо людям оживать скорее. А то кровь застоится.

— Конечно, — подтвердил я, не очень понимая, о чем идет речь.

— Ты в каком классе?

— В шестом.

— А мы до войны девятый окончили.

В этот миг они показались мне своими, близкими, словно на перемене в школе я беседую со старшеклассницами. Я подумал, уж не учились ли мы в одной школе до войны, и спросил их. Мои собеседницы сразу изменились в лице, исчезла их беззаботность.

— Нет, мы издадека. Маша из Новгорода, я с Украины, наши семьи в оккупации... Если живы, — добавила темноволосая. — А мы оттуда вырвались, на фронт пока не берут, в сандружинниках действуем.

Мне хотелось им сказать столько хорошего и благодарного, все, что я слышал о смелости их от соседей и родных, но у меня не находилось слов, и я молчал, испытывая мучительное бессилие, даже пот выступил у меня на лбу.

— Ты славный мальчонка, — неожиданно произнесла рыжеволосая, — у меня братишка, как ты. Ты расти, — снова заулыбалась она, — может, через несколько лет с нами, с перестарочками, загуляешь...

Я еще не встречал в жизни таких красивых и боевых девушек и потому, набравшись отваги, сказал, пытаюсь сделать им что-то приятное:

— Женихи у вас, наверное, — лучшие наши воины.

Мне стало неловко за мою напыщенную фразу, но девушки восприняли ее серьезно:

— Воюют наши женихи. — И рыжеволосая докончила доверительно, словно обретая во мне товарища: — Да вот уже давно писем не получаем.

И мне страшно захотелось их ободрить. Я вспомнил, как померла зимою почтальонша, и, когда пришли ее выносить, две сумки нерозданных писем обнаружили — не успела... Девушки взглянули на меня сочувственно:

— И ты, братишка, тут хлебнул.

— Я-то что! — наконец прорвало меня. — Вот бабушка моя вас «ангелами-спасителями» называет. Если бы вы знали, как мы все вас любим!

— Ну уж ты хватил! — заулыбались они и спросили: — А хочешь с нами на качелях?

У меня дух захватило от радости.

— Хочу.

И попеременно я взлетаю то с рыжеволосой, то со смуглой и чувствую себя большим, сильным, взрослым и кричу девушкам, как равным:

— А ну, наддай крепче! — И мы взлетаем, и мы взлетаем на седьмое небо.

Мое блаженство длилось недолго. Девушки заторопились.

— Нам пора.

Качели раскачивались под свою грустную повторяющуюся песенку.

— Спасибо, — попрощался я с девушками, — вы еще придете?

Они засмеялись:

— Может быть, когда ты вырастешь!

И я крикнул им вслед:

— Очень, очень хочу, чтобы вы были счастливыми...

Моя не отроческая, а какая-то взрослая интонация, родившаяся в глубине души, видимо, тронула



их, и рыжеволосая, резко обернувшись и полуобняв меня, поцеловала в лоб.

— Живи.

Они удалились, две подружки, заброшенные войной в великий и страдающий город и жизнью своей и кровью своей уже ставшие ленинградками.

Внезапно мой скользнувший взгляд остановился на нашем окне, и я увидел в нем маму, ее удивленное и радостное лицо. Я приблизился к окну.

— Надо сходить в магазин, сухофрукты отвари́ть,— сказала она и еще сказала, оживленно глядя на меня: — А ведь мы, мой сын, пережили смерть. Ты понимаешь, пережили!

Почему она так сказала мне? Не оттого ли, что увидела меня — взмывающего в небо, улыбающегося девушкам, краснеющего под их взглядами? Может быть. В первый раз за блокадные дни я видел мать такой сияюще-торжествующей.

...Много лет минуло с тех пор. Я никогда не встречал этих девушек. Но среди моих знакомых есть бывшие сандружинницы: одна из них — министр страны, другая — партийный работник, третья — рабочая с химзавода. Иногда мы встречаемся, вспоминаем блокаду. И, прощаясь с ними, я повторяю про себя: «Очень, очень хочу, чтобы вы были счастливыми»

Мальчик и девочка



а окраине Ленинграда, на Охте, раскинулось старинное кладбище. Узловатые деревья с пышными кронами затеняли его своей листвой. Издали кладбище почти не было заметно.

Лишь в весеннюю пору странно и одиноко просвечивали темный крест, оградка, скамейка...

Город как бы суживался, потому что деревянные дома разбирали на дрова, а каменные рушились от бомб, снарядов и постепенно превращались в утрамбованные холмы, обросшие льдом и снегом.

А кладбища росли, жадно отрывая от пространства, которое их окружало, новые и новые пяди. Ширилось и Охтинское кладбище. Между ним и небольшим заводом лежало нетронутое поле, и кладбище устремлялось к заводской черте.

Но весной сорок второго все городские земли — парки, сады, бульвары, пустоши — были отданы под огороды. Город преобразился: по нему сновали деловитые люди с заступами, лейками, рассадой. Рассадой и семена выдавали по месту работы. И разговоры, витающие в воздухе, носили особый характер: о сельском хозяйстве.

— Горох думаю посеять, чудо-похлебку сварю, — лакомо объяснял на трамвайной остановке интеллигент с бородкой.

— Не заливайте водой рассадой, — поучала старуха в ватнике, — заплесневеть может.

Моя мать получила надел на границе Охтинского кладбища. От могил отстраняла лишь узкая канавка, усталая прошлойгодней листвой и плотными подорожниками. С какой радостью я вонзил первый раз лопату! Сталь, скрежеща о камень, вошла в пласт, перерубая корни сорняков. Я поднял жирный, отдохнувший за годы покоя ком земли, размельчил его. Дождевой червь зашепел в глубь почвы, подгивая длинное туловище. Я вскапывал грядки под капусту. Я, словно во сне, уже видел ее — белокочанную, хрустящую, в капелях росы. Лопата тяжела с каждой минутой. Пот струился по лбу, по щекам, я откидывал волосы и снова вонзал лопату. И вдруг вздрогнул: ведь эти вскопанные мною гряды напоминают братские могилы. Страх закрался в мое

сердце. Я развязал смоченную простыню, разобрал пучки рассадой и стал втыкать зеленые побеги в углубления на грядке. Грядки запестрели молодой зеленью, и я повеселел: нет, грядки не могилы, это сама жизнь. В разгар моих размышлений я услышал тоненький голосок:

— Рассадой не надо так вдавливать, попортите корешки...

Я обернулся и увидел худенькую девочку в высоких резиновых ботках, с кошелкой в руках.

— А ты чего сюда? — проворчал я.

— Нам рядом с вами участок дали.

Она, наверное, никогда не держала в руках лопату. Лопата у нее выскальзывала, подламывалась, никак не хотела слушаться хозяйку. Я исподтишка наблюдал за девочкой — она упрямо взмахивала лопатой, и, отчаявшись, опустила лопату и оперлась на нее. Девочка выглядела жалко: на ее лице выделялись черные подглазья, синенькая жилка трепетала возле обнажившейся ключицы.

— Не умеешь копать, а лезешь, — произнес я.

— А кому копать? Отец с братом на фронте, а мама только от болезни оправилась.

— Ну давай я тебе покажу.

Под моим присмотром девочка поставила тоненькую ножку на черенок лопаты, нажала всем своим легким тельцем. Нога соскользнула с черенка, оголяя угловатое колено, обтянутое детским рубчатым чулком.

— Не получается, — виновато улыбнулась она.

— Подожди, я рассадой посажу, чтоб не завяла, и помогу. А как тебя звать?

— Надя. А тебя?

— Саша.

Она вместе со мной сажала рассадой и — надо признаться — делала это ловчее меня. Ее маленькие пальчики со следами чернильных пятен мелькали, и ровные, неприметные ряды побегов молодцевато выстраивались на грядке.

Когда солнце стало садиться, я засобиравшись домой. Участок девочки тоже был вскопан. Мои ладони покрылись водянистыми белыми мозолями.

— Спасибо тебе, — признательно сказала девочка. — Приложи подорожник, он мозоли подсушит.

Девочка ушла с огорода раньше меня, и ее синенький беретик долго колыхался над тропкой, как василек.

На огород я ездил часто, хотя с девочкой и не встречался. Она, наверное, приходила в другие часы. Однажды я увидел у себя на огороде воткнутую еловую ветку. Конечно, это сделала она, передавая мне свой привет. Я спустился в низину и наломал светло-коричневого краснотала и тоже воткнул на ее участке. А через день мы с девочкой повстречались.

— Здравствуй, — сказала она, — смотри, как у нас хорошо принялось.

Потеплело, и девочка уже была не в ботках, а в старых мальчишеских ботинках и в цветной кофточке. Мы с нею усердно пололи, перекидываясь словами, а потом сели рядком на зеленом взгорье.

— Как ты зимой выжила? — спросил я.

— Не знаю... Банка с крахмальной мукой нашлась, отец три раза с попутчиками посылки присылал, вещи меняли... Только пианино мать не сменяла: я ведь играю на пианино.

— Да ну! — удивился я. — Тогда береги пальцы.

Девочка поглядела на свои пальцы с заскорузлой кожей и вздохнула.

— Только бы война скорей кончилась, а там и новые пальцы вырастут. — И засмеялась серебрено, как колокольчик.

На солнце я разглядел, что у нее голубые-голубые глаза.

— Хватит сидеть,— сурово сказал я.

...Как-то мы собрались на огороде вчетвером, с матерями. Женщины познакомились, и моя мать, у которой был черный гофрированный термос, предложила всем чаю. Каждый ел свое: мы хлеб, оладьи из картофельных очисток, они хлеб и ячневую кашу, а чай — по стакану — был у нас общий.

Надина мать печалилась:

— Второй месяц ни письма, ни весточки от мужа. Как почтальона увижу — ноги подгибаются. Не дай бог... Он у меня в разведке, может, и нельзя ему сейчас писать.

В середине лета, когда буйно и тяжело вымахала зелень, я предложил Наде:

— Сходим на кладбище.

Она согласилась. Мы перепрыгнули через канаву и углубились в благодатную прохладу кладбищенской рощи. Ближе к огородам могилы были военные, блокадные, братские, сделанные наспех. А потом пошли добротные, с каменными памятниками. Надя вглядывалась в фотографии умерших, многозначительные и серьезные, выбранные родственниками специально для скорбного случая, и наивно спросила:

— Неужели и они были мальчиками и девочками? — Она обернулась ко мне с тревогой.

— А сколько наших с тобой сверстников зимой умерло. Тоже ведь мальчики и девочки.

— Может, это и есть счастье, Саша, что мы с тобой живем.— Она приостановилась и с загадочным блеском глаз дотронулась до моего рукава.

У самого края кладбища, где густо нависала тень от еловых ветвей, мы услышали приглушенные причитания. И замерли возле большого глинистого бугра — братской могилы. Глина еще влажно поблескивала и хранила на себе отпечатки ударов лопат. Женщина в черном испачканном пальто лежала на бугре, судорожно глядя ладонями липкую землю.

— Кровиночка моя... Страдалица...

Лица женщины не было видно. Мы знали, что здесь хоронят погибших при артобстрелах. Мы боялись двигаться, чтобы не нарушить горького одиночества женщины. Но внезапно над самой головой женщины, свисая с ели, заверещала пичуга — серый, невзрачный комочек, — заверещала назойливо, на высоких нотах, вращая клювиком. Кошунственно вплеталась в стеления бессмысленная и животворная песенка птицы.

Нам показалось, что вот сейчас женщина должна оторваться от братской могилы, вскинуть вверх перекошенное болью лицо и запустить камнем в птицу. Но женщина не шевелилась, словно пыталась сама слиться с землей, а птица перелетела на другое дерево и снова с упорством принялась выводить свою мелодию. Нам сделалось не по себе.

— Бежим,— шепнул я.

И мы, хрустя сучьями и скользя на глинистой тропке, рванулись в каком-то неведомом беспокойстве, перемахнули через канаву и оказались на своем поле, залитом спящим солнцем. Мы, не замедляя бег, мчались по неовозделанной части поля, сквозь чертополох, вминая траву, пытались убежать подальше от кладбища...

Наконец, затрудненно дыша, остановились. Надя расправила платье и посмотрела на меня.

— Скажи мне, а что такое жизнь?

Я потупился, покраснел:

— Не знаю.

— Мы с тобой сейчас слышали, как оплакивали жизнь. Правда?

— Правда,— подтвердил я.

— А если и птица ее тоже по-своему оплакивала? Может так быть?

— Не знаю.

— Мне кажется, что жизнь — это что-то прекрасное-прекрасное, и, когда какая-нибудь жизнь исчезает,— все плачет и скорбит... И даже это солнце и трава... Кто как умеет... Ну, кроме фашистов, конечно,— добавила Надя.

И я подхватил самое понятное для себя в ее словах.

— Ясно, кроме фашистов.

— Смотри, Саша, а ведь наши жизни между собой встретились. Давай что-нибудь сделаем, чтобы это запомнить.

— А что?

— Давай поцелуемся.

— Так ведь мы еще маленькие.

— А мы просто так...

И мы коснулись друг друга губами — светлый и загадочный поцелуй детства.

Как чудесно прошла пора сбора урожая! Запах овощей наполнял трамвайные вагоны, квартиры благоухали дарами лета. Мы с Надей, как муравьи, тащили мешки с овощами к остановке. И наступил день, когда опустили наши градки, развороченная земля ждала отдыха. С грустью взвалили мы с Надей на плечи в последний раз мешки и, не оглядываясь, пошли с огородов.

— Как ты думаешь, мы с тобой увидимся после войны? — спросила Надя.

— Конечно,— бодро ответил я и добавил, набравшись смелости: — А давай теперь, в субботу!

Время до субботы я провел в мучительных сомнениях: во-первых, мне хотелось увидеть Надю, но, во-вторых, я ругал себя за то, что подпал под влияние девочек и назначил ей свидание, и, в-третьих, самое главное, я не знал, что буду делать при встрече — ведь ни копать, ни полоть, ни таскать овощи вместе с Надей уже не нужно.

Я явился на место свидания за час, и, спрятавшись за углом, продумывал свое поведение и ничего не мог решить. Надя возникла в глубине улицы, и я едва ее узнал. Наверное, она надела на себя довоенный наряд — зеленое пальто, шелковый шарфик — и даже помахивала кожаными перчатками.

— Вот ты какая! — изумленно протянул я.

— А какая? — слегка кокетничая, спросила Надя.

— Да никакая! — не зная за что, озлился я сам на себя.

Мы шли по улице, и я сгорал от смущения. Мне чудилось, что все прохожие смотрят только на нас и усмеваются: «Ишь какой кавалер!» Мы молчали, и молчание наше грозило затянуться навечно. И когда из-за невыносимой пустоты в голове я уже готов был сбежать от Нади, она поинтересовалась:

— А что вы с капустой делаете?

— Как «что»? — восторженно спросил я. — Солить будем.

— А знаете как?

— Еще бы,— с чувством превосходства заметил я,— у мамы даже и книжка по засолке есть.

— Главное, подождать, чтобы нашинкованная капуста сок пустила, а потом и солить.

— Справимся,— по-взрослому заверил я,— а вообще-то я через недельку хочу перекопать огород.

— И я,— обрадовалась Надя.

— Намереваюсь на следующий год тыкву посадить,— степенно начал я.

— Надо к этому подготовиться,— поддержала Надя.

Мы шли, уже не обращая внимания на время и дорогу, и громко обсуждали свои сельскохозяйственные нужды. Прохожие прислушивались к нам с интересом и, пожалуй, поглядывали с уважением.

ПАВЕЛ
ПЭНЭЖКО

ХУТОР НА КИРЕНГЕ

*На встречах в Тюмени
Михаил Сергеевич Горбачев
особо подчеркнул,
что «сегодня Сибирь — это высокоразвитые
промышленность и сельское хозяйство,
грандиозные стройки, мощные
народнохозяйственные комплексы...».
Объединив таким образом индустриальную
проблему с продовольственной,
он еще раз обратил наше внимание
на особенность сибирских условий жизни
и труда, на то исключительное значение,
которое партия придает развитию
продовольственной базы Сибири.
Как сегодня обстоят дела
в аграрном цехе БАМа?
Что делают молодые ученые
для его развития?*



Е

сть Кирёнга, а есть Кёренга. Разница принципиальная, хотя река одна. Просто первое, литературное расположение гласных и ударения — для приезжих и недавних бабковцев. Второе — для старожилов этих мест и ветеранов магистрали. Прислушайтесь к говору, и спрашивать не надо «кто есть кто». Впрочем,

по мнению многих, от былого отличия только и остается, что говор. В этом я и сам убедился, то-пая среди ночи от станции к поселку лесорубов Ключи. Конечно, цивилизация где-то здесь, неподалеку, скрывается под покровом темноты, из которой слышен отдаленный рокот мотора и успокаивающая душу брань, но крутом тайга, и куда идти, не очень понятно. К тому же комары и мошка... Вообще наш брат, приезжий, любит слагать о сибирском комаре разные небылицы. Так вот не верьте. Он и мельче, и ленивее, и доверчивее своего европейского собрата. Но жуть в том, что в каждом кубометре воздуха его больше, чем средневековых чертей на кончике иглы. Они готовы гибнуть тысячами, но кровь пьют литрами.

В этот час на дороге от станции к райцентру Качинское редкая попутная машина обдаст тебя пылью. И вряд ли какая остановится, убедился я на собственном опыте. Вспомнились слова, сказанные час назад попутчиком по купе, бульдозеристом Александром Лахом, который в самом начале строительства на Иркутском участке прославился тем, что выкопал неподалеку от Нии бивень мамонта. С этим бивнем я встретился года три тому назад за тысячу километров отсюда, на Читинском участке, в доме Анзора Двалишвили, начальника «Грузбамстроя». Хозяин собирался отвезти его на родину и поместить в музей, увековечивающий подвиг строителей магистрали. Так вот, Лах говорил, что в первые годы строительства шоферы сами останавливались и подбирали на трассе пешеходов. Такой был неписанный закон. А теперь, мол, не каждый и за трешник согласится подкинуть от станции до Ключей, хотя всего-то километра три-четыре. Словом, край освоили, теперь можно опять всем врозь.

Справа тайга темной стеной, слева болотце, по которому какая-то еле видная зверюга плывет, плещась и похрюкивая, ночная птица ухает, по лицу размазывается крылатая биомасса. Экзотика!

Сзади нагоняют фары. Почему-то останавливаются. Ну, понятно, красные кресты на кузове. Если еще и эти будут проезжать мимо, что тогда от магистрали останется?!

- Куда?
- К Оксененко... на хутор.
- А-а-а, ну садись!

Затормозили у глухого забора в полтора человеческого роста. Рослый кучерявый мужик в темноте возился с калиткой. Видно, кого-то проводил.

- Мне бы Бориса Кирилловича.
- Я Борис Кириллович...

Так среди ночи на берегу реки Киренги состоялась моя встреча с человеком, о существовании которого узнал три года назад в Новосибирске и с которым с тех самых пор все хотел и никак не мог познакомиться.

Был я тогда в Сибирском отделении ВАСХНИЛ. Этот меньшой брат Академгородка располагался на

пригородной пустоши по имени Краснообск и буквально в считанные годы превратил ее в оазис перелового земледелия и животноводства на зависть всей необозримой Сибири. Однако меня интересовало лишь одно из направлений во всем многообразии исследований, тем более, что о нем широкая печать как-то не очень распространялась.

Сельскохозяйственное освоение зоны БАМа. Дело в том, что сибирские ученые-аграрники пришли сюда одновременно с первыми бригадами строителей. Но тщетно, листая популярные издания того времени, мы будем среди роскошных блондинок с теодолитом на фоне тайги или богатырей с «бензодружкой» в руках и каской на затылке искать скромных почвоведов, агрономов, животноводов и экономистов по сельскому хозяйству. Казалось бы, нам, далеким от тех суровых и неосвоенных мест, чисто по-человечески в первую очередь должно быть интересно, чем там люди кормятся и где живут, а потом уже какие они подвиги совершают. Но нет, когда в меню полный белково-углеводный баланс, да к тому же стандартный набор коммунально-бытовых удобств, все это кажется такой прозой, о которой говорить, читать и смотреть передачи несколько скучновато. Хочется экзотики, романтики, героизма, наконец, для обострения убавляемых привычным комфортом ощущений.

Но видели бы вы ту же блондинку, как, нализавшись целый день с проклятым теодолитом по болотам, она яростно, превозмогая валяющую с ног усталость, наворачивает макароны по-флотски. А этот в каске уже третью по счету миску рыбного супу опустошает, а в глазах тоска, как у того волка, которого он погнал из тайги своей бензопилой. Ему бы сейчас борщца из свежих овощей. Там, в далеком-далеком доме, уже и капуста ранняя поспела, и молодая картошечка, морковь, свекла, лучок, петрушка, укроп... Проза жизни, данная теперь лишь в мечтах. Но что поделаешь, против природы не пойдешь, и вот уже у временных домиков и балков появляются маленькие огородики и даже примитивные пленочные теплички. Пишут в далекие края родным, чтобы прислали семена. На буграх поближе к солнцу пробуют сажать картошку. Хорошо бы еще кур завести, свинку, а то и коровку, потому что сгущенка, уже «вот где сидит», а для детей она вообще не выдерживает сравнения с парным молоком, но только как все это содержать и чем прокормить?

Как раз для фундаментального, научно обоснованного ответа на этот вопрос и двинулись плечом к плечу с первопроходцами молодые сотрудники Сибирского отделения ВАСХНИЛ по намеченной трассе магистрали, преодолевая те же трудности, терпя такие же лишения, но за значительно меньшее моральное и материальное вознаграждение. Пабисити было не для них, равно как и всевозможные надбавки. Стимулом был лишь острый интерес к неизведанному и понимание глубокой человеческой необходимости затейного предприятия. Кто на чем, кто как добирался они до намеченных на карте мест, чтобы высчитать их аграрно-продовольственный потенциал. Некоторым везло. Они попадали в какой-нибудь из многочисленных в здешних местах колхозов или совхозов, где уже имелась какая-то база, сельскохозяйственный опыт, основа для будущего развития вширь и вглубь. Хотя, конечно же, хозяйства, которые там находились, еле-еле прокармливали самих себя. Удаленность от мало-мальски развитой цивилизации как бы законсервировала их на стадии самой невзыскательной натуральности.

Другие же просто высаживались в тайгу на торфяники, на кромки болот и марей, где все исследование надо было начинать с нуля. Определая состав почвы, их водно-тепловой баланс, возделывали, чем при-

дется, опытные делянки, сажали и сеяли, не имея никакой другой крыши над головой, кроме таежной кроны и палаточного брезента.

Тем не менее уже к началу 1977 года, исходя из самых скромных запросов первоочередного освоения вдоль трассы БАМа, было выделено 120 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, треть которых вполне годилась под пашню. Ученые докладывали, что непосредственно в зоне магистрали имеет смысл развивать молочное животноводство, огородничество в теплицах, птицеводство, а также выращивать овощи и картофель в открытом грунте. Зерно, масло, мясо, сыр, теплолюбивые овощи и частично картофель лучше сюда завозить из так называемых «тыловых баз» — прилегающих районов, которые имеют более благоприятные природу и демографию.

Сибиряки возили свои снопы и овощи в Москву, Новосибирск, Улан-Удэ и в Тынду, в Госплан, Совмин и Главбамстрой, рассказывали, доказывали и давали пробовать, выпустили в 1979 году брошюру «Огород на БАМе», которая тут же стала бестселлером, а теперь и библиографической редкостью, множество методичек и солидный сборник «Рекомендации по развитию сельскохозяйственного производства в зоне БАМа». В них есть вывод об экономической целесообразности затейного мероприятия. Мол, если учесть экономии на транспортных затратах, на потерях продукции в пути, то даже при большей себестоимости в зоне БАМа производство здесь овощей, яиц, молока и мяса ежегодно сэкономит народному хозяйству до трех с половиной миллионов рублей.

Собранный и обобщенный материал с совершенно недоступной для работы с бумагами скоростью был заслан в Госплан РСФСР. Там его включили в циркуляр и разослали по ведомствам с пожеланием «принять к сведению». Ведомства, конечно же, «приняли», но дальше дело не пошло, а забуксовало в полемике. Железнодорожники говорили, что деньги, технику и специалистов для сельского строительства должен дать Минтрансстрой, так как это его люди работают сейчас на магистрали, им-то и нужно молоко, овощи. Строители отвечали, что они поработают и уйдут, а железнодорожники останутся. Вот и пусть раскошеливаются по своему ведомству. Мелиораторы доказывали, что в этих местах у них нет решительно никакой базы, и для освоения края им необходимо соорудить там что-то вроде собственного БАМа. Металлурги кивали на шахтеров, а те на лесорубов. В то же время Минсельхоз республики жаловался на недостаток машин, средств и на то, что почти вся техника и материалы, которые посылаются для баумовских колхозов и совхозов, каким-то непостижимым образом по назначению не попадают, а разбираются все теми же строителями — полновластными хозяевами магистрали.

Главный огородник БАМа, заместитель председателя президиума СО ВАСХНИЛ Ю. А. Новоселов, помню, еще тогда возмущался инерцией мышления наших строителей и промышленников:

— Привыкли так: где бы они ни строили, продовольствие им обязательно завезут. Есть кому об этом думать, есть откуда брать. Лет двадцать, тридцать назад, может, так и было. Но теперь и масштабы, и расстояния, и география, и демография не те. Нет в стране излишков продуктов, и нет возможности все необходимое везти из одного конца необъятной Родины в другой. Самим-нужно развивать продовольственную базу. Притом с опережением!

Буквально за несколько месяцев до нашей беседы с Юрием Анатольевичем я узнал о планируемом развитии подсобных хозяйств в зоне БАМа. Ученые-аграрники тогда очень приободрились. Мол, теперь-то уж наш труд не пропадет, не запылится в архивах.

Они доказывали, что сделан лишь первый шаг. Исследования нужно развивать шире и глубже, открывать новые, еще не выявленные возможности зоны. Рождались живые легенды. Разумеется, на сугубо реальной основе. Так я услышал о молодых сотрудниках СибНИИрастениеводства и селекции супругах Оксененко. Якобы они прибыли на берег Киренги с семенами и единственным орудием производства на двоих — авторучкой. Тем не менее, быстро подружившись с мехколлонной и лесхозом, Борис не только все что надо вспахал и засеял, но и дом построил, в котором благополучно перезимовал вместе с женой, старшей дочерью и новорожденным сыном. Фактически они ровесники — Вячеслав Борисович Оксененко и Казачинско-Ленский аграрный опорный пункт — обоим теперь по семь лет. И если в других опорных пунктах что-то росло, что-то нет, то Оксененко дал полную «обойму» по огороду. У него были зарегистрированы самые большие урожаи по ранне-средне-позднеспелой, а также цветной капусте, свекле, моркови, редису, редьке, репе, луку, салату, огурцам и томатам. Притом последние выращивались как в открытом грунте, так и под пленкой. Ну как было не встретиться с таким аграрным Робинзоном?

...Налево темнели какие-то строения, направо тоже, но более похожие на жилье. Навстречу выбежали две лайки с совсем еще несмышленым щенком и начали радостно знакомиться.

— Сделайте милость, дайте им пару раз по носу. А то совсем развратились, к любому прохожему ластятся.

Забор уходил куда-то в темную даль владений и, несмотря на свою высоту, не создавал ощущения надежности. Позднее мне рассказали, что недавно его повалил ветер.

— Вы охотитесь?

— Да. Как кончается огородная работа — я в тайгу. У меня договор с коопзверопромхозом. Белку бьем, соболя. Сибиряку без охоты невозможно.

Как в любом серьезном хозяйстве, здесь у каждого раз и навсегда определено свое место, и малейшее нарушение субординации воспринимается с осуждением. Порядок здесь осуществлялся не иначе как через естественное распределение посыльных обязанностей. Сфера Бориса — «капустная диссертация», овощной севооборот, строительство, машинно-тракторный парк, техническое и энергетическое обеспечение вообще, стратегия и тактика взаимоотношений с внешним миром, профтехобразование и воспитание своих и чужих детей, охота, баня.

У Веры «морковная диссертация» и еще кое-какая овощь. А кроме того: порядок, уют, чистота в двух жилых домах и лаборатории, трехразовое питание и милая улыбка для гостей, дипломатические отношения с внешним миром, беспокойство о поступающей в университет Наташке и о дошкольнице, без царя в голове, Славке. Вдобавок еще материнская забота о почти взрослых сыновьях коллег по институту, высланных сюда родителями ради удаления от соблазнов праздной городской жизни и приобщения к земледелию. Прибавьте сюда руководство маленькой женской бригадой, которая и на грядках, и в теплицах, и в лаборатории занята, терпеливое ожидание возвращения мужа из далеких командировок и охотничьих экспедиций. Чуть не забыл: у Веры два образования. Она еще и фельдшерка. Так что медобслуживание — на дому.

Быть хорошей женой и перспективным научным работником — в этих условиях за глаза хватило бы чего-то одного. Первой здешней зимой, когда рожала Сла-

вика, Эрис был далеко, на очередной конференции по вопросу, что растет, что не растет на БАМе. Пропустить ее было невозможно по причинам стратегическим. Кто-то из них двоих обязательно должен был выступить. Больше-то никому! Так и появился новый сибиряк в тех самых местах, где за триста лет до него Ерофей Хабаров растил хлеб и варил соль на зависть алчному якутскому воеводе. И пока вопрос «растет—не растет» дебатировался на всевозможных конференциях и заседаниях, Славка на папашиных-мамашиных витаминах вырос в здорового, энергичного и дьявольски изобретательного семилетку. Никто не может сказать, глядя на эту рожицу ангелочка в белокурых кудряшках, какие чудовищные замыслы он вынашивает. «Его даже комары не едят», — с завистью говорит папаша.

Например, на днях Славка собрался вместе с лес-промхозовскими тушить лесной пожар на Мине, и из машины был выдворен, только подчинившись грубой физической силе.

За полтора месяца не выпало ни капли дождя. Сухие грозы гремели где-то далеко, разя молниями сухой мох на гольцах. От этого, говорят, и пошло. Вторую неделю еле-еле солнце проглядывает. Но это лишь одна версия возникновения бедствия. Есть другая, более прозаическая: двое отправились на рыбалку и заблудились. Один выбрался самостоятельно, а другой неделю блуждал по тайге, пока его не нашли с вертолета по совершенно необъяснимому с точки зрения законов природы распространению очагов пожаров. Это он по ночам кострами оберегался от холода, зверя и гнуса. Вот и выходит, иной человек для тайги — страшнее сухой грозы. Я напомнил Борису патетические строки поэта Альберта Кравцова:

Передовая по борьбе с природой
Сегодня БАМ. В атаку, молодежь!

Оксененко помрачнел и сухо заметил: «Не пони-маю поэзии... Во всяком случае, такой. Как-то здесь все навыворот. Русские поэты всегда понимали природу, учили ее любить, а не громить почему зря... БАМ — передовая чего хотите, но только не борьбы с природой».

И все же для умных разговоров было либо уже очень поздно, либо слишком рано. Меня отвели в другой домик, состоящий из бездействующей на летнее время кухни-столовой, просторной гостиной с телевизором и прочим городским атрибутом, кабинетом Бориса, в котором микроскоп мирно соседствовал с ружьями, рукописи и научные издания с боеприпасами и охотничьими сапогами, на полках Присви́н соседствует с Энгельсом. На стене шкура сохатого, которую даже охотники принимают за медвежью, расположилась рядом с оленьей.

Из детской, куда меня направили ночевать, неслись крики: «Ну куда... в тайгу... малец...» Это Славик во сне переживал свою несостоявшуюся поездку на пожар.

Интересная пара, думал я. Он — цыганистый, курчавый, распираемый силой, но очень сдержанный, даже, наверное, скрытный мужик. Останься он у себя в институте, наверное, быстро бы затучнел, затосковал. А здесь с зари до темна, и все своими руками... Прямо надо мной балка почти в обхват. Это ведь он ее туда, на чуть ли не четырехметровую высоту, закатил. И не одну. Охотник, говорит, должен все уметь. Ну да, видел я охотничьи избушки, строганные одним топором. Но разве с этим сравнимо? А супруга? Без пяти минут кандидат и вдруг: «Может, вам баньку истопить?» Где-нибудь в городе

попробуй завалился вот так среди ночи в незнакомое ученое семейство. Супруга тебе покажет «баньку». А может, не зарой они себя в этой глуши, у обоих было бы уже по диссертации, по кандидатской степени. И не маялся бы так: поступит — не поступит дочка в университет. И Славка не ломал бы голову, как ударить на недозволенный пожар, а чинно бы корпел над начатками алгебры или английского. Утром надо будет все это как-то разъяснить...

Но утром уже никого не было. Только на Славкином столе лежала раскрытая книга о переходе Суворова через Альпы. Обеспокоенный, как бы в этот час без моего свидетельства героическое семейство чего-либо не совершило, я поспешил на улицу. Действительно, у дальних ворот толпились люди, урчал трактор, через весь участок туда тянулись трубы, и над всем раздавался властный голос хозяина: «Петька, черт, куда ключи задевал? Когда у нас будет порядок?»

Оказывается, сообразительные люди из соседней мехколонны прилепили к самой изгороди Оксененко свои пять гектаров картошки и получают таким образом двойную выгоду — агрономическую и техническую помощь науки. Директиву — устраивайте подсобное хозяйство — дать просто. Но где для этого взять технику, удобрения, умение, наконец? Вот сейчас — откуда у мехколонны может быть дождевальная установка? Значит, трактор, трубы, «дождевалка» ДДН-70, компрессор и даже вода — все от опорного пункта. Потом как-нибудь разотчутся своими услугами. Агроном хоть и мастер на все руки, хоть и сам себе голова, а помощь и ему нужна. Вон ему на мехдворе какой мостовой кран помогли утвердить. Теперь хоть «Кировцы» ремонтируй, любой двигатель вытянуть из капота ничего не стоит. А взять мастерскую — полный набор станков для токарных, фрезерных, сверлильных и прочих работ. Таким образом, редкая поломка в обширном колесно-гусеничном хозяйстве опорного пункта (три трактора на ходу, один в ремонте, гусеничный тягач и «уазик» с кузовом) поставит его хозяина в тупик.

Вскоре мехколоновцы преодолели ворота, затарахтел компрессор, и над их картошкой выгнулась, как на пожаре, струя. Борис подошел и сказал, как бы читая мои мысли: «Местный пожарник однажды пристал: давай, мол, «рацуху» оформим. Использование поливной установки для тушения пожаров. Премию пополам. Нет, говорю, придется еще кое с кем поделиться. «С кем же?» «Не знаю, наверное, с кем-то из вашего брата, который додумался из пожарной пушки сделать такую вот поливную установку».

Я посмотрел на еле видное сквозь дымное марево солнце и подумал, что и впрямь в горящей тайге это орудие было бы уместнее, чем на слабых почвах киренгской поймы. Как бабахнет с двадцатиметровой высоты здаким техногенным водопадом, так сразу с градки тонкий гумусный слой долой, наверх полезли глины, галечник, щебень — в пору гидропонику заниматься, а не полеводством.

— Здесь даже обычные орудия для почвозащитной обработки не подходят, — говорит Оксененко. — Нужно переделывать, придумывать самим.

Вот интересно, сколько институтов занимается сельскохозяйством в зоне магистрали скоро уже десять лет, а одного из самых главных — машиностроительного — до сих пор нет как нет. Помню, перед самой поездкой мне пришлось беседовать в Новосибирске с директором Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения АН СССР доктором сельскохозяйственных наук Р. В. Ковалевым. Его сотрудники изучили прилегающие к БАМу земельные угодья и пришли к выводу, что все они легкого механического состава и особенно подвержены эрозии и дефляции. То есть буквально: проехал тяжелый трактор — и уже

испортил почву. Выворотил плугом — и совсем погубил.

— Нужны совершенно новые, не имеющие аналогов почвозащитные орудия обработки, — говорил Роман Викторович, — иначе всю территорию, даже не успев толком освоить, мы превратим в пустыню. Притом такую, какую никогда потом не сможем снова оживить.

В равнодушии к БАМу с сельскими машиностроителями могут поспорить только мелiorаторы. Но у последних хоть есть извиняющее обстоятельство: им нужны большие средства для создания собственной базы в зоне магистрали (хотя тоже, знаете ли, вопрос не бесспорный, если подойти к его решению со стороны ломки ведомственных барьеров). Машиностроителям же вполне достаточно заслать по два-три человека в уже созданные аграрные опорные пункты, чтобы они на месте разобрались в специфике требований и потом воплотили их в своих чертежах. У таких, как Оксененко, они получают исчерпывающие консультации. Впрочем, Борис и без пожарника только прошлой зимой одиннадцать рацпредложений оформил.

— Если бы только техника?! — раздражается обычно такой уравновешенный Борис. — А химия? Сколько ее давать и в каких сочетаниях? Я уже не говорю о хранении. То, что там у вас называют бесхозяйственностью, в наших условиях я приравнял бы к преступлению с соответствующей статьей.

Действительно, традиционная агрохимия складывалась в совершенно иных обстоятельствах. На более сильных и плодородных почвах, под солнцем и теплыми дождями, дающими возможность растениям лучше усваивать «минералку». Здесь же все иначе. Казалось бы, само напрашивается решение — побольше удобрений, притом в совершенно новых, необычных для земледелия стандартных условиях, сочетаниях. Побольше, говорите? Но ведь из-за низких температур растения здесь могут усваивать значительно меньше, чем в обычных условиях. Значит, минеральные удобрения будут накапливаться у поверхности земли и смываться в реки, чьи холодные воды обладают пониженной способностью к самоочищению. Еще сложнее, еще опаснее будет с пестицидами и гербицидами. Не исключено, что общепринятые в нашем хозяйстве нормы здесь вообще неприменимы. Во всяком случае, Оксененко старается их избегать, заменяя овощным севооборотом. Борис заложил у себя пятнадцатилетний севооборот!

— Это ж сколько надо ждать? Сколько ровесников за это время станет кандидатами и докторами.

— А я не тороплюсь. Что значат эти жалкие полтора десятка лет в сравнении с будущими столетиями освоения?

— А в твоей и Веринной жизни они что-нибудь значат?

— Это наша работа. Если посвятить ее будущим столетиям, не так уж плохо, а?

В лаборатории (первое здание, собственноручно построенное Борисом) царил деловая суматоха. Только что снятую партию урожая тепличных огурцов и помидоров взвешивали, заносили в журнал. Здесь тоже рабочий кабинет Бориса, интерьер которого определяют всевозможные металлические детали, трубы, болты, гайки и кое-какой случайно занесенный слесарный инструмент. «Не кабинет, а мастерская жэковского слесаря-водопроводчика», — комментирует все это хозяйство Вера. Вот у нее-то, как дома, полный порядок и чистота. Все по полочкам разложено. Брошюра «Огород на БАМе», которую в Новосибирске мне хотели подарить, перерыли все, да так и не смогли найти, здесь аккуратноенько стоит в двух экземплярах. Весы, термостат, микроэлементы.

Вера жалуется, что Борис при всей своей сдержанности нет-нет да и испортит отношения с людьми. Недавно поругался с соседями, руководством совхоза «Магистральный», по поводу хранения минеральных удобрений. Вообще-то непонятно, то ли действительно не понимают, то ли им просто наплевать. У них на берегу реки (надо додуматься выбрать место!) сарай для «минералки» совсем развалился, крыши текут, как решето, и все потом в реку. Борис к врачу санэпидстанции: «Ты чего смотришь?» «Я,—говорит,— не смотрю, я штрафую. У них в первом отделении удобрения вообще свалены на территории гаража, ездят по ним, каждый день туда ходил, как на работу». «И что?» «Наконец приняли меры, огородили... заборчиком...»

Вошел Борис со средней величины темно-зеленым мячом в руках. Оказалось, арбуз. Дело в том, что для самых «невозможных» экспериментов Оксененко прямо к лаборатории пристроил совсем небольшую тепличку под стеклом, с мощными лампами, подогревом и прочими ухищрениями. Там у него зреют арбузы и дыни. Я вспомнил, что в прошлом году, побывав на Полтавщине, видел там арбузы на бахчах куда меньше. Киренгский пионер аппетитно хрустнул под ножом и показал свои вкусовые статьи, не отличимые от тех арбузов, что поднимаются из низовий Волги в Москву. Радуясь в глубине души произведенному эффекту и щедро потчuya сахаристыми ломтями, Борис ударился в совершенно безответственный идеализм. Он стал утверждать, что край погубит не напавший вышедшей из повиновения техники и даже не экологически необразованное многолюдство. Смертельную опасность для него таит в себе... дух. Именно дух, как он выразился, «временничества». По мнению Оксененко, мы слишком щедро и без разбора наделяем всех, кто едет сейчас на север или восток, благородным именем «освоители». Однако собственно освоителем падлежит называть лишь того, чья работа здесь улучшает качество жизни, гармонизирует интересы человека и природы. Тот же, кто завербовался на время, чтобы заработать дубленку, машину, квартиру, карьеру, орден,— того должно называть, независимо от масштаба поползновений, «временщиком» и относиться к его активности с разумным скептицизмом. Надо, чтобы временный человек в этих местах постоянно чувствовал на себе «глаз доглядывающий и длань обуздывающую», иначе добра от него не жди.

Тут я было возразил Борису, что предлагаемые им меры звучат как-то не очень демократично. Кто, интересно, будет «догоглядывать и обуздывать»?

— Как кто? — удивился Борис. — Освоители, местная общественность. Люди, для которых судьба края стала неотделимой от их собственной.

В самом деле, столетиями жили по берегам рек здешних потомки русских первопроходцев и тунгусов (кстати, все они Антипины, Наумовы, Подымахины — других просто нет), охотились, обрабатывали землю, жили в мире и согласии с природой. Теперь ее «атакуют», и вот недавно СЭС, проведя серию химических анализов воды, констатировала: загрязнение выше допустимого уровня. Но, может быть, и в самом деле объективно невозможно в условиях столь мощного хозяйственно-демографического взрыва, который пережил район во время строительства магистрали, соблюсти хотя бы элементарные санитарно-экологические нормы поведения?

Вместо ответа Оксененко вывел меня на берег обмороженного им пруда, где стоял качающий воду компрессор, тут же неподалеку гараж и ремонтная мастерская. А вода — как слеза, даже рыбешка какая-то по дну плавает. Ну и, конечно же, кругом чистенькая галька, никаких следов бензина и масел.

— Мы отсюда пьем,— сказал Борис.

Два полюса «наука — практика» раздирают сегодня прибайкальские суглинки. Пока Оксененки мудрят у себя в лаборатории над оптимальными сочетаниями калия, кальция, фосфора, азота и микроэлементов, по совхозной пашне тащится тракторная тележка, и выломанные ломом глыбы «минералки» падают, как бомбы, в борозду. Что делать Борису? Становиться на пути трактора? Было дело: чуть ломом по лбу не схлопотал. Конечно, за себя он постоять может и за землю тоже. Однако же в богатой палитре методов внедрения прогрессивной технологии в сельскохозяйственное производство рукопашная как-то не предусматривается. А потом, почему именно Борис должен гоняться за вооруженным ломом и дышащим перегаром аграрием? Нет, я не за боевые действия, а чтобы мирно и трезво прийти с блокнотом, посоветоваться, чего надо записать.

Поначалу Оксененко встретили скептически именно старожилы. Мол, мы тут и без вас еще до войны растили огороды, и рожь своя была. «Огороды, говорите... А какую капусту сажали?» «Раннюю». «Так ее ж квасить нельзя!» «Другая не вызревает». «Ничего, у меня вызреет и средне- и позднеспелая». «Говори! На языке хорошо все зреет...» Но когда в первый же год он угостил народ своей квашеной капустой, скептики замолкли и молчат по сей день. Только приходят за семенами и инструкцией, как выращивать рассаду. Дивятся: «Ты и рожь растишь?» Да, наперекор науке, «доказавшей» где-то там, в Новосибирске или Иркутске, что здесь она не вызревает. Лук зеленый переняли, теперь его девать некуда. Даже ОРС не берет, заготовлен. До него знали только петрушку да укроп. А он им еще преподнес эстрагон, мяту, майоран, базилик. Мята перечная даже презимовала. Кориандр (он же кинза) дал семена. Как-то забрел со стройки азербайджанец и Веру испугал: бросился на колени у грядки с кинзой и давай нюхать. Не могу, говорит, родиной пахнет. Другой раз зашел кто-то из леспромхозовских, оглядел хозяйство и с издевкой спросил: «Чего зря горбатиться? Орден хочешь заработать?»

Вот какую полярную реакцию вызывает своим стоянием на Киренге Борис. По ней сразу можно отделить освоителя от временщика. Когда Оксененки здесь впервые появились, в окрестностях ни у кого не было теплиц. Теперь — у всех. В 40 километрах от Магистрального есть эвенкийский поселок Ханда. Высота над уровнем моря 357 метров, заморозки, условия для огородничества тяжелые. Но и там в этом году появилась первая теплица. Знакомый охотник Володя Городилов навесил по весне Бориса, взял у него рассаду и на поняге в рюкзаке утащил к себе. Братья, сестры Городилова в Москве, Ленинграде институты кончают, а он здесь пушшиной и копытными промысляет в коопзверопромхозе, рыбу ловит. Семья у него. Теперь витаминами будет детей кормить. Нет, определению теплица скоро станет своего рода визитной карточкой или удостоверением бабовца. Если есть — «освоитель». Нет — «временщик».

Не обходится у Бориса и без огорчений. Прекрасные салаты растут у него на грядках, а местный люд все никак не распробует, не берет семена. А ведь это аскорбинка, каротин, витамин Р, минеральные соли, клетчатка и пектин. Но вот поди ж ты, убеди народ. То же и с томатами было. Упрашивал взять рассаду. Убеждал, что витаминов в них больше, чем в апельсинах, вишне, землянике, персиках. Правда, теперь отбою нет.

Считалось, что в здешних условиях нет лучше сорта томатов, чем районированный Сибирский скоро-

спелый. Но Оксененко доказал, что под временным пленочным укрытием могут давать в полтора раза большие урожаи сорта Дружный, Алтайский грунтовый и Перемога.

И вообще не будем идеализировать науку. Например, в Новосибирске до разветвления работ на БАМе считали, что оптимальная температура грунта для капустной рассады должна доходить до 25 градусов. Но что значит для условий магистрали такая температура? Это хорошая теплица с мощным подогревом. И дорого и хлопотно. Оксененко доказал, что в торфоперегнойных горшочках и на слое опилок рассаду можно выращивать вообще без подогрева и урожай уступать не будет.

В Ключах лесорубы под влиянием Оксененок теперь не только свои огороды, но целое подсобное хозяйство завели. Им управляет молодой агроном, комсомолка Вера Антипина. К началу июля ее теплицы дали до полутора килограммов огурцов и 40—пятидесяти, с открытых грядок сняли 60 килограммов редиски, лук и укроп. А было время, Оксененки ходили по обществам и чуть ли не умоляли взять у них рассаду. Приходится и теперь убеждать людей. Но если раньше это касалось «обыкновенных» (правда, не для здешних мест) огурцов и помидоров, то теперь внедряются арбузы и дыни.

— Агроном на БАМе, — говорит Борис, — это еще и хозяйственник и эколог. К примеру, я должен помнить, что каждое повышение температуры почвы на полградуса требует увеличения расхода топлива на семь процентов. Типовая форма теплицы была «домиком», я предлагаю трапецию. За счет этого получаем большую площадь для посадки и лучше естественный обогрев. Ядохимикатов сегодня мы можем получить по потребности, но я стараюсь применять против вредителей отвары и настои из растений-инсектицидов и фитонцидов.

Что это за загадочные растения? Представьте всем известные картофель, томат, лук, чеснок, горький перец, табак, полынь, дурман, белена, одуванчик. Настоянные или отваренные ботва, шелуха, трава, цветки, корни, бутоны этих растений страшны для тлей, клещей, гусениц, клопов, жуков и мух не меньше химии. Надо только знать рецепты приготовления, как применять и когда. В природе все разумно, против любой напасти есть защита. В естественных условиях эти две силы находятся во всегда в равных соотношениях. В этих случаях человек и должен помочь растению, сгруппировать его почему-либо рассеянные, ослабленные силы для борьбы. Сами по себе одуванчик и белена не «пойдут» защищать картошку и помидоры от вредителей. Нужно, чтобы работник-агроном распорядился. Или понимающий свое дело огородник.

Я обратил внимание на Славку, который вместе со своими леспромхозовскими друзьями энергично приступил к гороховой делянке. Порадовался за ребят. Но оказалось, для Бориса и Веры в этом повод для бесконечных огорчений. Гнать детей — язык не поворачивается, а все позволить — наука вылетит в трубу. Ведь сбор урожая — это один из этапов исследования, скрупулезная проверка, чем растение ответило на тот или иной комплекс агротехнических мероприятий. Все это надо взвесить, посчитать, занести в журнал, обобщить, осмыслить. Но после нескольких подобных налетов осмыслить можно будет лишь абстрактно. Такой аппетит у здешних ребят, лишенных самого обыкновенного, хотя и жизненно важного деревенского лакомства. Да и взрослые, надо заметить, не страдают от избытка сельхозпродуктов. Если, как уже говорилось, до прихода магистрали север Иркутской области не только худо-бедно сам себя мог прокормить,

но еще и продавал кое-что от излишков в Якутию, то теперь это отошло в область преданий.

Казалось бы, в таких условиях урожаи Оксененко для местных орсов и урсов просто манна небесная. Забирай, торгуй, насыщай. Нет, не так все просто. Оказывается, наша торговля и даже потребкооперация гораздо лучше приспособлены к дефициту, чем к изобилию. Дело в том, что первый гораздо легче планировать. Нет — и все тут. А вот когда обилие — еще такое неожиданное, как на опорном пункте Оксененко!

— Я даже не могу, — досадует Борис, — где-нибудь в начале года или лета сказать им: вот огенью продам вам столько-то. У меня нет в собственном смысле поля, на котором можно планировать урожай.

Да, у него экспериментальные делянки. Здесь — с таким сочетанием удобрений и сроков полива. Здесь — с другим. Здесь — вообще без удобрений... Совсем ничего земля не даст — и это нужно. Для науки отрицательный результат не менее важен, чем положительный. А вот кооперация такой ненадежный урожай не возьмет. Борис может продавать только то, что собрал, и только тогда, когда собрал и внес в отчеты.

Помню, рассказывал он мне про дочкины проблемы с поступлением в университет и мимоходом заметил, что одобрил бы любой ее выбор, кроме экономического факультета. Почему? Как, сам же говорил, что в условиях БАМа агроном должен быть еще и экономистом?

— Смотря каким...

И поясняет: весь пиломатериал, бетонные плиты, а также всевозможные трубы и прочие железки для строительства и обустройства достались опорному пункту практически даром, как бросовые. Но задайся сейчас Оксененко целью продать свое хозяйство, одни только сооружения были бы оценены в кругленькую сумму. Почему же на стройке века — БАМе для кого-то бросовое в руках других превращается в дорогостоящее? Экономике, похоже, совершенно не интересуют этот лежащий на поверхности феномен. Зато экономисты и хозяйственники могут бесконечно дебатировать вопрос, заслуживают ли нет люди, работающие в агроцехе магистрали, получать те же коэффициенты и надбавки, какие получают работники других цехов.

Или, помню, Борис рубил дрова на баню и что-то под нос себе недовольно ворчал. А чурбаки, надо сказать, вы таких и не видели никогда. В обхват-полтора, на полметра и более от земли, без сучка без задоринки, ровненькие, с пением разлетаются под колуном.

— Чем недоволен? — спрашиваю по наивности.

— Скрипки и фортепьяно из такого дерева создавать, а мы из него дым с паром делаем.

— Так пойдй в лес, нашла себе других.

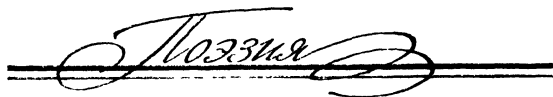
— Ну да, и буду пойман как браковьер?! Нет, я как всякий законопослушный гражданин покупаю дрова в лесхозе. А там других не водится.

Вот так, думал я потом, нахлестывая себя ароматным веничком, сто лет природа в муках растила роскошную сосну, пришел освоитель-заготовитель — трах-бабах и за пять минут «дым с паром». Интересная вещь получается. Люди приплыли — им что? Не при них росло, без них пни догниют. У них интересы абстрактные: у кого кубометры, у кого декалитры. Немногочисленные старожилы с молоком матери впитали право пользоваться всем, что дает окружающая природа безвозмездно и по своему усмотрению. Действительно, во времена патриархальные, то есть до прихода сюда магистрали и леспромхозов, местные деревеньки и поселки брали лесу, дичи, рыбы, грибов, ягод столько, сколько велика нужда и потребность. Брать больше — а какой смысл? Вот им и испо-

пятны пышешние порядки, когда всяк бьет, портит и гасит как душа пожелает, несмотря на целый часток запретов и благих постановлений. Настоящий, соблюдаемый неизменно запрет может быть только в душе подлинного хозяина здешних мест, старожилы или же твердо решившего стать таковым. Есть сегодня такие люди на БАМе, и семья Оксенок — убедительное тому подтверждение. Они трудятся на земле, вкладывая в нее все свои силы, умения, знания, интересы. Они жнут только там, где сеяли, сообразуя свои действия с законами природы, с ее животворными интересами. Они сознательно стараются вписать в ее круговорот все многообразие своей деятельности. Поначалу я все удивлялся, откуда у Бориса и Веры это поразительное доверие собственным силам, полное отсутствие суетности, панического страха, что молодость проходит, а столько еще неувиденного и неиспытанного, барахла некупленного, ненадеванного, престижа недополученного. «Мы чернорабочие от науки», — говорят они без малейшего сожаления или горечи.

Есть работники, считающиеся неподхожими, которые на дело свое бросаются, как на врага. Дивись их ловкости, самоотдаче, тому, как много и хорошо они успевают. Вот только не верится, что все это приносит им радость, составляет смысл жизни. У Оксенок нет натиска, ярости, все делается как бы само собой и своим чередом, как смена времен года. А посмотришь, что соорудили, оторопь берет: неужели все они? Наверное, потому, что «яростному» работнику надо периодически отдыхать от своих перенапряжений, впадать в благостность и созерцательность, пожинать причитающиеся лавры. Тем же, кто вот так, по-семейному, впрягся, расслабляться особенно некогда да и не нужно. Ведь это их жизнь, как в самой-рассамой традиционной крестьянской семье, с той только разницей, что надел кормит не только их, но и науку, а значит, в перспективе весь БАМ.

На Всесоюзной научной конференции по развитию производительных сил Сибири академик А. А. Трофимук сказал, что освоение районов, прилегающих к БАМу, представляется ему своего рода цепочкой «научных хуторов, как бы навязанных на магистраль». Не знаю, подсказало ли эту мысль хозяйство Оксенок на берегу Киренги. Но если судить по нему, то нельзя не согласиться — «магистральные хутора» действительно способны на многое.



ТАИР ТАИСОГЛЫ



Когда цвела пора дружбы

Друга давнишнего встретил вчера,
старого друга.
Помню, цвела нашей дружбы пора
в улочке той, где девчонка жила,
свет излучая.
И таяла мгла.
Люди той улочки были добры
и не знали испуга.
Помню деньки той прекрасной поры:
волен я был, ничего не имел,
голову только.
Лишь потому я добра не сумел
сделать тем людям нисколько.
Много воды утекло. И с тех пор
наши деревья пошли под топор.
Мерз под деревьями я в холода.
Помню, как ночью осенней тогда
ветви-рога к небу вскинула мгла,
звезды качая,
в улочке той, где девчонка жила,
свет излучая.

Опоздавшая весна

Смотрю я на горы, и сердцу вольней.
Иду по дороге, что снежно-бела.
Дорогу мне выберут — тут же по ней
пойду как ребенок, не знающий зла.
Долины окутаны синим дымком,
как будто в округе и снег, и зима.
Эй, ветры! На помощь! В тумане таком
пусть будет над нами ветров кутерьма.
В начале весны мне туман ни к чему.
Пусть помнят о сроках мороз и жара.
Ну, что за туман это, я не пойму,
когда лепестки он тревожит с утра!
Вода задышала, и пар земляной
поднялся — весна наступила, весна!
Я ждал каждый день... Не считаясь со мной,
весна опоздала, легка и вольна.

Перевел с азербайджанского
И. ТАРАСЕВИЧ



КСЕНИЯ
АВДЕЕВА

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?..

Двадцать с лишним лет назад в столице появился первый в стране опытный школьный завод «Чайка». За эти годы эксперимент доказал свою жизнеспособность. Но пока так и остался экспериментом...



первых числах июля позвонила знакомая и попросила пристроить куда-нибудь на месяц Костю. От лагеря он сумел отвертеться, от дачи отказался наотрез.

«И теперь они с приятелем — тоже хорош гусь — с утра до вечера валяются во дворе на лавочке, наслаждаясь мелодиями из портативного магнитофончика с наушниками, прозванного подростками за автономность удовольствия «эгоистом»... Да, представь себе, просто валяются. Сбегают домой, схватят пару бутербродов и снова на лавку. А вечером приклеиваются к телевизору. И это каникулы, это отдых?! Да и не так же устали они в шестнадцать лет, чтобы ни на пляж, ни в кино не хотеть... Найдите ему, Христа ради, дело какое-нибудь нормальное, а то он к началу занятий двигаться разучится!»

Феномен подростков, убивающих в подобном полужающем «лавочном» состоянии самое дорогое, чем располагает человечество, — время, был мне знаком. Шагая как-то дворами от метро «Каховская» напрямик, я застыла перед живописной группой. Четверо вполне симпатичных брезентово-джинсовых мальчиков, расположившись в милом скверике на детской площадке, ожесточенно щелкали друг друга по лбу. И увлечены были этим немудрящим занятием чрезвычайно. Позабыв золотое правило: «Сам живи и другим не мешай», — я прервала их вопросом: «Ребята, и вам не надоело?»

Ничуть не смущаясь, что свойственно нашим лишенным предрассудков детям, они поинтересовались, а чем же им, собственно, еще заняться и могли ли я предложить что-нибудь поинтереснее теперешнего времяпрепровождения.

Пуститься в дискуссию я не решилась, да и надо было торопиться. По стечению обстоятельств как раз в этот час ждал меня человек, «обеспечивающий» подростков настоящим и интересным делом, — Валентин Федорович Карманов, директор первого в нашей стране опытного школьного завода «Чайка».

По мнению специалистов, около одной трети городских школьников остаются в каникулы (летом и зимой) неохваченными ни массово-организованным, ни семейным отдыхом, а значит, в большинстве своем — изнывающими от безделья. Распланировать и насытить интересными мероприятиями 30—40-дневный отдых не под силу порой и взрослому человеку. Подростку тем более. Существуют, конечно, городские летние лагеря при школах, но явного досугово-го эффекта, особенно для старшеклассников, они не дают. И слышится во дворе многоэтажного современного дома в период летних каникул, как жильцы, обалдевшие от нескончаемого трепканья гитары и шума востройных голосов подростков, взывают: «Да займитесь вы хоть чем-нибудь!»

Но почему же «чем-нибудь»? Когда необходимых дел в том же дворе предостаточно. Не крашены домики на детской площадке, не политы клумбы, сломана скамейка. Почему мы так боимся занять наших взрослых детей настоящим делом?

А на столбах пестреют многочисленные объявления «Требуется...», и не всегда предложения эти требуют высокую квалификацию и каких-то необыкновенных знаний. Рабочие руки лужны сейчас на

заводах и фабриках, в сельском хозяйстве и в сфере обслуживания. Между тем при остром дефиците трудовых ресурсов в стране около тридцати миллионов трудоспособных подростков вообще не включены в общественное производство. Вряд ли можно назвать такое положение дел нормальным.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников и организации их общественно-полезного производительного труда» прямо говорится о необходимости «шире привлекать школьников в период летних каникул к посильной работе в народном хозяйстве на добровольных началах» и там же дальновидно предлагается Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам, Министерству финансов СССР и прочим другим заинтересованным министерствам и ведомствам определить «в шестимесячный срок порядок оплаты труда школьников в народном хозяйстве». Постановлению тому уже более полутора лет, а юному горожанину, жаждущему реально приобщиться к труду, пойти работать (хотя бы в каникулы) практически некуда. Разве что на почту или на овощную базу. Впрочем, существует в столице один-единственный школьный завод «Чайка». В течение школьной недели «Чайкой» бывают охвачены сейчас четыре тысячи двести девяносто учеников восьмых — десятых классов более чем тридцати общеобразовательных московских школ. Напомню вкратце историю вопроса, потому что несть числа социологическим исследованиям и научным статьям, справкам и отчетам, восторженным выступлениям публицистов, философов, восхищенным отзывам иностранных делегаций, посвященным деятельности этого школьного завода.

«Чайка» — основательное, рентабельное современное производство. За двадцать два года своего существования она принесла государству свыше семнадцати миллионов рублей прибыли. Здесь существует налаженное школьное самоуправление и хозрасчет. Подростки самостоятельно избирают своих бригадиров, в целом дети осваивают более двухсот технологических операций. Можно выбрать, куда пойти — в типографию или ученические цехи: электрических, радио- или швейных изделий. Овладевать начальными профессиональными павыками любой двенадцати — четырнадцатилетний паренек может практически в течение недели. Может быть, именно поэтому с таким удовольствием трудятся здесь восьмиклассники. Одна из особенностей «Чайки», за которую директор ее, Валентин Федорович Карманов, сознательно бился все годы существования завода и с открытым забралом сражается по сей день, — специфика соединения ручного и машинного труда. На первых порах становления «Чайки» не раз предлагали ввести там комплексную автоматизацию и механизацию. Но новатор и экспериментатор Карманов вдруг решительно воспротивился: никакой кнопочной технологии и конвейеров. Пусть осознают сначала трудную радость ручного труда, здорового физического утомления, поверят в свои руки. «На труде примитивном замыкаться не будем, по и делать из ребят таких маленьких роботов, придатки машин, не хотим...»

Был ли в этом резон? Наверное, да. Ведь «ручная неумелость» современной молодежи порою просто ошеломляет. Иному десятикласснику легче придумать непростое техническое решение, чем забить гвоздь. Практики — инженеры, техники, люди, просто умеющие работать руками, в любой области — на вес золота. Бичом становятся для нас непрофес-

сионально работающие неумехи-маляры, портные, каменщики...

Забывается старая, но отнюдь не стареющая истина — без простого не бывает сложного. И внедрение сложной техники не исключает необходимости и важности различных ручных операций. Да и чувствует ли себя полноправным «хозяином жизни» человек (даже если он академик или космонавт), не умеющий взять молоток, не знающий, как пользоваться отверткой?

На «Чайке» выполнение технологических процессов требует не только «ловкости рук», но и творческой инициативы. Подростки принимают участие в совершенствовании технологического процесса, некоторые их разработки внедряются в производство.

Я спрашивала у многих ребят, работавших в летние каникулы на «Чайке», одобряют ли родители их трудовую жизнь? Конечно. Никто слова не сказал против. И не потому, что часть денег отдадут сыновья в семейный «кошты». Взрослым по душе, что ребята при серьезном деле, в коллективе, что рядом с ними добрые и честные люди.

Одна любопытная деталь: среди мастеров производственного обучения на «Чайке» не меньше десятка людей, проходивших когда-то здесь практику, окончивших вузы и вернувшихся на родной завод уже в новом качестве — «насовсем». Да, плохому здесь никто не научит. К тому же рядом — товарищи. Та самая незаменимая группа «мы», без которой в любом возрасте неуютно, а подросткам нельзя вообще.

...Сидим на «Чайке» в кабинете у Валентина Федоровича Карманова. Утренний солнечный зайчик скачет по блестящей поверхности стола. Потом, словно заслушавшись, останавливается под рукой директора.

Говорить о Карманове можно много. Не случайно работающие с ним люди, те, которые начинали это непростое дело более двадцати лет назад, и те, которые «заболели» им совсем недавно, свои рассказы об экспериментальном школьном заводе начинают с директора. Сходятся они и на том, что директор — личность исключительная, вровень с самыми нашими выдающимися педагогами. И на том, что «шапка Мономаха» чересчур тяжела и в тех условиях, при которых работает (а точнее, преодолевает их) Карманов, никого надолго не хватит.

Чем бы вам ни довелось заниматься в жизни, однажды вы должны будете выбирать: плыть ли по течению или бороться с ним. Валентин Федорович, безусловно, относится к отважной категории пловцов против течения.

Одно из бесспорных достоинств Карманова, краеугольный камень его жизненной позиции — доказывать свою правоту делами. Бросая вызов устоявшимся и в силу этого весьма удобным «педагогическим постулатам», словно врезаюсь быстроходной ракетой в сонный, украшенный лягушками да кувшинками пруд, директор отдает себя только суду времени.

Наблюдая Карманова в общении с ребятами, мастерами, преподавателями, не устаешь удивляться этой его всегдашней ровности и спокойствию. Тому, как просто и ясно говорит он о вещах, за которые бьются на «Чайке» уже многие годы.

Проводимый на «Чайке» эксперимент вряд ли может называться экспериментом в прямом смысле этого слова. Он лишь последовательно и творчески развивает традиции лучших отечественных педагогов. Не случайно стоял у истоков «Чайки» вместе с другими подвижниками Георгий Васильевич Гасилов, человек яркой и сложной судьбы, работавший в Наркомпросе, близко знавший

Крупскую, Бубнова, Макаренко развивавший и внедривший в жизнь концепции педагогического мастерства разработанные ими.

«Чайка» — прямая наследница макаренковской коммуны имени Дзержинского. Того поистине удивительного социально-педагогического эксперимента, который вызвала к жизни молодая пролетарская республика несколько десятилетий тому назад. Ребята сами построили завод, сами научились выпускать первый в стране ленточный фотоаппарат ФЭД, изготавливая триста сложнейших его деталей с предельной точностью. Четыре часа ежедневно работали они на своем заводе, руководили им, учились. Успевали получить несколько нужных для жизни профессий. Отказавшись от госдотаций, коммуна была на хозяйском расчете, и все издержки на содержание школы, завода и воспитанников покрывала самостоятельно, ежегодно давая пять миллионов рублей прибыли государству. А ФЭД был на уровне мировых стандартов. И зарубежные эксперты хватились за голову, узнавая, что это «детиче» несовершеннолетних подростков, бывших беспризорников и сирот. Не греша против истины, добавим, что у этого эксперимента тоже были противники. В те годы родилась известная макаренковская фраза: «хозрасчет — замечательный педагог». Но разве не готовы подписаться сейчас под ней Карманов и весь его коллектив! Разве не стоят они за самокупаемость и не готовы пойти дальше — от школы-коммуны и завода-коммуны к школе-предприятию, ребячьей трудовой республике, где трудовой и воспитательный процесс будут слиты воедино в течение всего учебного года, а не дня в неделю или одного месяца практики в год для девятиклассников. А многому ли серьезно, а не «новарошк» или просто формально, для отбывания часов, научишь за этот один день даже при наличии доброй воли и заинтересованности подростка и «семи пядей во лбу» мастера? Ощутит ли мальчишка школьный завод своим, если связывают их лишь несколько часов совместной деятельности, или будет приходящим работником, так же как на овощной базе или учебно-производственном комбинате?

Вспомним, что Антон Семенович Макаренко считал, что лишь участие в трудовом коллективе «позволяет человеку выработать нравственное отношение к другим людям, родственную любовь и дружбу ко всякому трудящемуся и осуждение по отношению к лентяям».

Необходимость производственного обучения, трудового воспитания, включения еще с начальной школы в «общественно полезный труд» — то есть равную и подлинную социализацию — предусматривает и новая школьная реформа. Так чего же проще? Надо создать на базе «Чайки» единое полнокровное учреждение — школу-хозяйство, затем оперативно и целенаправленно распространить этот опыт в других промышленных городах. Карманов уже не первый год предлагает отдать ему под такую вот трудовую ребячью республику один из самых запущенных московских интернатов. Такой, кстати, не за горами. А ...за забором, в пяти минутах ходьбы от «Чайки».

Конечно, любой завод, взрослый ли, школьный — это прежде всего экономик. Нерентабельное предприятие становится явлением аморальным, антигосударственным. Но ведь «Чайка» рентабельна. За все двадцать два года ни сбоя, ни срыва у нее не было ни разу. Ее первосортная, пользующаяся неизменным спросом продукция поставляется в пятнадцать

союзных республик. «Чайка» награждена дипломом первой степени ВДНХ СССР.

Но, может быть, забота о плане и об увеличении производительности труда заслоняет для руководителей «Чайки» воспитательные цели? Отнюдь нет. Именно педагогику, воспитывающий, социализирующий подростка труд на «Чайке» считают главным.

Не взяв ни копейки у государства, на «Чайке» реализовали самые фантастические ребячьи мечты. Создали клубы интернациональной дружбы, множество различных секций, купили собственный теплоход...

Ну а чем измерить дающееся здесь еще совсем молодому человеку право на самоуважение и уважение за свой труд, возможность еще подростком узнать цену заработанному рублю?

Пытаюсь выяснить у Валентина Федоровича, какие основные претензии предъявляют «оппоненты» к деятельности его школьного завода. Вычленил их как «рано» и «трудно».

«Рано» — включаться детям в производительный труд, да еще на заводе, да еще рядом со взрослыми, получая при этом за свой труд деньги.

«Трудно» — трудиться. И тут уж не помогают никакие ссылки на авторитет известных физиологов и психологов, считающих, что труд нашим крепким, упитанным, спортивным акселератам не просто нужен — необходим. Кстати, и возможности подростков в овладении многими специальностями и профессиональными навыками больше, чем у взрослых. К примеру, водить грузовик шестнадцатилетние мальчишки учатся в семь раз быстрее, чем их отцы.

К ссылкам на авторитетные источники мы привыкли, прямо скажем, к ним равнодушны. А тут уж авторитет бесспорен. Вспомним, что еще в 1866 году в «Инструкции делегатам Временного Центрального совета по отдельным вопросам» Карл Маркс писал: «При разумном общественном строе каждый ребенок с 9-летнего возраста должен стать производительным работником, так же, как и каждый трудоспособный взрослый человек должен подчиняться общему закону природы, а именно: чтобы есть, он должен работать, и работать не только головой, но и руками».

Трудно подсчитать в скольких инстанциях, беседах, дискуссиях повторял Карманов эти слова. Показывал на примере «Чайки», как подтверждается еще одно важное утверждение Маркса о том, что «сложный и многогранный процесс воспитания никак нельзя отрывать от процесса производства».

Ломать копья, обсуждая всерьез нужен ли подросткам труд, просто смешно. Не только нужен — необходим.

Нетрудовое воспитание порождает иждивенчество, пьянство, паразитизм. Реальной возможностью направить избыточную физическую и душевную «активность» молодежи в нужное русло является труд.

Предвижу возражения: «Дети над учебниками до часу ночи сидят! Что ж им в ночную смену работать идти?», «А сколько уроков задают?!»

Конечно, программа в школе обширная. Но как бы то ни было, а нельзя десять лет только учиться, потреблять, не трудясь, не сталкиваясь с реальными жизненными проблемами. Задуматься о том, что, культивируя одну лишь умственную деятельность, мы обрекаем молодежь на одностороннее развитие, затрудняем возможности формирования гармоничской личности.

«Привычка к работе — дело нравственной гигиены», — писал более ста лет назад Александр Герцен



своему сыну, готовя будущего мужчину к жизни, полной борьбы и тревог.

Некоторых взрослых пугает и то, что на «Чайке» все слишком «всерьез». Здесь ребята включаются в производство реальной, нужной продукции, а не работают на «корзину», не играют в работу, как зачастую в УПК. План и прочие экономические атрибуты школьного производства выступают как воспитующие, социализирующие факторы.

Задумаемся: какова же основная цель профобучения вообще? Дать профессию или приобщить к труду? Поверхностно познакомить подростка с каким-то определенным делом или включить в систему производственных отношений?

Одна из основных претензий, предъявляемых к «Чайке» органами народного просвещения, достаточно четко была сформулирована в выступлении на страницах «Советской России» первого заместителя начальника Главного управления народного образования Мосгорисполкома Л. П. Шило. Отнюдь не зачеркивая положительный опыт школьного завода, Леонид Петрович отмечал, что на определенном этапе «Чайка» свое дело сделала.

В качестве недостатка школьного завода выдвигались узость его специализации и тот факт, что да-

же получившие разряд и специальность ребята не смогут их широко использовать, так как производство микродвигателей ограничено двумя-тремя предприятиями столицы. Ну, а на успешно развивающихся учебно-производственных комбинатах, к примеру, только Красногвардейского района, подростки могли выбирать из семнадцати, а не из шести, как на «Чайке», профессий широкого профиля. Преимущества подобного выбора вроде бы и комментировать излишне. Все предельно ясно. А на деле...

Вот как парируют на «Чайке» подобные доводы. «На свете существует свыше сорока тысяч различных специальностей. Надо ли говорить, как трудно выбрать из них свою собственную, единственную. Тем более восьмикласснику. Именно ПТУ, а не «Чайка» должны помочь ему в этом. Для того-то и существуют дни открытых дверей, профориентации, «закрепление» отдельных ПТУ за школами, предприятиями, опрос учащихся перед направлением их на практику в УПК. Хотя, как показывает жизнь, опрос этот зачастую бывает очень формальным. И того, что хочется ребятам, УПК предложить не могут. Ну, а если даже могут, где уверенность в том, что сейчас страстно жаждущий стать токарем мальчишка через год не захочет овладеть профессией монтажника или фрезеровщика. Нет, «Чайка» не столько ставит целью дать подростку профессию на всю жизнь, сколько воспитать его трудом, сделать такие экономические понятия, как план, соревнование, прибыль, трудовой коллективизм, реальными жизненными понятиями.

На снимке: в цехе школьного завода «Чайка».

Фото Л. Шимановича.

И если на «Чайке» школьники действительно работают, то во многих УПК порой просто отбывают положенное время. К тому же 90 процентов десятиклассников идут в высшие и средние учебные заведения, а те, кто всерьез думает о рабочих профессиях, выбирают их гораздо раньше. И после восьмого класса уже идут в ПТУ, техникумы. Для этих ребят тем паче важно как можно раньше столкнуться с производством, так что логичнее начинать производственную практику класса с шестого, с седьмого. Об этом сказано и в документах школьной реформы.

Возникли «ножницы» между фактическим «трудом» и «вузо» устройством школьников после десятилетки и тем, как это устройство трактуется органами народного просвещения. Действительно, многие ли из получивших в УПК разнообразные профессии выпускников применяют их в дальнейшей жизни? «Почти 40 процентов», — ответят работники народного просвещения. «Едва ли 10 процентов», — скажут социологи.

Из чего же складывается столь приблизительная статистика? Из возможности выдавать желаемое за действительное. Например, поступил выпускник, проходивший практику в продовольственном магазине, в Плехановский. В рон о считают: по профилю практики. А тот в Плехановский пошел бы даже, если б медресой на практике был. Об этом мечтал, для того и в школе хорошо учился!

Так получаются в сумме загадочные «40 процентов».

Порой бывает, что по профилю УПК вообще не устраивается в дальнейшем никто. Так, к примеру, сложилась судьба одноклассников моего сына, только что шагнувших за школьный порог. Из тридцати одного выпускника никто не пошел работать на завод. Многие поступили в вузы, техникумы, училища. Одна влюбленная в искусство девочка устроилась уборщицей в театр. А ведь в УПК получили они профессии электромонтажника, слесаря, фрезеровщика, делопроизводителя, продавца, швей-мотористки...

Всего один класс, капля в море. Но ведь и здесь два года играли ребята в труд. Затрачивались немалые государственные деньги, тратились силы мастеров, тридцать человек исправно делали вид, что занимаются делом... Любопытно, правда, что за время практики ребята не заработали ни рубля. Ни рубля не было перечислено и школе. Так что же они все-таки делали за этот месяц практики — обязательный, узаконенный, «отстегнутый» у каникул?

Ну, а как обстоит дело у сегодняшних десятиклассников? Как сами ребята относятся к проблеме профобучения? Для того, чтобы провести безобидный эксперимент, а заодно посмотреть, как вечерами «трудятся» наши «дети», мы с «подругой»-десятиклассницей отправились в... дискотеку.

Билеты достали чудом. Дискотека обычная, микрорайонная. Но рядом — четыре школы, два ПТУ, и попасть в нее простому смертному практически невозможно. Помещение маленькое, желающих масса да и... «Билеты распространяются неправильно», — объясняет Ольга. — Раздают обычно в школах и на предприятиях, как поощрение самым лучшим. Ну, активисты, отличники, дискотеку в упор не видят. Они либо спортсмены, либо зубрилки, им наши «танцы до упаду» сто лет снились».

Ольге шестнадцать. Родители-геологи почти все время в разъездах. Живет с бабушкой, которая «бдит» и во всем придерживается старых правил. Так что, по Олиному выражению, почти дожда ее до ручки. Ольга очень независима, не глупа, не ленива,

дерзка и крайне самостоятельна. Мечтает об инязе. У нее масса знакомых, блестящие брюки-бананы, короткая стрижка, серьга в ухе и вполне реалистичский взгляд на вещи. Ольга верна своим, команде, знает цену деньгам и умеет достать «дефицит». Карманных денег ей, естественно, никогда не хватает.

«Так надоело унижаться, представить не можете! Я бы парадное пошла мыть, если бы в школе не давали столько. Перед знакомыми уж неловко, родители-то не нищие. Сколько раз просила мать: оставь деньги мне. Так все — бабушке. А та выдает равномерно. А если торжество, или сабантуй какой-нибудь, или принесли что-нибудь и надо хватать, а то потом «не обломится»?»

Оля аж дрожит от негодования. Мы знакомы уже несколько лет, и она меня «опекает», являясь домашним специалистом по «ультрасовременным молодежным проблемам».

Рассказываю ей о «Чайке», о том, как ребята сами управляют и руководят своим школьным производством без мелочной опеки и «взрослого» деспотизма, который так не приемлют подростки... Узнав о возможности легально зарабатывать деньги, находясь в кругу своих сверстников, Оля приходит в восторг: «Что же вы мне раньше не сказали! Это же мои последние каникулы! Я работы не боюсь! А деньги всегда позарез нужны. А не школьникам можно? Правда, далековата ваша «Чайка». «Каховская» — это ж другой конец Москвы! А почему бы поближе еще такой заводик не построить?»

Ах, сколько людей волнует вопрос: почему бы не построить побольше таких заводиков!..

Сегодня на дискотеке Оля познакомит меня со своей «командой», и я смогу потолковать с ребятами по душам.

Дискотека вспыхивает легко и радостно, как костер, и горит, увлекая неясным мерцанием цветомузыка. Можно окунуться в музыку, слиться с нею. Уйти далеко-далеко.

Видимо, не только за работой время течет незаметно. Вот уже и начало одиннадцатого. Оля подводит ко мне «команду». Трех приятелей и подругу. Знакомимся. Выходим из мерцающей музыки в «предбанник». Ребята симпатичные, вполне контактные.

«Ребята, вы не устали?» Смеются. «От чего? Четыре часа потряслись в свое удовольствие, да это ж смешно!»

«Мы в поход ходили двухдневный, тридцать кмэ отмахали, и хоть бы хны».

«Даже из дам никто не пикнул!»

Разговариваем об их увлечениях, о карманных деньгах. Выдаются ребятам деньги по-разному, но всем их активно не хватает. На ходу провожу небольшое анкетирование. Итак: Андрею родители покупают «единый» и дают десятку на месяц.

Юре — на все про все — пятнадцать рэ.

Владу — двадцать рублей и проездной на метро.

Наде — тридцатку, но предусматривается, что она сама покупает косметику.

Никто из ребят никогда не работал и не заработал в жизни ни одного рубля. А хотели бы?

— Конечно!

— Если б смогли!

— А вот в том, что смогли — я сильно сомневаюсь!

— Лично я абсолютно ничего-ничегошеньки делать не умею. Растворимый кофе и яичница — мой предел, — кокетливо-радостно сообщает Наде.

— Но ведь вы только что практику в УПК прошли. Обязательную. Профессию получили. И ничего не умеете?

— Практика — это несерьезно, — авторитетно заявляет Андрей, — в нашей школе одна хорошая мужская профессия была — автослесарь. Так всего девять мест на двадцать два человека. Такая драчка была! Да и те, кто прорвались, потом особо не радовались. Работа тяжелая, все оруд, погоняют: «Пойди, принеси, подай!» А если что не так, могли сгоряча и послать подальше. Ничему особенно тут не научишься. Но все равно, это дело на будущее любому сгодится.

— Ну а те, кто не попал в автослесари?

— Те, то есть мы, исправно ходили на какой-то завод. Что-то там припаивали, собирали. Толком не знаем. Мастер у нас был хороший, вежливый, — поясняет Юра.

— Я тоже туда ходила. А некоторым девочкам у нас повезло. Выучились на машинистку. Кусок хлеба на всю жизнь! Машинистки, вои, на любом столбе требуются. И дома и для семьи хорошо. Раньше жены на пианино играли, а теперь на машинке. А для чего я, несчастная, на этот завод таскалась. У них одна забота — чтобы мы чего не испортили. Продукция-то в магазин идет. А мы ничего не умеем. Я лично — ничего-о-о-о-шеньки, — садится на своего «любимого конька» Надя.

— А хотели бы научиться?

— Конечно.

— Ну это смотря чему и за что.

— А то — ни копейки. А чего-то там все-таки прикручивали.

— Наши ребята тем летом ездили в колхоз, в лагерь труда и отдыха. Повкалывали, конечно, но фруктов и овощей — заешься. И по двадцатке слушали. А тут...

— А не обидно, ребята, никто ничему не научился? Ведь не обязательно всем в рабочие идти, а просто так, для жизни, для себя, для самоутверждения?

— Обидно, в общем-то.

— Чего расстраиваться-то? Не первые, не последние, научимся когда-нибудь потом.

— А хотели бы прийти в каникулы летом на школьный завод, спокойно за неделю научиться работать по-настоящему и заработать за месяц рублей семьдесят?

— Да!

— А что, можно?

— Дайте, пожалуйста, адресок!

Адресок я не дала, зная, что у Карманова и так от желающих отбоя нет. Старающихся поработать здесь летом или проходить практику становится год от года больше. Скоро придется устраивать детей «в рабочие» по большому благу. Или проводить на «Чайке» творческий конкурс, как в ГИТИСе. Но ведь «Чайка» не резиновая. Правда, Карманов подчитал, что при наличии нового помещения можно было бы перевооружить производство, наладить выпуск новых изделий. В старом же доме работать стало невозможно. И загрузить школьный завод раза в два больше, то есть принимать летом около восьми тысяч подростков.

Многие эконоимисты и педагоги считают, что создание в столице нескольких подобных «Чайке» заводов могло бы сдвинуть дело с мертвой точки. Да и не только педагоги!

Не случайно этой весной приехали на завод сразу все министры местной промышленности союзных республик. И в течение нескольких часов серьезнейшим образом знакомились с организацией этого необычного производства.

Не случайно зимой 1984 года с трибуны Всесоюзной научно-практической конференции секретарь Московского городского комитета партии Альберт Михайлович Роганов сказал: «Интересна практика работы школьного завода «Чайка», где ребята занимались один раз в неделю производственным трудом, объединены в бригады, ведут трудовое соревнование, работают по производственному плану, участвуют в рационализации, получают рабочую профессию, хорошие трудовые навыки и знания. Сейчас в городе прорабатывается вопрос о создании двух-трех подобного типа заводов».

Взяв на вооружение и досконально изучив опыт «Чайки», наши кубинские друзья пошли дальше. Исходя из соображения, что воспитание детей при социализме должно коренным образом отличаться от буржуазного, а краеугольным камнем в нем должен быть реальный общественно полезный труд, они распространили повсюду на острове Свободы трудовые школы «Хирон». Эти последователи «Чайки» шагнули вперед и по техническому и культурному «вооружению» и по производственному потенциалу. Огромный диапазон выпускаемой «Хироном» продукции. Радиоприемники различных конструкций, вычислительные машины, спортивный инвентарь. На своем гигантском приусадебном участке площадью пятьсот гектаров кубинские школьники выращивают бананы и манго, мандарины и грейпфруты. Трудятся пятнадцать часов в неделю и чувствуют себя прекрасно. Кстати, производство сувениров почти полностью отдано на Кубе пионерам. Вернувшийся недавно из командировки коллега показывал красивые вазочки, статуэтки, пепельницы, эстампы, сделанные руками двенадцатитринадцатилетних детей. Надо ли говорить, что подобный опыт могли бы взять на вооружение и мы сами?

Высоким стимулом для юных рабочих с «Чайки» является возможность зайти в «Детский мир» и собственными глазами увидеть, как раскупают сделанные ими микроэлектродвигатели и платья для кукол. Символично, что производят ребята то, от чего еще сами «за древностью лет» отвыкнуть не успели, — игрушки.

А вот как, по свидетельству одного из ведущих советских публицистов и специалистов по «школьному вопросу», поступают порой с ребятами в УПК Севастопольского района столицы.

«...Шьют дети платья, а потом уходят домой, а платья эти начинают распарывать мастера, чтобы были заготовки для второй смены. И это всем известно. Так на собственном опыте познают дети, что такое познаний, бессмысленный труд».

В древности же бессмысленным трудом благородные эллины и римляне наказывали провинившихся людей. Позднее обычай этот был введен в тюрьмах некоторых государств. Заключение обязан был целый день возить по тюремному двору камни. Ни для чего. Ни для кого. Без всякой пользы.

Одним из существенных вопросов (о котором мы почему-то предпочитаем стыдливо умалчивать) был и остается вопрос о карманных деньгах. Положим, транспорт, завтраки, неизбежные школьные «поборы», тетради-ручки обеспечивают подросткам родители. Ну, а как быть с кино, театрами, прочими культурными радостями, всяческими хобби? Как быть с достойными, но явно дорогостоящими увлечениями? Благородный теннис, например, требует и ракетки, и сумки, и формы. А хоккей, фехтование, велосипед! Хорошо, хоть лошадей дают напрокат...

А что делать собирателям марок и монет, значков и открыток? Не говоря уже о книголюбках... Пу, а дни рождения! Бабушки и тети, брата и любимой девушки.

Кстати, в вопросе о карманных деньгах родители резко расходятся. Некоторые считают, что те не нужны даже старшеклассникам: «Да они же на всем готовы!»

Иная крайность (на мой взгляд, худшая) родительская безудержность. Социологические исследования в разных регионах страны дали картину просто обескураживающую: суммы ежемесячных родительских «пособий» десятиклассникам колеблются от семидесяти до двухсот девяноста рублей! В Прибалтике некоторые семьи называли сто двадцать рублей как стабильную дотацию своему отпрыску. Вам не хорошо? Вы хотите узнать, откуда берут они такие деньги?

А каким психологическим барьером станут эти «дотации» для будущего инженера, завклубом, библиотекаря! Кто же будет с удовольствием и полной отдачей «вкалывать» восемь часов в день за сто тридцать, если несколько лет подряд папа с мамой выдавали ему сто двадцать просто так!

За годы существования «Чайки» Карманову часто приходилось отражать доводы тех, кто сомневался, нужно ли выдавать подросткам зарплату.

«Деньги в руках детишек — какой ужас!»

«А тьма искушений, неразумное использование!»... Но педагоги на «Чайке» замечали, что к заработанному своим трудом рублю подросток относится иначе, чем к полученному от родителей. И где уверенность в том, что родительские средства потратит он с умом? По мнению Карманова, работающий школьник — трудящийся человек. Зарплата — тот реальный фактор, через который он открывает для себя цену трудовой копейки. По своему заработку он может здраво оценить свой труд, сравнить его с трудом сверстников и взрослых. Сопоставить свой вклад в бюджет семьи и поразмыслить над тем, сколько средств нужно для ее нормального существования. Это не только первые трудовые уроки, но и первые уроки экономии, культуры потребления, этики расходов. А что лучше воспитает человека, чем сознание того, что «мой труд вливается в труд моей республики»?

Мнение Карманова разделяют в УПК Ленинграда, Омска, Уфы, Волгограда, там, где школьники не играют в производственное обучение, а работают. В учебных цехах Горьковского автомобильного и Харьковского тракторного заводов, где получают ребята отличную трудовую закалку. А в день полочки гордо становятся в кассу вместе со взрослыми рабочими.

Конечно, главное — научить школьника трудиться, но и самостоятельный заработок — вещь важная. Это отраженная экономическая категория, характеризующая профессиональные навыки, добросовестное отношение к своим обязанностям.

Что же касается подросткового труда, вливающегося в труд республики, то он пока весьма незначителен. Причем дети-горожане поставлены, прямо скажем, в невыгодное положение по сравнению со своими сельскими сверстниками. Там вполне в духе реформы включают ребят в общественно полезную деятельность, создавая ученические тракторные и полеводческие бригады, закрепляя за ними делянки и фермы. Хотя юридически четкого оформления труд юных сельчан тоже не имеет.

По стране можно назвать лишь несколько десятков школьных трудовых коллективов, где существуют реальные производственные отношения, где в усло-

виях материального производства продукция включается в единый народнохозяйственный план, олучается прибыль. От формального же «половинчатого» профессионального обучения страдает сегодня и государство, и наши дети.

Время игр прошло. Надо всерьез браться за дело, совершенствуя работу учебно-производственных комбинатов, переводя ее на вполне деловую основу. Есть значительный опыт социалистических стран, есть примеры интересных начинаний в нашей стране.

Сегодня в арсенале науки много выдающихся педагогических методик, украшена она именами талантливых педагогов, психологов, социологов. Есть на что сослаться, опереться. Почему же в «школьном деле» панически боимся мы нового? Даже трижды признав необходимость и важность его на бумаге, продолжаем жить по принципу: как бы чего не вышло... Потому что имеем дело с детьми? Но не кажется ли нам, что смелость, решительность, убежденность — качества, испокон веков восплаемые народом, не менее важно воспитывать в ребенке, чем благонравие, аккуратность, послушание?

Эксперимент, а порой даже ошибка, проистекающая от творческой смелости и щедрости духа, иногда могут воспитать лучше, чем рутинная осторожность...

До сих пор «Чайка» — одна в столице. Люди, когда-то напряженно наблюдавшие за ней и не особенно радовавшиеся тому, что «эксперимент» состоялся, теперь ждут, чтобы «Чайка» опустилась ниже своего уровня. А лучше работать в созданных условиях «Чайка» просто не может.

Идет второй год реформы. Преодолевая сопротивление старого, укоренившегося в сознании, трогается лед. Созданы школьные заводы в Ленинграде, в Таганроге, в Ростове-на-Дону. Предстоит ли им повторить трудный путь «Чайки»? Удивляет, что создаются эти заводы вроде бы на пустом месте, напоминая изобретение колеса в век космических машин. Новички не спешат ехать в столицу, знакомиться со своей уникальной предшественницей, забывая добрую истину, что все новое — это хорошо забытое старое...

Но и несколько новых школьных заводов, наверное, в целом погоды не сделают и проблемы не решат. А ведь давно в больших масштабах можно было распространить и тиражировать опыт «Чайки». Это готовый опыт. Выстраданный. Отработанные методики, реальный практический итог. Выверенность сложнейшего, продиктованного временем сочетания педагогики и экономики.

...Долго готовимся мы к полету, а решившись наконец, пускаемся в путь так, словно до нас и не летал никто.



АРТЕМ
БОРОВИК

«ИЗ ГЛУБИН АДА ВЗЫВАЮ...»

Никарагуанский репортаж



Хосе Родригес (а для друзей просто — Политико), 19-летний паренек с обжигающими, густо-черными, как крепчайший кофе, глазами успел повидать на этой войне все, кроме собственной смерти:

— Нет, нет, — смеется он, — встретиться нам пока не довелось.

На войне смерть — это элемент повседневной солдатской жизни. О ней Хосе говорит часто и запросто:

— Наверное, я не в ее вкусе. Хотя надо отдать ей должное — в ребятах она разбирается.

Да, в жизни смерть знает толк: берет лучших. И никто никогда не знает, на кого она положила глаз.

Из нагрудного кармана Хосе достает смятую бумажку и протягивает мне. Это стихи. Они полны опечаток и по-настоящему хороших строк. В памяти осталась лишь одна:

«Но смерть моя пока не смеет сметь...»

Стихи были посвящены Тирне Софо, и в них Хосе рассказывал, как, лежа по ночам на прогретой за день земле и глядя в небо, он среди созвездий угадывает очертания ее лица. И пока она сверху смотрит на него, смерть бессильна.

Месяц назад Хосе был ранен и после госпиталя временно переведен на службу в Манагуа. В Министерстве обороны ему поручили сопровождать меня в поездке по Третьей военной зоне к границе с Гондурасом.

На снимке:
Хосе (на первом плане);
рядом с ним в грузовике
«Пахаро negro»
сидит маленький команданте.

Фото автора.

Хосе рад возможности проехать по местам боев, повидать товарищей. Кроме того, доверительно сообщает он, там, на севере, он надеется встретить Тирну. Она ведает походной аптекой в одном из батальонов бригады 60-41.

Хосе сидит за рулем джипа и едва заметным движением правой руки, сжимающей баранку, легко, как баскетбольный мяч, перебрасывает машину из ряда в ряд при обгоне.

— Хосе, почему тебя зовут «Политико»?

Он рассказывает, продолжая следить за дорогой.

...Диктатор Сомоса всегда и везде любил быть первым. Именно поэтому он предпочитал не посещать юбилей, коронации, свадьбы и похороны. В этих четырех случаях ему не удавалось быть героем дня.

По этой же причине он не понравился Марию Фуэнтес и Карлосу Родригеса: в одной из подпольных листовок они называли диктатора «последним подонком».

— Тоже, видать, жаждал быть первым, — усмехается Хосе.

Национальной гвардии удалось схватить авторов листовки, и в 1966 году они были брошены в тюрьму.

Мария и Карлос знали, что у них должен быть ребенок, но никому из политзаключенных об этом не говорили.

В мае Карлоса перевели в тюрьму для особо опасных преступников на юг страны. С тех пор никто никогда о нем не слышал.

Хотя Мария продолжала молчать, к лету все вокруг знали о ее тайне.

На допросах гвардейцы били ее по животу. И каждый раз, лежа потом в сырой тишине камеры и прислушиваясь почти без надежды к самой себе, она все-таки убеждалась, что жизнь внутри нее не затихла. Тогда она становилась на колени и шептала богу, в которого после всего пережитого почти не было сил верить, слова католической молитвы: «Из глубин ада зываю...»

Роды принимал врач с прозрачным облачком седых волос на голове. А когда по темным коридорам пронесся оглушительный детский крик, от которого, казалось, рухнет тюрьма, старик, приблизив лицо к маленьким капелькам пота, выдохнул:

— Деточка, это не роды. Это политический акт!

С тех пор прошло 19 лет, лик старика вытравил из памяти время, но по-прежнему своего сына Мария зовет не Хосе, а Политико.

— Еще у меня есть сестра Роса. Она учится в Москве. Поэтому когда ты полетишь обратно, захвати для нее записку от нас с матерью. Ладно?

Ладно. Мы договариваемся встретиться у отеля в понедельник утром.

Тем временем наш джип въезжает в Матагальпу, где находится штаб Третьей военной зоны. Дежурный офицер коротко рассказывает об оперативной обстановке.

...За день до отъезда на север я встретился в Манагуа с начальником Политического управления Сандинистской народной армии команданте Уго Торресом — крепко сбитым невысокого роста человеком. У него крутой загорелый лоб и очень усталые глаза. Команданте, компактно и быстро формулируя мысли, рассказывал о положении на фронтах, об отрядах народной милиции, о подрывной деятельности «контрас» и тем самым как бы и о своей личной жизни. С начала этого года противник понес очень серьезные потери, сказал Торрес, однако успокаиваться нельзя.

Здесь, в Третьей военной зоне, сомосовцы и «контрас» были тоже изрядно потрепаны, но положение

продолжает оставаться напряженным: офицер показывает большие полукружья на карте. Это скопления банд. Противник действует на значительной территории зоны. Ожидается серьезное осложнение обстановки в результате того, что часть вооружений, использованных в ходе военных маневров армий США, Гондураса и Сальвадора, будет передана бандам.

...И опять дорога. Теперь — на Хинотегу. В одном из поселков, куда мы заехали, я спросил, слышали ли местные жители об СССР, других странах социализма, где в свое время люди бились над многими из тех вопросов, которые никарагуанцы решают сегодня?

Хосе повернул на улочку, круто уходящую под гору. На пыльных тротуарах играют ребятишки, сверкая белками глаз и улыбками. Вдоль домов греются на полуденном солнце старики. Вижу дом. И надпись: улица Хорхе Димитрова. Вот и ответ на мой вопрос...

Военно-полевой госпиталь Третьей военной зоны расположился на пологом склоне горы северо-восточнее Сан-Рафаэль дель Норте. О нем тяжело писать.

У главврача лейтенанта Каңдеры Brigade воспалены от хронического недосыпания глаза. Мы сидим в его маленьком кабинете, если так можно назвать отгороженный угол деревянного барака. Комната постоянно битком набита людьми в военной форме: одни входят, другие выходят. И все курят.

Че тоже курит. Из-за спины главврача сквозь открытую настежь дверь он смотрит со старенького походного портрета в вечернее прифронтовое небо. Че тоже когда-то был врачом.

Лейтенанту 30 лет. На этой войне он потерял четырех близких друзей — военных хирургов. Друзья лейтенанта разглядывают присутствующих с фото-портретов помешенные.

Когда выпадает свободный час, лейтенант Бригадо, сидя в кабинете, на глазах у Че и своих павших друзей мастерит из подручного материала то, чего госпиталю не хватает: аппараты для фиксации поврежденных суставов и зажимы вместо дефицитного в горах гипса.

В мирное время лейтенант Бригадо уже давно был бы доктором технических или медицинских наук: в каждой палатке — по несколько его изобретений. Но на этой войне ни патентов, ни ученых степеней не дают.

...Семь вечера. Начинается вечерний обход раненых.

Из грузовика осторожно спускают на землю молодого человека и наполовину несут, наполовину ведут в отдельно стоящий барак. Посеребренными руками он обхватил живот. Одежда от груди и ниже все быстрее окрашивается в черный цвет. Для него каждый грамм — груз. Носки ног подогнуты и бессильно волокутся по земле, оставляя две параллельные бороздки. И все время он просит пить. Сзади бежит девушка с пакетом перевязочных материалов.

Хотя с момента ранения прошли сутки, в госпиталь его удалось доставить лишь сейчас: на полпути кончился бензин. Пока шофер бегал в соседнее селение, раненый подполз под днище грузовика и открыл краник радиатора. Кипяток ошпаривал рот, но он продолжал пить: жажда забивала боль.

— Этим он себе здорово навредил, — лейтенант аккуратно разжал ему руки, чтобы осмотреть ранение, — если задет кишечник, пить нельзя.

На следующий день после операции нам с Хосе разрешили поговорить с ним. Но из этого ничего не получилось: Хорхе Нонградо не успел окончательно отойти от наркоза.

Сознание вернулось к нему в последний раз лишь на час. Он рассказывал о бое, о ребятах, которые, не жизнью — патронами дорожа, отстаивали поселок в 25 километрах отсюда. Когда боеприпасы кончились и стрелять было нечем, они пошли врукопашную. Вот тогда-то он и получил пулевое ранение в живот: — Парень лет тринадцати — не больше. Я его и разглядеть-то толком не успел...

Рану он зажал платком, которым почему-то очень дорожил. Он, правда, не сказал, почему именно. Но мы догадывались.

Я видел этот треугольный кусок шелковистой материи. Главврач тоже видел. Но несмотря на то, что платок был весь в крови, Бригадо, сев рядом на койку, сказал:

— Ты не запятнал его, компа. Ты держался молодцом. Мы все знаем об этом.

За день до ранения Хорхе исполнилось 18. Отметить день рождения он собирался через неделю, когда их отделение предполагалось перевести в тыл, ближе к Хинотеге. Он два раза принимался рассказывать нам об этом.

— Ну, не беда, — говорил он, — отмечу через месяц.

Отделение, в котором воевал Хорхе, не отвели в тыл ни через неделю, ни через две: тремя днями позже его товарищей накрыло прямым попаданием мины в самодельную палатку, где ребята прятались от дождя. Палатку они смастерили из белых простыней, и вечером ее было хорошо видно. Минометчики из банды «контрас» поразили эту цель с первого же выстрела.

...Энрике Баррето был ранен 10 дней назад у реки Гусанера. Рана начала гноиться, и когда переставали действовать обезболивающие уколы, Энрике корчило на смятых простынях, испачканных сукровицей. И грудь его ходила ходуном, качая душный, пропитанный лекарствами воздух.

Энрике — крестьянин 24 лет. Он был ранен, когда собирал поутру красные сладковатые ягоды кофе. Сомосовцы спалили его дом, скот увели. Потом, правда, один из них вернулся, раскалил докрасна на углях кусок железа, подошел и деловито выжег глаза. Так, на всякий случай, в целях безопасности.

Он вспоминает, как лежал на теплой земле, сжимая в руках ружье. Но ни глаз, ни слп, ни патронов, чтобы выстрелить, уже не было.

Рассказывая об этом, Энрике вдруг улыбнулся. Едва заметно. Одними губами.

Лишь когда я увидел эту улыбку, вот тогда понял: он выкарабкается. Но память о том, что с ним и его деревней сделали 10 дней назад, будет кровоточить всю жизнь.

Палатка гудит от мух. На носилках лежит мальчик 13 лет. Огромные глаза в пол-лица. Оно в испарине. Две недели назад он был ранен осколком футаса в обе ноги выше колен.

Нет, он не сандинист. Он из банды «контрас», бросившей его там, где она напоролась на засаду.

Мальчика зовут Ниньо Перес Эрнандес. В целях безопасности Ниньо помещен в изолированную палатку и охраняется его же сверстником, только сандинистом.

Мы с Хосе садимся на землю рядом с ним. Я спрашиваю:

— Как ты оказался в банде?

— Они пришли, построили людей, сказав, что убьют тех, кто не пойдет с ними.

— Что они сделали с теми, кто все-таки не пошел?

- Убили..
- Кто возглавлял банду?
- Сабаче.
- Кто тебя обучал стрелять, когда вы были на базе в Гондурасе?
- Североамериканские инструкторы.
- Они тебе объяснили, кого надо убивать?
- Сандинистов и тех крестьян, которые поддерживают правительство.
- Зачем?
- Чтобы родина была свободной.
- От кого?
- От коммунистов.
- Что такое коммунизм?
- ...

Ниньо начинает дрожать. Главврач просит не затягивать разговор. Хосе задает последние два вопроса:

— Сколько людей ты лично убил?

— Двух.

— Что ты будешь делать, когда поправишься?

Вместо ответа Ниньо переводит взгляд туда, где должны быть ноги. Чуть ниже бедер простыня подвернута под спину. Обрывается тело.

Я вытираю испарину с его лба и поднимаюсь. Хосе поправляет сбившуюся простыню. Уже у самого выхода слышу, как он вздохнул.

Так не вздыхают дети.

...Штаб бригады 60-41 находится на краю Хинотеги в кирпичном одноэтажном здании. Кабинет начальника штаба тенiente Мануэля Каско аскетически прост. Походный диван, на который его хозяин не ложился уже две ночи подряд. Стул, стол и занавешенная оперативная карта. Стоит цилиндр от крупнокалиберного снаряда высотой сентиметров в пятьдесят. Он доверху забит окурками.

— Кофе кончился, — разводит руками тенiente, — спасаюсь сигаретами.

В кабинете колышутся сизые складки сигаретного дыма, прорезанные лучами света. Из-за этого не сразу разглядишь два автомата и несколько нагрудников из прочного брезента с шестью магазинами АКМ и двумя лимонками каждый.

— Это для вас, — тенiente махнул в сторону оружия, — наденете тут, а снимете в следующий раз тоже тут. Все ясно?

Каско вынул стакан ледяной воды, растер ладонями виски, вышел во двор, сказал:

— Ну, с богом! Вас ждут в штабе батальона. Оттуда в сопровождении усиленной охраны поедете в горы. Больше, чем на 25 метров от грузовика с солдатами не отрываться. Кроме того, попрошу не указывать в статье место расположения батальонного штаба.

...Вертявшая горная дорога зажата двумя высоченными стенами зарослей. Где-то вдалеке слышится глухая пулеметная пальба. Постепенно мотор джипа начинает все натушней реветь, а скорость безнадежно падать: двигатель, как и пассажиры, задыхается от недостатка кислорода. Одной рукой Хосе держит руль, другой стискивает автомат на коленях. Глядя на собственное отражение в хрупких широких стеклах джипа, начинаешь подсознательно тосковать по бронированным доспехам БТР.

Комбат Энрике Эспиноса своей болезненной худобой, малым ростом и детскими глазами походит больше на подростка, чем на бывшего солдата. Черный, насквозь пропыленный берет и каленая на солнце, туго натянутая красная кожа лица издали напоминают черно-красный флаг СФНО. Такое впечатление, что его позвоночник лишен самого главного — позвонков: попытка нагнуться отдается судорогой на лице. В начале февраля вместе с бойцами Эспиноса

двое суток пролежал в засаде под дождем и стылým ветром. И хотя тогда они разом уничтожили зазевавшуюся банду сомосовцев, теперь приходится расплачиваться. Но к боли комбат привык. Она существует отдельно от него: как далекая стрельба, ветер или дождь. Иногда лишь при неаккуратном движении дрогнут уголки рта.

Но чувство юмора не изменяет ему даже тогда, когда при смене погоды до черных кругов перед глазами одолевает ломота в спине. И хотя своим бойцам Эспиноса не дает и минуты покоя даже во время отдыха — заставляет чистить оружие или по-пластунски ползти под натянутой в 30 сантиметрах от земли колючей проволокой — они его любят, называя «маленьким команданте». Он знает об этом шутивым прозвище и в ответ говорит, поучительно подняв указательный палец:

— Рост человека определяется не расстоянием от земли до макушки. Рост человека определяется расстоянием от головы до неба.

В блиндаже «маленького команданте» — походная раскладушка, радию, несколько запасных батарей к ней и походный попугай — пестрый, непоседливый.

Эспиноса зовет его Василанте (Колеблющийся): дело в том, что птица принадлежала банде «коптрас». И хотя сандинисты в часы отдыха дружно работают над обогащением лексикона Василанте, у попугая зачастую проскакивают словечки из его подлого прошлого.

Двадцать бойцов садятся в кузов грузовика, не раз служившего мишенью для сомосовских минометчиков. Крыша кабины оторвана напрочь; и, садясь на сиденье, чувствуешь себя неудобно. У грузовика тоже есть кличка — «Пахаро негро». Он назван так по прозвищу американского сверхзвукового самолета SR-71 «Блэк берд» («Черная птица»), потому, видимо, что более 40 километров в час при всем желании у него не вымолить. Зато рев двигателя вполне сравним с громом под сотню децибел, издаваемым его небесным тезкой, когда тот переходит звуковой барьер над Никарагуа.

Пока все 20 бойцов во главе с комбатом дружно уговаривают «Пахаро негро» завестись, я успеваю сбежать в медчасть за Хосе.

Походная батальонная аптека занимает небольшой сарай. В проходе стоят они двое — Тирна и Хосе. Минут десять мы сидим внутри, вдыхая запахи многочисленных лекарств, густо расставленных по полкам. Тирна говорит, что в горах успела неплохо освоить профессию врача и непременно будет им после войны.

— А я заболела какой-нибудь страшной болезнью, — серьезно замечает Хосе.

— Постучи по дереву! — Тирна закрывает ему рот ладонью.

— ...и ты меня будешь лечить день и ночь и никогда не сможешь бросить: ты же не оставишь одиокого инвалида? — Хосе валится на пол, начинает хрипеть, и лицо его искажает гримаса боли.

Тирна хохочет.

И оба они счастливы.

Любовь и ненависть здесь, в горах, неподалеку от границы с Гондурасом, уживаются рядом. Тут ты понимаешь: отними у Хосе его любовь, и смерть не покажется ему таким уж пустяком; у «маленького команданте» — юмор, и его мигом скрутит боль в пояснице. Без скудных крох радости, выпадающих здесь так же редко, как снег, во сто крат труднее сносить то, что кроется за пятью буквами, в сочетании образующими страшное слово — война.

...На карте департамента Хинотега деревня Уарас обозначена маленькой, едва заметной точкой близ границы с Гондурасом. Но не верьте карте: деревни этой нет. За пять часов до нашего приезда туда сомосовцы оставили от нее серый пепел, ветром разносимый по округе.

Когда банда вошла в Уарас, шел дождь. И хотя хижины были политы керосином, огонь долго не загорелся. Задержжка, вызванная дождем, обошлась сомосовцам дорого: бандиты были вынуждены вступить в бой с подоспевшим отрядом сандинистов. Несмотря на то, что в отряде было 80 человек, а в банде — 253, сомосовцы, потеряв с десятком убитыми, рассеялись по окрестной сельве. И дело не в том, что они трусы или не умеют воевать. Просто никарагуанец, защищающий свою родину, — это одно. А никарагуанец, сражающийся против нее, — это совсем другое.

Дождь справился с огнем, и теперь здесь пахло сырым прогорклым дымом. Рядом с почернелым остовом хижины лежала обгоревшая, по-военному тощая корова. Ее печень своронисто терзал стервятник (или, как его здесь называют, сопилотэ). Пять точно таких же разжиревших за войну птиц, мерно совершали спиралевидные круги высоко в небе, поочередно затмевая солнце и бросая на землю огромные крылатые тени. Стервятники терпеливо выжидали, когда грузовик и стоявший рядом джип покинут то, что раньше называлось деревней Уарас. Но к их неудовольствию вскоре сюда же подкатил «лендровер» с командой американского телевидения. Репортеры, привыкшие к бешеным скоростям ТВ, со своей задачей управились в пять минут, отсылав еще не убранный труп сомосовца, Хосе, «маленького команданте» и меня.

Режиссер одной рукой размазывал крем для загара по вспотевшему лицу, две трети которого ушли на массивный подбородок. Другой — до белызы в пальцах сжимал громкоговоритель и, обращаясь к солдатам Эспиносы, кричал, чтобы те вели себя «максимально натурально и не заглядывали в объектив видеокамеры».

Мне было интересно узнать, какую версию случившегося услышат завтра за ужином американские телезрители и насколько «натуральность» телесоужета будет соответствовать его правдивости. Но я не успел спросить: ТВ-команда умчалась прочь, взвив клубы подсохшей дорожной пыли.

Убитый сомосовец лежал навзничь, широко раскинув руки и глядя на покрикивающих в небе птиц. На лице застыло удивление, точно он хотел, но так и не успел задать свой последний вопрос: почему именно меня?

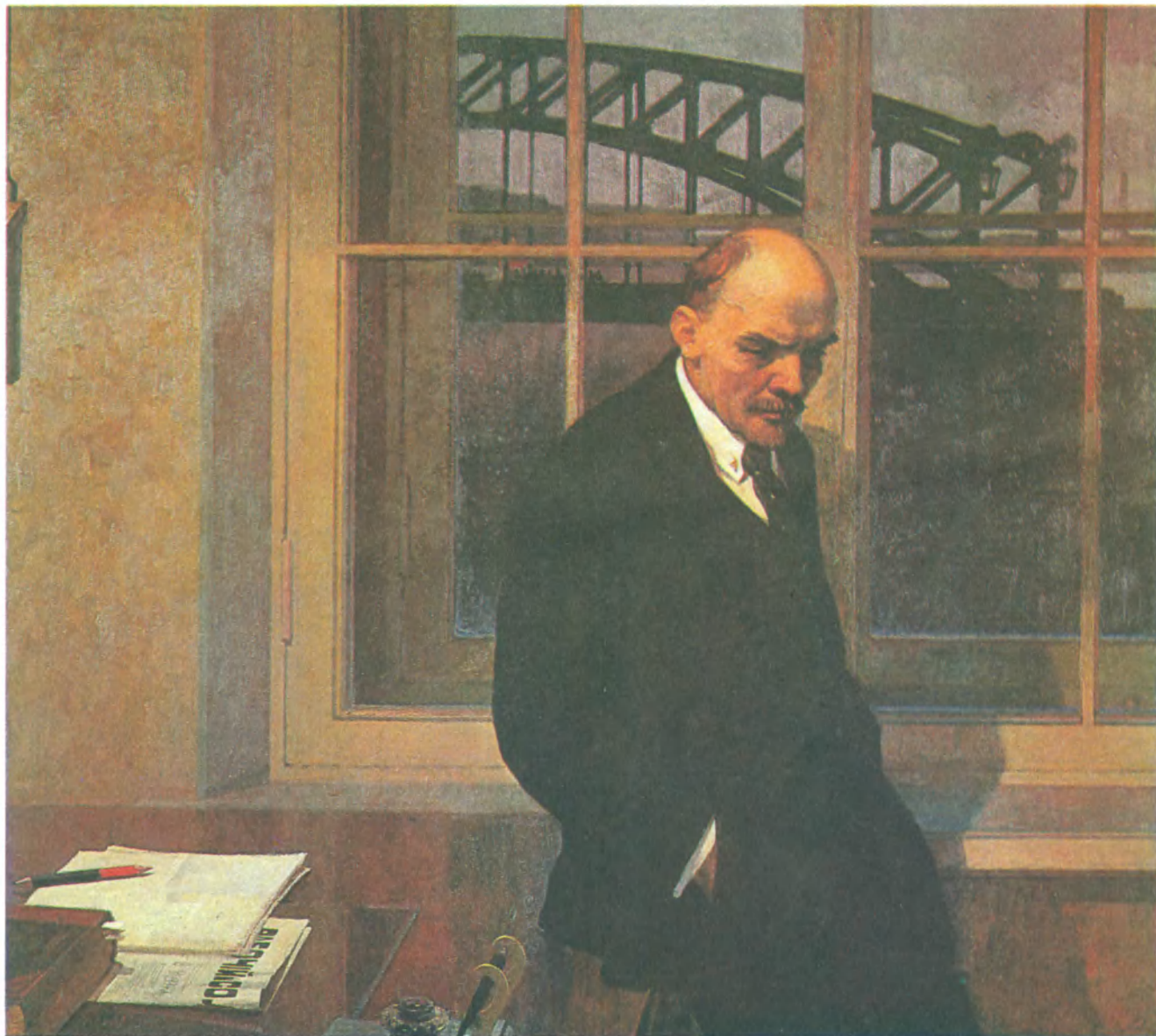
Однако спрашивать следовало тех, кто вручил ему эту винтовку ФАЛ, валявшуюся рядом, я послал сюда убивать.

В его левом нагрудном кармане лежал потрепанный мокрый молитвенник с закладкой на странице, начинавшейся уже слышанными мною словами: «Из глубин ада взываю...» В другом были два письма и фотография молодой женщины со словами, написанными на обороте жирной красной помадой: «А ми керидо» — моему любимому.

...Уже ночью мы вернулись обратно в Хинотегу. Город не спал, улицы были заполнены людьми, и все четыре гостиницы переполнены. Отчаявшись найти свободное место, мы с Хосе решили поехать в близлежащую деревеньку и снять на ночь угол.

Во всю стену дома, где Хосе и я остановились, были написаны масляной краской буквы ФАН — роспись побывавшей здесь банды.

Хозяйка, уже немолодая крестьянка, поставила на стол вареную фасоль с луком и две чашки кофе.



А. ЛЕВИТИН. Ленинград.

Рассвет.

Из произведений советских художников.



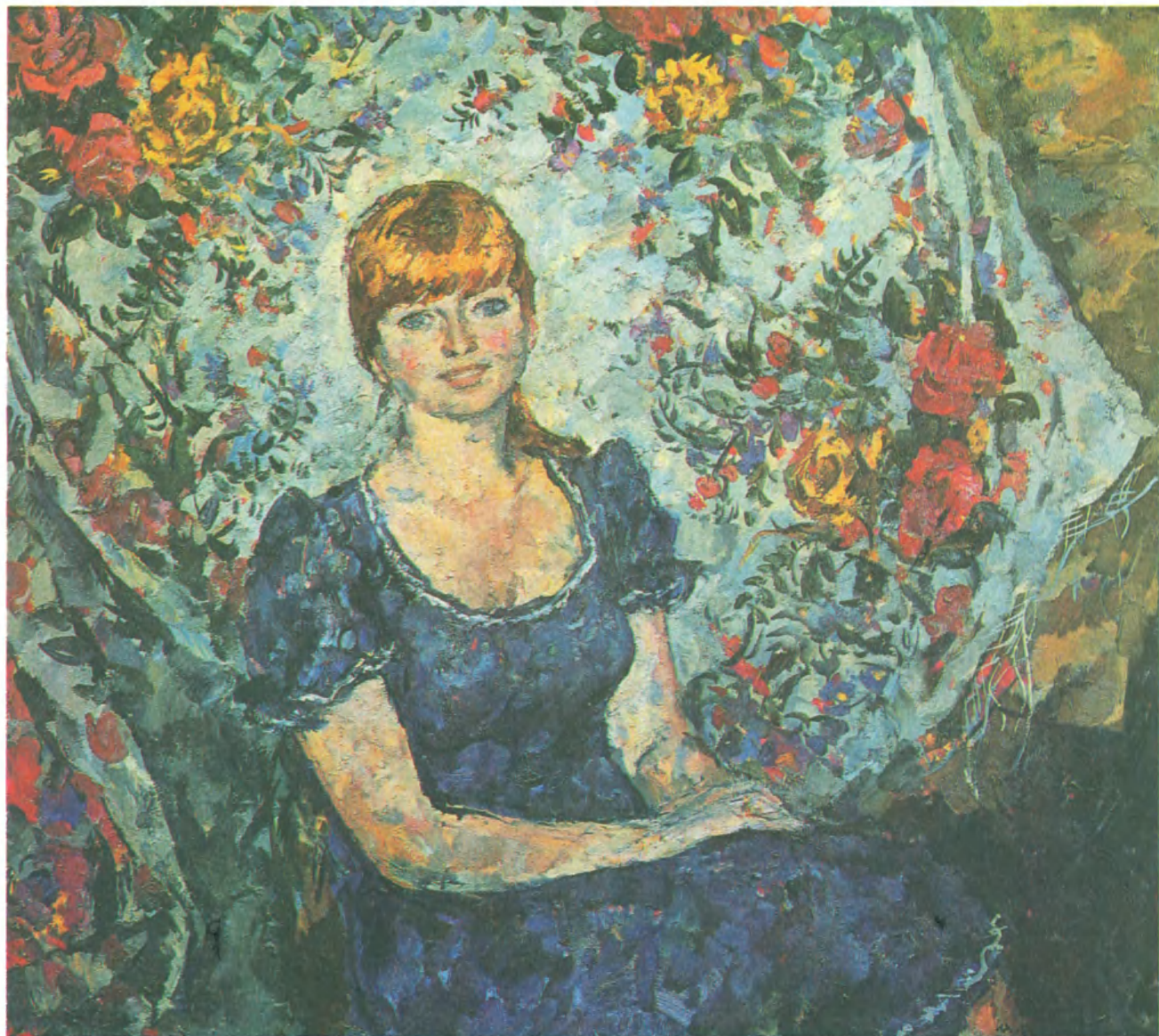
О. ЛОШАКОВ. Москва. **На Курилы.**



Е. ВОРОЖЦЕВ.
Ростов-на-Дону. **Юность.**



Н. КАСУМОВ. Баку. **Морское бурение.**



М. БИРШТЕЙН. Москва.
Портрет искусствоведа Лидии Рогажинской.

За поздним ужином она рассказывала о нынешнем урожае, о глухой пальбе по ночам, мешающей ей спать, о своей земле, про которую местные крестьяне говорят, как о беременной женщине: «Она у меня родит».

Как это часто бывает, революция рассекает пополам не только народы, но и семьи. За примерами в Никарагуа далеко ходить не надо. Их полным-полно. Но случается, что фронт проходит и через супружескую постель. Так произошло и в этом доме.

— Да,— говорит она, разливая по чашкам дымящийся кофе,— перетрусил он, когда банда пришла, ушел с нею. Я осталась, толку-то от меня в горах мало. Впрочем, они не очень-то этого хотели. А ему вдогонку кричу: побойсь бога, Хуан, как ты с грехом-то этим жить дальше будешь?! Пожалей себя, Хуан! А его и след простыл. Утром пошла в церковь, молиться за него. Ну, потом работы навалилось — вспомнить некогда. Так вот.

Женщина смахнула рукой с вьезшейся в поры землею хлебные крохи со стола, бросила их в рот: — Однажды, два месяца спустя, слышу стук ночью. Открываю — мой Хуан стоит. Пусты, говорит, переночевать меня и моих новых друзей. И такой, знаете, жалостливый вид сделал. Обычно на меня это действовало, но только не в тот раз. Взяла в руки кастрюлю с кипятком, подошла к нему вплотную так, что жар его лица чувствую, и говорю. Тихо так, едва слышно: «Отсюда, Хуан, до сельвы пять минут хода, даю тебе одну». И кастрюлькой покачиваю. Больше он не приходил.

...Поспать так и не удалось: петухи начали кричать в два ночи. Кляня их и вместе с ними тех испанцев, что завезли петухов сюда, не сказав им, во сколько положено будить людей, я сел за стол, раскрыл портативную машинку, чтобы записать этот рассказ.

В комнату заглянула босоногая девочка, наверное, внучка хозяйки, подошла вплотную ко мне и говорит:

— А я думала, вы стреляете...

За стол сел Хосе: ему тоже не спится. Врываясь через раскрытое окно, под скатерть забирается ветер. Она вздувается волнами: плывет солонка, покачивается пепельница. Мы сидим с Хосе, мигаем друг другу сигаретами. Когда он затягивается, лицо его оранжево вспыхивает. На небе месяц — как щель в счастливый, светлый мир, где не убивают, а треск портативной машинки не напоминает тамошним детям стрельбу из ФАЛА.

Рядом сидит девочка и наблюдает за тем, как поочередно мелькают в темноте наши с Хосе оранжевые лица. Ей это кажется смешным. А мне кажется странным слышать здесь, в горах, детский смех.

Хосе рассказывает о знаменитых минометных боях за Окоталь в декабре 83-го. О том, как здорово сражались ребята. О том, как однажды его спасли, посадив найти затерявшуюся походную кухню, и как он привез обед убитым бойцам. И как плакал он тогда навзрыд, а потом, ночью, писал стихотворение о солдатах, ожидавших его возвращения, но дождавших своей смерти.

Еще он говорил, как, сидя в засаде и ожидая вражескую банду, он всякий раз приучал себя к мысли о смерти и о том, что придется умереть не завтра, а сегодня, не где-нибудь, а здесь. О том, как намеренно обесценивал собственную жизнь, чтобы не страшно было умирать: не велика потеря, если убьют, не велика потеря! Ну, а смерть? Мгновенная боль — не больше. Самовнушение помогает. А вот когда опасность остается позади, трудно бывает опять поверить в себя, в то, что ты кому-то нужен...

— Тут уж на помощь приходит Тирна,— улыбается Хосе,— даже если ее нет рядом. Так что на фронте я сам себе напоминаю доллар: то жизнь моя падает, то растет в цене.

...Утром я простился с крестьянкой, а потом и с Хосе. Подбросив его в штаб бригады, я направился обратно в Манагуа.

Ехал по Пан-американе, чувствовал затылком сквозь брезентовую крышу солнце и думал: а был ли лейтенант Каско? Был ли «маленький команданте» со своим Васианте? Был ли грузовичок «Пахаро негро»? Была ли Тирна? Была ли существующая на карте, но не существующая на земле деревня Уарас? Так уж не вязался этот солнечный трансамериканский хайвей с тем, что пришлось увидеть в горах.

...Понедельник, 11.20 утра. Все стою у входа в отель, но никого нет. Самолет вылетает из Манагуа в 13.30: надо торопиться.

— Компа! Вам письмо с запиской,—останавливает меня в гостиничном холле портье.— Утром приходила пожилая женщина, просила передать. Я уж испугался: думал, вы улетели.

Письмо действительно для меня. Прикреплена записка:

«Компаньеро (фамилия моя нещадно перепутана), прошу передать это Росе Родригес». Указан телефон ее общежития в Москве. И подпись: Мария Фуэнтес (Родригес). А в самом низу — тоненькая бороздочка лепящихся друг к другу неразборчивых слов: «Хосе был убит в четверг по дороге в Аапанас, куда он поехал на следующий день после возвращения из поездки с вами».

...Так и не дозвонившись до Росы, я отвез письмо в общежитие сам, где передал его дежурной по этажу. И, честно говоря, не стал там долго задерживаться: роль вестника смерти не лучшая из тех, что отведены нам в жизни.

А на память все приходила и приходила когда-то слышанная строка:

«Но смерть моя пока не смеет сметь...»

Я шагал по Ленинскому проспекту, и мне казалось, что в общежитии я оставил не письмо, а мину — ту самую, на которой подорвался Хосе. Мина взорвется вторично, как только Роса вскроет конверт. И тогда в московском небе беззвучно разлетятся невидимые осколки.

Хинотега — Манагуа — Москва

ИВАН
ТАРБА



Без Родины

Без матери на свет не появиться,
Не утвердиться в жизни без отца,
Кто, бросив дом, пойдет по границам,
Не обретет покоя до конца.
Здесь корни крепки и земная тяга
Сливается с любовью неслепой...
А там, вдали, он — блудный, он — бродяга.
В толпе потерян, увлечен толпой.
Он словно бы исток утратил некий.
Ни жив, ни мертв, и сам себе не мил.
Свою дорогу оборвал навеки.
В отцовском доме дверь заколотил.
Пусть он богатство на чужбине нажил.
Пускай дворцы зеркальные воздвиг.
Тревожен воздух веяньем бродяжьи.
И след потерян, позабыт язык.
Родную песню невзначай услышит
И ощутит внезапно немоту,
Холодный ветер душу расколешет.
Как будто бритвой тронув на лету.
Не пить вовек из своего колодца.
Свой хлеб не ест на стороне чужой.
Ну, кто его несчастнее найдет?
Все прошлое отделено межой!
И пусть, нестарый, он красив и статен,
Но дни чужбины даром не прошли.
И на душе не счесть незримых вмятин,
Не человек он без родной земли.

Где кони!

Где кони! Куда они сгнули, кони!
Их ржанье не будит меня на заре.
Пропали они... На каком перегоне?
Когда-то я видел их в каждом дворе.
Иду. И направо смотрю и налево.
Поля и холмы оглядел на ходу.
Но кони... Куда подевались вы, где вы! —
...Напрасно я их появления жду.
Где кони!.. Услышать бы в уличном шуме.
Как ржет жеребенок, очнуться в седле!..
Положим, коня я не встречу в Сухуми,
Но что, если нет его даже в селе!

Как все это вышло!.. Умолкли копыта...
Где кони!.. В каком потерялись краю!
Неужто так просто бывшее забыто
Абхазцем, что скинул черкеску свою!
Наезднику так подобало явиться,
Чтоб доблести образ увидели в нем.
Пленял он красавицу, прянув, как птица,
Сидел на коне, словно сросся с конем.
И кто бы настиг его в буре погони! —
Он девушку обнял и с нею исчез...
Где всадники эти, где крепкие кони,
Летевшие времени наперерез!
И, если наездник покажется где-то,
Глядит удивленно досужий народ.
Смешно непривычное зрелище это
Пред жизнью, бегущей вперед и вперед.
Машины текут в бесконечной колонне.
Гремят и теснятся, идут на обгон.
А кони... Ну, где же вы, быстрые кони!..
Меня оглушили и грохот и звон.
Нет, в прошлое я не хотел бы возврата,
В тот мрак, что уходит, клубясь вдалеке...
Но все-таки кони пропали куда-то,
Держать мы отвыкли уздечку в руке.
Ну что же, на жизнь обижаться негоже,
Кого тут винить! Только времени бег...
Но кони... Куда подевались вы все же!
Иль с вами проститься должны мы навек!
Где кони!... О них вспоминаю все чаще...
Опять затвержу, но молчать не могу.
С тревогой своей и мечтой уходящей
Стою на пустынном морском берегу.

То, что ждет впереди

Лишь только жизнь,
сплетенье стольких нитей,
Не может постареть и умереть.
Что людям показать, что утаить ей,
Решит сама... Так было, будет впрямь.
Не понапрасну огород я ставил.
Не зря я двери настезь распахнул,
И что мне — отступление от правил,
Счастливый случай и судьбы посул!
Захочешь меда, так сколотишь ульи.
А даром не дождешься все равно.
Я честно жил — того я захочу ли.
Что потом не моим орошено!!
Я жить привык: не выбирая выгод,
И времени я верен моему.
Оно ведет, оно подскажет выход.
Мой каждый шаг принадлежит ему.
Само собой, река не замутится.
Явившись миру в облике другом.
На ближнего не подниму десницу,
Пока в мой двор он не войдет врагом.
Мир кровлю дома осенил, как знамя.
И собралась семья у очага.
Делю тепло с желанными гостями,
Но даже видеть не хочу врага.
Я на судьбу не жалуясь в несчастье,
Вновь солнце выйдет, переждав дожди,
И в старости не буду жизни клясть я,
И лучшее, я знаю, впереди!

Перевел с абхазского
М. СИНЕЛЬНИКОВ

МИХАИЛ АНДРЕЕВ



☆☆☆

Оседает первый снег
На паромы быстрых рек,
На кедровые вершины,
Кинофотомагазины.

Почему живем вчерашним,
Нашу душу беребящим?
Ведь о будущем поем!
Почему-то настоящим
Совершенно не живем.

А на шины и подошвы,
Где поменьше, где побольше,
На паромы быстрых рек
В настоящем, а не в прошлом
Налипает первый снег.

Я еще его увижу —
Разгляжу его поближе
Сквозь ушедшие года,
Как он к желобочку лыжи
Прилипает навсегда.

☆☆☆

Что я в жизни успел! —
Дед сосчитать велел.
Я прошел до конца
Курс молодого бойца.

Так сумел написать —
Не сотрет никакая беда,
Никакая не скроет печать
Имя твоё навсегда.

Место нашел у реки,
Где лучшие клюют чебаки.
И понял — чулымские травы
Пронзительней славы...

☆☆☆

Небеса в голубую полосу
На отливах качает река.
И давно ей уже не по росту
Эти низкие берега.

Всплески весел и рыбы случайны
И круги монотонно тихи.
Но запрятаны властные тайны
В глубине этой черной реки.

Так в душе человека издревле
Никому не дано подсмотреть,
Что за тайна мучительно дремлет
И так хочет проснуться, взлететь.

...А река на крутом заворотке,
Где колючий кустарник растет,
Крутит бешено тихие лодки
И себя невзначай выдает.

☆☆☆

Ветры сильно тучи растрепали.
И поэмка по полю ползет.
Старый волк, отбившийся от стаи,
По лесу иссохшему идет.

Страшен волк. Глаза его упруги,
Лоб туманом белым обнесен.
Но прекрасен: средь кромешной выюги —
Срока на земле не знает он...

ОХОТНИК

Ртом с ладони попробуешь снег
И проверишь патроны в двухстволке.
Ты один здесь живешь, человек.
Остальные — лишь лоси да волки.

...Ночью встанешь, собак позовешь.
Сухарей им в кастрюле размочишь.
И опять себе честно соврешь,
Что нисколько к людям не хочешь.

Воспоминание

Внутри Богашевского сада
Вся жизнь протекала, как надо.
Но как ты со мною ни билась —
У нас ничего не сложилось.

И ты от меня уезжала,
А я на перроне стоял.
Ты пальцами к стеклам припала,
Ты слева направо писала,
Но все, что ты мне ни шептала,
Я справа налево читал.

г. Томск

ВЯЧЕСЛАВ
САВАТЕЕВ



руглые и некруглые даты, вехи на пути истории нашей отечественной культуры, литературы.. Не надо ничего особенно выстраивать, отбирать — достаточно просто вспомнить некоторые из них, и они начинают «говорить» сами за себя, как бы при этом ни казалось порой случайным и даже неоправданным возникающее сопоставление, взаимосвязь.

Восьмисотлетие «Слова о полку Игореве» — дата из далекой, седой старины; здесь масштаб измеряется не годами и даже не десятиле-

ЖИВАЯ СИЛА ТРАДИЦИЙ

тиями, а столетиями. С юных лет звучат в нас строки, полные высокой поэзии, заряженные энергией патриотического чувства, словно клятва на верность — через века, в день сегодняшний. Слышите — плачет, причитает утром Ярославна в Путивле на стене: «О ветер, ветрило! Зачем, господине, так сильно веешь! Зачем мчишь вражьи стрелы на своих легких крыльях на воинов моей лады? Или мало тебе высоко под облаками вейть, лелея корабли на синем море?! Зачем, господине, мое веселье по ковылю развеял?» Энергична, упруга, весома каждая строчка в этом великом памятнике, и секрет здесь, думается, довольно прост — искренность, неподдельность чувства автора, не отделяющего себя от всего, о чем он повествует. «Быть грому великому! Идти дождю стрелами с Дону великого! Тут копыям поломаться, тут саблям постучать о шлемы половецкие, на реке на Каяле, у Дона великого. О Русская земля, а ты уже скрылась за холмом!»

«Красотой «Слова» были упоены люди безукоризненного вкуса: Жуковский, Пушкин, Белинский, Гоголь, а в XX веке — Блок, Бунин и многие советские поэты и писатели», — отмечал академик Д. Лихачев. Без «Слова» трудно представить себе «Войну и мир» Л. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохова, многие другие произведения нашей отечественной литературы, в том числе современной. Читаешь, например, «Усвятские шлемоносцы» Е. Носова, и кажется, будто вот пахнет на тебя дымок того далекого, давно развеянного временем костра курян — «дружины бывалой», которые — помните? — «под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копыя вскормлены..» Кажется, хотя, конечно, все здесь, у Е. Носова, другое — и время, и место действия, и война, конечно же, совсем, совсем другая. И все же есть какая-то непрерываемая связь времен — через столетия тянется память о том, что свято и нерушимо и для нас, сегодняшних; глубоки наши корни, тверда память о прошлом, и в этом один из источников нашей силы.

Драгоценные зерна, зароненные в «Слове», легли на благодатную почву, проросли, политые бурными дождями времени, дали богатые всходы. Прежде всего это тема патриотического служения Родине, мужества и героизма русских людей, неотрывная от темы мира, покоя, созидательного труда; обе эти темы заняли главенствующее, определяющее место во всей последующей отечественной литературе, искусстве — вплоть до наших дней. Плодотворными оказались и такие уроки «Слова», как его — как мы сейчас сказали бы — социальное, гражданское звучание, эпический характер повествования, многие другие.

Традиция — это своеобразный ген, в котором заложено прошлое, живо настоящее и в котором запрограммировано будущее. О «несходстве сходного» писал В. Шкловский. Не в меньшей мере, полагаю, можно говорить о внутреннем сходстве внешне несходного — о сходстве несходного. Наша сегодняшняя литература — это в известной мере верхняя часть «айсберга», покоящаяся на прочном фундаменте

отечественной и мировой культуры, в которой «Слово» — как граненый алмаз, золотой самородок...

Конечно, неправомерно и антиисторично было бы прямолинейно «выводить» качественно новое явление из предшествующего — даже если речь идет о таком шедевре, каким является «Слово о полку Игореве». Но никто не мешает нам посмотреть на те или иные наши литературные дела и проблемы с высоты пройденного пути. При правильном методологическом подходе, исключающем вульгаризаторство любого толка, это способствует расширению горизонта, позволяет иначе, в историческом контексте увидеть наши достижения и просчеты, лучше понять себя. Мы, например, еще и сейчас бывает, горячо спорим о том, какой должна быть правда о минувшей войне, о нашей великой Победе, сорокалетний юбилей которой мы недавно отметили. Какой здесь подход более оправдан, плодотворен — с «командного пункта» или «из солдатского окопа», что важнее показать — «массы» или личность на войне? Какой план изображения ближе всего к истине — более общий, крупный, без подробной прорисовки или второй — меньший по охвату, зато более детальный и углубленный?.. Спорим, отстаиваем свою точку зрения как единственно верную, ссылаемся на авторитеты прошлого и забываем, что истина-то не в разделяющем «или», а в объединяющем «и»... «Слово», а вместе с ним и богатый опыт отечественной и зарубежной литературы помогают нам сделать этот вывод. Вот и сегодня для более полного и объективного изображения одинаково важны и нужны и объемный, широкоформатный охват изображаемого, и углубленно-аналитический, личностный подход. Поэтому, конечно, имеют равное право на существование такие разные произведения нашей военной прозы последних лет, как «Война» И. Стаднюка и «Навеки—девятнадцатилетние» Г. Бакланова, «Блокада» А. Чаковского и «Знак беды» В. Быкова, «Софья Леонидовна» К. Симонова и «День, вытеснивший жизнь» В. Тендрякова, «Блокадная книга» Д. Гранина и А. Адамовича и «Полководец» В. Карпова.

...С живого, идущего из самых глубин земли родника начинается великая Волга; из глубин, из самых толщ истории берет свое начало наша литература; на своем пути она расширяется, углубляется, обогащается, вбирая в себя все, чем живут народ, общество, обретая все новые и новые качества.

Да, чисты и глубоко наши истоки, и мы заслуженно гордимся ими. Но время неостановимо, оно все больше набирает свой бег, и сегодня мы оглядываемся назад не для того только, чтобы полюбоваться нашим прошлым, а прежде всего для того, чтобы лучше понять настоящее, задуматься о будущем. Именно это вдохновляло, например, В. Чивилихина, который большую часть своей прекрасной книги «Память» посвятил «Слову о полку Игореве». Автора «Памяти», как уже отмечалось, отличает четкий конкретно-исторический подход к предмету исследования, самобытность взгляда, сочетающаяся с выношенностью оценок, неокончателъностью предположений. Качества — чего уж греха таить, — свойственные далеко не всем авторам исторических произведений. Некоторые из них нещадно эксплуатируют интерес к исторической теме, проявляя нетребовательность в отборе и обобщении фактов, пытаясь искусственно «актуализировать» содержание, а то и откровенно «завлекают» читателя всевозможными анекдотами и полуанекдотами, «клубничкой» и т. п. «Слово» — как постоянная укоризна, упрек для подобного рода сочинений... Осторожно: история! — такой «знак» можно было бы написать перед «входом» в прош-

лое, касается ли это времени Игорева похода, эпохи Петра I или периода русско-японской войны..

Да, «Слово» вечно, оно живет в памяти народной, в творчестве художников многих и многих поколений. И в то же время «Слово» чрезвычайно ранимо, даже беззащитно — от торопливых толкований, «новых» прочтений и сомнительных «выводов», любители которых, надо признать, все еще находятся.

Прав был академик Д. Лихачев, который неоднократно призывал оградить «Слово» от всякого рода «набегов» и наскоков. «Слово» — памятник культуры, и на него, может быть, в первую очередь распространяется закон об охране памятников истории и культуры. «Слово» нуждается в защите как от явных скептиков и «разрушителей», так и от «неистовых ревнителей» — вред от тех и других в конечном счете одинаков. Охрана прошлого — это охрана нашей культуры, традиций, которые продолжают питать нас своей «живой водой», помогают осознать свое место в историческом процессе, еще острее и глубже ощутить свое социалистическое первородство.

2.

Гражданское бодрствование — активное служение задачам своего времени, обществу, служение народу — глубинная, коренная традиция нашей отечественной литературы. Случалось, писатели — в том числе и те, что составляли сегодня нашу национальную гордость, — в какие-то минуты отступали, делали шаг в сторону, обнаруживали усталость. Но всегда рядом находился тот, кто напоминал им и всему обществу о необходимости держать выше огонь гражданского служения, потому что «устают» писатели — литература не может, не имеет права уставать. Растерялся, сбился с пути в конце своего жизненного срока Гоголь. Его «Выбранные места из переписки с друзьями» — это слабость и отчаяние художника, упрямые (конечно, бессознательно) под маску религиозного докучливого морализаторства. Усталость опасна — вот почему с такой страстью обрушился на Гоголя Белинский; его знаменитое «Письмо...» — призыв к гражданскому мужеству, бодрости впереди идущих, к их ответственности перед своим народом, временем.

«Неверный звук» порой, как мы знаем, извлекала лира Н. Некрасова. Но неутомимо звучал, будоражил, звал к борьбе герценовский «Колокол», отгоняя усталость, вселяя оптимизм, веру в светлый грядущий день. Дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах своей Родины случалось переживать И. Тургеневу. В такие дни им было написано «Довольно!» И что же? Тотчас же рядом раздался голос В. Ф. Одоевского. «Недовольно! — резко возражает он И. Тургеневу. — Недовольно!» Нельзя поддаваться унынию, надо идти не зная усталости, высоко нести светоч разума и человеческого сердца!..

А уж какие глубины отчаяния и сомнений знал Ф. Достоевский! Но все же и это были лишь минуты — дни и годы великого писателя были отданы вдохновенному, самоотверженному — с верой в лучшее будущее народа, всего человечества — творчеству. А Лев Толстой? И он, этот титан нашей и мировой литературы, — разве ему чужды были чувства неуверенности в себе, в своем предназначении, наконец, художническая и обычная человеческая усталость? Увы, не были чужды, нам это хорошо известно. Но разве главное в его творчестве не утверждение ра-

дости бытия, веры в человека, в его духовные силы? И так вся наша литература — преодолевая спуски и повороты — шла вперед без усталы, верно служа передовым общественным идеалам, предчувствуя и приближая новую эру, новый справедливыи социальный строй.

80 лет назад В. И. Ленин в статье «Партийная организация и партийная литература» определял «литературное дело» как «составную часть организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы», как «часть общепролетарского дела». Хорошо известны его провидческие слова о литературе, связанной с социалистическими идеалами, практикой созидания нового общества: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будет вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность». Именно такой стала наша советская литература с первых лет ее существования и до нашего времени.

Развиваясь в кардинально иных, чем ранее, общественных условиях, на основе нового метода социалистического реализма, принципов партийности и народности, наша литература унаследовала и творчески развивала и развивает традицию социальной активности художника, исторического оптимизма, его ответственности перед временем, перед народом. В этом залог гражданской и творческой бодрости, молодости, неустанныго движения советской литературы по пути, до нас не изведанному, художественного осмысления нового бытия, нового человека.

«Могуч и даровит наш народ, — говорил Г. Марков на юбилейном пленуме Союза писателей, посвященном 50-летию создания творческого союза, — неиссякаемы его творческие силы, непрерываема волшебная нить, идущая из глубочайших недр народных к вершинам прекрасного, к взлетам социалистического искусства и литературы». Чувство уверенности, социальной перспективы, оптимизм нашей литературы не имеют ничего общего с «розовой водичей» беспочвенных, оторванных от жизни маниловских мечтаний — они основываются на твердой и реальной почве наших знаний об исторических закономерностях, вере в наши идеалы. Да, сегодня меньше всего оснований для бравурных, облегченных мелодий, для «шапкозакидательских» настроений — слишком сложна, даже взрывоопасна обстановка в мире. Но неверно было бы поддаваться и другой крайности — скепсису, «черному» пессимизму, всякого рода прогнозам — а их на Западе предостаточно — о якобы фатальной непредотвратимости атомного Апокалипсиса. Партия учит нас необходимости борьбы за будущее, трезвого, реалистического подхода в оценке сложившейся обстановки.

Сегодня наше общество, литература получили новые, дополнительные мощные импульсы общественного развития, социально-экономического, материального и духовного ускорения. Важнейшее место при этом отводится человеческому фактору — тому, что традиционно было предметом главного внимания литературы. «...Мы действительно можем получить быструю отдачу, если приведем в действие все организационные, экономические и социальные резервы, активизируем при этом прежде всего человеческий фактор, добьемся того, чтобы каждый на своем рабочем месте трудился честно и добросовестно, результативно», — говорил М. С. Гор-

бачев, выступая на собрании актива Ленинградской партийной организации 17 мая 1985 года. Отсюда те новые, повышенные требования и задачи, которые выдвигаются перед нашей литературой на современном этапе.

Однако надо признать, что еще нередко появляются произведения, авторы которых меньше всего озабочены активизацией «человеческого фактора», поиском резервов духовных и нравственных возможностей своих героев. Похоже, что «устает» автор, устают и читатели от некоего постоянного «прищуривания», «мелкоскопизма», то есть излишнего внимания к мелким, бытовым конфликтам, серым, невыразительным персонажам. Мы устаем от вынужденного «пригибания» к героям низким — духовно, нравственно — ростом, нас, похоже, пытаются убедить, что чуть ли не главная задача литературы сегодня — копировать бесконечные любовные истории, личные, семейные неурядицы, «дачные» и тому подобные конфликты, в которых буквально «завязают» герои, расходуя всю свою жизненную энергию, все свои человеческие возможности. И что особенно странно и опасно — часто без тени осуждения подобной позиции со стороны авторов. Одним словом, все то же пресловутое «се ля ви...» Такой подход, такую практику, безусловно, развитием лучших традиций нашей отечественной литературы не назовешь.

«Все лучшее, что создано советской литературой и искусством, всегда было неотделимо от главных дел и забот партии и народа», — отметил М. С. Горбачев на апрельском (1985 г) Пленуме ЦК КПСС. — Нет сомнения в том, что новые задачи, которые решаются сегодня, найдут достойный отклик в художественном творчестве, утверждающем правду социалистической жизни». Да, в этом сегодня и заключается преемственность главных задач нашей литературы — в продолжении и развитии традиций активного, гражданского служения своему времени, тем проблемам, которые решают советский народ, партия.

3.

Есть, наверное, некий несформулированный закон подлинного искусства, закон развития культуры, самой истории — дата к дате... 1880 год — год открытия памятника великому Пушкину, но это и год известной речи Ф. Достоевского; и это тоже дата нашей литературы. Выстраданно и потому так отчетливо прозвучал голос Достоевского о «всемирности» и «всечеловечности» русского гения. В этой характеристике не надменность, не национальная заносчивость или какой-либо другой оттенок ограниченности, а личностно осознанная боль за всех, ответственность за все человечество. «Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина». Конечно, в конкретном историческом контексте, с учетом верований и иллюзий, а подчас и заблуждений великого русского писателя многое здесь нуждается в уточнении и поправках, но, думается, все же главное уточнений и исправлений не требует — это его убежденность в миролюбии русского народа, в «отзывчивости», восприимчивости ко всему лучшему, что накоплено человечеством, его культурой, литературой.

Такое понимание — однако с обязательным учетом

конкретно-исторического, классового подхода в оценке опыта прошлого — близко нам и сегодня «Мы не замкнутый народ, отгороженный от окружающих культур,— процитируем вновь академика Д. Лихачева.— Русские — мировой народ, который питается всей мировой культурой». Ранее, в «Заметках о русском», он же отмечал: «Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащая сам духовно». И еще — более образно: «Культура — это как неразменный рубль: расплачиваясь этим рублем, а он все у тебя в кармане, глядишь, денег становится больше». Такому пониманию противостоят всякого рода «теории» и рассуждения о национальной «исключительности», замкнутости культур и т. п. Какими бы побуждениями, намерениями при этом ни руководствовались, совершенно очевиден вред, а главное — неистинность подобных представлений. Лучшим ориентиром в этом вопросе было и остается учение В. И. Ленина о «двух культурах».

Животворность лучших традиций нашей культуры может быть особенно наглядно видна в тех случаях, когда так или иначе, в той или иной форме происходит сочетание, органическое слияние ее элементов с элементами культуры других народов. В этом смысле, скажем, интересный пример представляет творчество Н. Рериха, как бы соединившего в себе движение двух столь различных, но во многом и сродственных культурных потоков

«...великие традиции искусства мы должны всчески охранять и вкоренять в современную жизнь,— писал Н. Рерих в статье «Вехи культуры», размышляя о сближении и объединении народов как величайшей гуманистической задаче культуры.— Иначе откуда же придет благородство духа? Как же будет расти достоинство человечества? Откуда же снизойдет осознание широкого сотрудничества и взаимное доверие?.. Жизнь преобразается подвигами Культуры». Конечно, на Культуру (пусть даже и с большой буквы) здесь возлагается слишком большая — прямо скажем, непосильная — задача, но масштабность вдохновляет, возвышает, мобилизует. Приведенные нами строки были написаны в 1930 году и обращения к обществу имени Рериха в Берлине; и сегодня мы читаем их как заблаговременное предупреждение и призыв к немецкому народу, его деятелям культуры не дать погасить факел культуры. Это было словно предвидение, предчувствие событий, которые разразятся менее чем через десятилетие, — как будто до белых, седых вершин Гималаев, откуда писал Н. Рерих, доносился холодный ветерок фашистского мракобесия; всего через несколько лет он превратится в страшный ураган, бедствие не только для культуры, но и для многих народов, для всего мира. «Темнота допущена лишь на время сна. Но поистине не для сна человечество пытается совершенствовать себя миллионы лет». Не для сна и уж тем более не для смерти, не для кошмаров фашистского «нового порядка», концентрационных лагерей — вот что мы прочитываем теперь в словах Рериха. И еще — это уже обращение к нашему времени — не для «вечного сна», не для гибели от авантюры в духе «звездных войн» или чего-либо подобного готовило себя человечество. Да, «темнота допущена лишь на время сна», ей не место в периоды бодрствования — это время должно быть отдано свету, миру, созиданию, прогрессу. В этом и состоит сила духа, сила культуры, ее гуманистических традиций — они всегда актуальны и современны; и время лишь подчеркивает этот непреложный факт...

Сегодня вопрос о мире и войне — это более, чем когда-либо, вопрос о жизни и смерти. Поэтому нам так дороги и близки традиции, которые выражают

наше миролюбие, наше стремление решать какие бы то ни было проблемы мирным — и только мирным — путем. Антивоенной по своей сущности, по ее пафосу назвал А. Ананьев нашу «военную» литературу, прозу; и в этом нет никакого парадокса. Но то же можно сказать и о политическом романе, который в последнее время добился заметных успехов, приобрел широкого читателя — достаточно вспомнить здесь лишь имена А. Чаковского, Ю. Семенова, А. Проханова, С. Дангулова, Д. Краминова, других авторов. Антивоенная... А разве меньше оснований назвать так нашу «деревенскую», «производственную» прозу, всю нашу литературу? Ведь она о мирной жизни, о мирном труде мирных людей, вся она о мире и для мира!..

Нет, мы не пацифисты, нам есть что защищать, и мы умеем и сумеем защитить свои святыни, свой отчий дом, свои идеалы, но нам глубоко чужда воинственность, мы твердо убеждены, что люди могут и должны жить в мире, что противоположные общественные системы могут сосуществовать и сотрудничать.

4.

«Мы живем в такое время,—отмечал Г. Марков,—когда уровень художественных вкусов и потребностей у народа высок, когда от художника ожидают создания таких произведений, которые возвышали бы творцов нового общества, способствовали бы мобилизации всех духовных сил народа на успешное выполнение намечаемых партией грандиозных социально-экономических и культурных программ». Да, время требует неустанный повышения идейного и художественного потенциала нашей литературы. И в этом нам постоянно помогают завещанные нашими классиками традиции.

...Первое произведение Л. Толстого — повесть «Детство» — было напечатано у Некрасова в «Современнике». Казалось бы, что должен был испытывать двадцатичетырехлетний автор в связи со своей первой публикацией? Скорее всего, чувство радости, благодарности... Увы, Л. Толстого, как мы узнаем из неоправданного письма Некрасову, обуревают совсем иные чувства, прямо-таки противоположные — раздражение, даже возмущение. В чем дело? Поправки, изменения, внесенные редакцией журнала в его повесть, как ему кажется, безнадежно испортили ее. Каприз? Неблагодарность? Ничего подобного! Требовательность и еще раз требовательность! И прежде всего к самому себе, к тому, с чем он впервые (и это особенно важно для него) выходит к своему читателю. Этот принцип будет важнейшим для него на протяжении всей его долгой творческой жизни, проявляясь подчас в самой неожиданной форме, в самых непредусмотренных ситуациях.

Вспомним еще один эпизод — через семь лет после предыдущего, когда Л. Толстой издает «Семейное счастье». Почитайте, как он клеймит в письме В. П. Боткину (3 мая 1859 года) за эту повесть... кого же? Да никого другого — самого себя. «...Какое.. пятно, не только авторское, но человеческое — это мерзкое сочинение». Призывая Боткина быть «поверенным» в его «стыде и раскаянии», Л. Толстой восклицает: «Я теперь похоронен и как писатель, и как человек». Он умоляет сделать что-нибудь, чтобы, если еще можно, остановить печатание второй части «Семейного счастья»: «Во всем слова живого нет,— продолжает Толстой обличать самого себя.— И безобразие языка, вытекающее из безобразия мысли, невообразимое». Прежде всего обращает

внимание, конечно, сокрушительная самокритика писателя, которой можно только позавидовать, нравственный категоризм, энергия неприятия всего, что носит на себе печать «неживого», «безобразия мысли», языка, — урок, не теряющий актуальности и в наше время. Многие ли наши писатели, в том числе и современные, способны подвергнуть себя такому «самосожжению», такой нещадной чистке изнутри?.. Но не менее важный урок заключается и в другом — в том, что Л. Толстой не отделяет «авторское и человеческое», писателя от человека. Неотрывность человеческого, гражданского бытия писателя от профессионального — эта традиция в целом воспринята и продолжена нашей литературой. Однако бытуют еще отголоски не то некоей «теории», не то практики, в которых профессиональное ставится как бы над всем. Самое главное в литературе, напоминают нам время от времени, не «что», а «как»; неважно в конечном счете, как литератор относится к жизни, за что болеет, чему радуется, — никому это, мол, не интересно. Опасные иллюзии, которые особенно разрушительно сказываются на работе молодых; в результате некоторые из них, овладевая мастерством писания, рискуют упустить главное — мастерство видеть и понимать жизнь. Да, литератор и человек, писатель и гражданин — понятия нерасторжимые; все развитие литературы, в том числе современной, «текущей», подтверждает это вновь и вновь. Там, где эта нерасторжимость, это слияние органично и жизнестворно, мы, как правило, имеем, что называется, положительный результат. И наоборот. Известны истины? Но от этого они не перестают быть истинами. Впрочем, бывает и так, что от частого повторения некоторые истины, действительно, как бы «снашиваются», тускнеют, мы не всегда умеем наполнить их новым содержанием, а впрочем, эти истины, наверное, как-то по-другому и называются.

...Вспомним еще одну дату — чуть более 150 лет назад в журнале «Молва» появились «Литературные мечтания» тогда еще малоизвестного В. Белинского. Это было началом критической деятельности великого русского критика. Немало в этой «элегии в прозе» — так обозначен жанр критической статьи — принадлежит своему времени, но и на сегодня остается актуальным главное требование, предъявляемое к критике, — бескомпромиссность в суждениях о литературе, в стремлении выверить ее задачи требованиями времени, высокими эстетическими, художественными критериями. По мысли Белинского, ничто не должно мешать критику утверждать важность такого искусства, которое исследует самое жизнь, ее реальные противоречия, утверждать передовые идеалы своего времени, — всего того, что впоследствии получит название «натуральной школы».

«У нас нет литературы!» — провозглашал критик для того, чтобы расчистить, освободить место для подлинной, реалистической литературы. Против литературы — значит за литературу, и это не схоластика, а самая что ни на есть жизненная диалектика. Некоторые из наших критиков и литературоведов, похоже, иногда слишком прямо «следуют» Белинскому, высказывая порой излишне категорические, несправедливые суждения о литературе нашего времени. Но, как ни покажется парадоксальным, это и есть искажение, отступление от заветов Белинского. Нет, у нас сегодня нет никаких оснований начинать разговор о проблемах и путях развития нашего искусства со слов: «у нас нет литературы». У нас есть литература, и литература подлинная, так сказать, мирового класса — и по идейной наполненности, и по художественным параметрам. Но это не

значит, что острокритический взгляд на некоторые наши литературные просчеты излишен — отнюдь нет, его как раз подчас нам не хватает. Дело не в «ругательствах» как таковых — меньше всего мы нуждаемся в «разносной» критике, она родная сестра критики апологетической, комплиментарной — ведь известно: крайности сходятся. Да, дело не в этом, а в том, чтобы чувствовать свою ответственность и судить о явлениях литературы с позиций ответственности. А то ведь бывает еще так, что говорят иногда об ответственности и даже в названии статьи это слово присутствует, но понимается и толкуется оно при этом весьма своеобразно, а попросту говоря — безответственно. И в результате вместо глубокого, аргументированного анализа важных проблем мы имеем дело с торопливыми и довольно путанными суждениями, оценками, далекими от истины «выводами», которые ничего, кроме вреда, принести не могут. Эта «болезнь» нашей критики, приходится признать, довольно застарелая; способы «лечения» ее известны — следование четкой марксистско-ленинской методологии, постоянная проверка и обогащение знаний и суждений о литературе жизнью, ее современными задачами, проблемами.

...«Круглые» даты — это еще один повод вспомнить, поразмышлять о том, что всегда с нами, в нас. Но, вообще говоря, у истории не бывает дат «некруглых» — особенно, когда речь идет о таких событиях, как Великая Октябрьская революция, Великая Отечественная война... Конечно, сорок лет нашей Победы — круглая дата в собственном смысле этого слова, но и каждый новый юбилей Великого Октября — тоже круглая дата, потому что каждый год нашей новой Истории — это целая эпоха, еще один шаг в Будущее. Это чувство с особенной остротой объединяет наши усилия, стремления на пороге XXVII съезда КПСС.

ЛЕВ
РАЗГОН



НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОБЕСЕДНИКИ

Как непривычно, архаично обозначила жанр своей книги «Наедине с другом» Любовь Кабо! Ни очерки, ни эссе, ни еще как-нибудь, а «беседы». Так назывались когда-то, на заре русской литературы, книги, написанные «для поучения». Но Любовь Кабо не боится того, что ее читателя может напугать и оттолкнуть назидательность, поучительность ее книги. Ведь и все предыдущие, широко известные книги Кабо писала не для развлечения. И никогда этого не скрывала, хотя они писались в жанрах повестей, рассказов, очерков. А про книгу «Наедине с другом» (М., Изд. «Детская литература», 1985) сказала откровенно — беседы.

В конце концов задача каждого настоящего писателя сводится к тому, чтобы беседовать с читателем. Только для того, чтобы эта беседа состоялась, чтобы установилась с читателем «обратная связь», необходимо, чтобы стороны были равноправны, чтобы в этих беседах были открытость, откровенность, чтобы присутствовал личный опыт собеседников.

Собственно говоря, «Наедине с другом» — это книга о русской литературе, русской классической литературе XIX века. Но как же непривычно она начинается! «Любила я в юности одного человека. Любила — как тяжелую работу делала. То он отвечал мне взаимностью, и тогда я словно на крыльях летала; то вдруг откидывал меня от себя за тысячу верст, и молодому отчаянию моему не было тогда предела»...

Если писательница так необычно и «исповедально» начала свою книгу, то для того, чтобы рассказать, как в трудную, горькую минуту ей в руки попала книга — знакомая, — перезнакомая! Читала, проходила, изучала, сдавала о ней экзамены... И вот: «Словно никогда не читала, все вновь!» Это был Пушкин. «Вот так, помнится, меня, распухшую от слез, девчонку, взял Пушкин за руку и утешил, ободрил. Вот так мы с Пушкиным посидели, посовещались».

Оказывается, что в любую минуту — горькую и радостную — мы в состоянии найти себе собеседников. И каких — умнейших людей России! Любовь Кабо приглашает своих читателей поговорить с этими

людьми о всем, что волнует, тревожит душу, мучает и не отпускает всегда мятущегося, всегда ищущего молодого человека. Она убеждает, что эти собеседники не боги, застывшие в своей непогрешимости; не пророки, вещающие вечные заповеди. Русская литература тем и велика, что ее гениальные представители так же, как мы, мучились — каждый о своем. Их человеческий опыт, взлеты и падения, удачи и неудачи — все, что выражено в книгах Толстого, Достоевского, Тургенева, Герцена, Чехова, — все это нам помогает понять не только их, но и себя, соотнести свой личный опыт, свои собственные размышления с опытом и размышлением этих людей — столь обыкновенных в своем человеческом естестве, столь необыкновенных в глубине и силе выражения своих мыслей. Но в этом и заключена сущность литературы. Любовь Кабо так и пишет: «Что такое литература? Нелегкие писательские судьбы, душевная взыскательность, глубокое неравнодушие — вот что такое литература. Непрерывно двигающаяся мысль — вот что это такое».

В этой книге много о любви. И это естественно. И дело не в возрасте читателя книги. Любовь для человека — главное нравственное, эмоциональное испытание. Что в любви «берет» и что «не берет»; как отреничивается, а иногда и сливается минутное увлечение и неопровержимая любовь — все испытывают люди, особенно в молодости. Но объясняют нам это не кто-нибудь, а Пушкин, Толстой, Тургенев, Чехов... Они говорят нам то, что мы сами не говорим не только другим, но часто и самим себе. Потому что главное совершается в глубинах человеческих душ. Любовь счастливая и несчастливая. Татьяна у Пушкина, Анна у Толстого. Да разве только в книгах, в стихах! И рассказывается трагическая история любви Тютчева к Денисьевой... Но Любовь Кабо не подбирает знаменитые сюжеты нам «на случай». Она сама собеседник, она сама беседует с великими художниками и мыслителями, она, как и каждый из нас, сама делает вывод из того, что нам говорят великие. И сама приходит к выводу: «В отношениях любящих людей нет правых, нет виноватых. Прав — всегда! — тот, кто страдает больше».

Любовь Кабо начала с того, как ее «утешил» Пушкин. Но это вовсе не значит, что она советует искать у классиков только «утешения». Она пишет: «Муза Некрасова, как и проза Достоевского, словно босиком по толченому стеклу ходит». И сам читатель, беседуя с Толстым или Достоевским, может ощутить себя ходящим по толченому стеклу. Рассказывая о «Бесах» Достоевского, Кабо больше всего останавливается не на главных персонажах романа, а на одном эпизодическом персонаже — Эркле. «Чувствительном, ласковом и добром Эркле» — как характеризует его Достоевский. Но этот «добрый и ласковый» бестрепетно выполняет приказ человека, которому он верит, кто служит для него идеалом. Но идеал-то ложный! И, рассказав об этом персонаже романа, писательница говорит: «Сколько людей старшего поколения, вглядевшись в этот, вовсе не страшный, портрет, узнают в Эркле свою чистую, одухотворенную и, увы, бездумную юность!..»

Ах, какую беспокойную книгу написала Любовь Кабо! Не о спокойствии души идет речь. Вот уж

в чем автор «Наедине с другом» категоричен и последователен — это в ненависти к такому спокойствию, которое является синонимом равнодушия. И она приводит слова: «Спокойствие — душевная подлость». Это не ее слова — Толстого. Это он сказал: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

И все великие собеседники, с которыми сводит своих читателей Любовь Кабо, — все они так и жили. Все дело в том, как они это делали, на каком «уровне». Рассказывая о том, как на многие годы рассорились Тургенев и Толстой, писательница заключает: «Умели эти люди ссориться, да, но умели и мириться».

Что писательница больше всего ценит у своих великих собеседников? Пожалуй, веру в ценность человеческой личности, в человеческое достоинство, в возможность всегда, в любых условиях ее сохранить. После поездки в Россию французский писатель де Кюстин написал свою знаменитую книгу «Россия в 1839 году», в которой ужаснулась царским порядкам. В его книге было много верного, но автор «Наедине с другом» не может согласиться с французским писателем, что в николаевской России страх заменял мысль. Кабо приводит слова Герцена: «Николай перевязал артерию, но кровь переливалась проселочными тропинками». Даже в самое тяжелое, немисливо тяжелое время невозможно было воспрепятствовать движению человеческой мысли и сохранению своего человеческого достоинства. Конечно, черная, тупая и злобная сила способна поставить человека в самые унижительные условия, мучить его, убить. Нам для этого не надобно искать примеры в истории прошлого века, мы являемся современниками таких злодеяний, какие и не могли прийти в голову злодеям XIX века. Но мы же и являемся свидетелями силы человеческого духа, неподвластного никаким внешним обстоятельствам. Думая о жизни Чехова, о его книгах, Любовь Кабо утверждает: «Величие человеческой души или, наоборот, униженность ее не зависят ни от каких обстоятельств». И не следует унижение своего достоинства, унижительность своего поведения оправдывать чем бы то ни было. «В том-то и дело, что без всяких телесных наказаний, без всякого видимого посягательства на свое достоинство, человек может сам так унижить и так растоптать, как никто со стороны этого сделать не сможет».

«Береги честь смолоду» — говорит старая русская пословица. Любовь Кабо написала свою книгу для молодых людей. Она их приглашает посоветоваться с самыми умными людьми России о том, как выработать в себе веру в себя, в людей, в человечество и человечность. Им это необходимо не только для того, чтобы получить ответ на сиюминутные вопросы, горести, сомнения. Не только для этого. Все, что прожито, передумано и пережито сейчас, в трудные, но и отрадные и сладостные годы молодости, человек унесет с собой. Навсегда. На всю остатную жизнь. И как великий, обжигающий душу наказ, звучат в книге знаменитые слова Гоголя: «Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собой все человеческое движение, не оставляйте на дороге, не поднимаете потом!»

Читать «Наедине с другом» отраднo. В ней много откровенного и сокровенного. В ней много поэзии. И не только потому, что в книге много прекрасных стихов Пушкина, Тютчева, Некрасова, Блока, Мая-

ковского, Ахматовой, Пастернака, Самойлова. Глубоко поэтична, даже в самых своих «глубоких исследованиях человеческой души, великая русская литература. Любовь Кабо говорит своим читателям о ней: «Хотите — думайте вместе с нею, не хотите — не думайте, подумаете потом». Только надо знать, быть уверенным: «Руку протянуть — она рядом».

АЛ. ГОРЛОВСКИЙ

ПОЭЗИЯ И СУДЬБА



А

Анатоль Жигулин прав, помещая в новой книге своей (Стихотворения. М., «Советская Россия», 1984 г.) вместе с недавними стихами и те, что написаны раньше и хорошо знакомы читателю: все его творчество — это, по сути дела, одна книга, которая пишется всю жизнь и которая неотделима от судьбы поэта. Новые же стихи нарастают годовыми кольцами на ствол, формируя и укрупняя его.

Однако что же это такое — судьба поэтическая и чем отличается от обыкновенной? Очевидно, той отзывчивостью, о которой еще Гейне говорил, что трещина, расколовшая мир, непременно проходит через сердце поэта. В этом смысле судьба Жигулина началась для него в одиннадцать мальчишеских лет, когда обрушилась на страну война, а продолжилась и после войны в суровых испытаниях, выпавших на его юношеские и молодые годы.

И стихи А. Жигулина об этих испытаниях, несомненно, составляют сердцевину всех его книг. Даже тогда, когда пишет он о других временах, о других событиях своей жизни — о любви, о прошлом своей семьи и своей страны, о том, что видится ему в жизни, — все равно проступает, просвечивает за всеми его стихами та пора, которая научила преодолевать свое страдание, сочувствовать чужому, ценить человеческий труд, дружбу, свободу. Такие стихотворения, как «Бурундук», «Рельсы», «Работа», «Берега», «Хлеб», «Поезд», навсегда останутся ключевыми для его творчества, да и, наверное, незаменимыми во всей нашей поэзии.

Впрочем, судьба — это не только то, что случается с человеком, но и его собственное отношение к слу-

чившемуся. Поразительно, что и в самых тяжелых условиях душа Жигулина была распахнута навстречу миру. В сорокаградусных морозах, когда «становились молочными черные рельсы», в таежной топи открывалась ему не только тяжесть изнурительной работы «до соленого пота, до боли в костях», но и радость самого труда: «Захватила нас всех работа, увела от невзгод земных...»

В этой работе познавались коренные связи бытия: и «прямая связь: работа — хлеб», и ценность дружбы, и тепло доброты, и негибкость упорной жизни, которой «иногда хватает сил ожить цветами после смерти».

Может быть, потому и выжил поэт, что хватило ему нравственного здоровья и сил, чтобы пережитые боль и горе переплавить в стихи. Поразительно, сколько в его стихах великодушия! Вот прощается он с той, нежной, ласковой и чересчур расчетливой, что своею ложью причинила ему столько горя, но нет в стихах его и малейшего желания нанести свой ответный укол, хоть задним числом рассчитаться за пережитое, — есть только ощущение преодоленных круч, ощущение «гулкой высоты», с которой, словно в перевернутый бинокль, видится «маленькой-маленькой» она, «что осталась где-то у подножья».

Впрочем, у этого лирика не так уж много стихов, где бы он напрямую писал о самом себе, о личных событиях собственной жизни. Почти все, о чем пишет Жигулин, так или иначе соотносится у него с его прекрасной Родиной, великой и многострадальной. Вчитайтесь в такие стихотворения, как «Утиные Дворики», «Поле боя», «Калина», «Память», «Я был назначен бригадиром» и многие другие, вы сами убедитесь: меньше всего Жигулин принадлежит к тем, кто любит нянчить собственную боль. Есть в его жизни нечто неизмеримо более высокое, более важное, более ценное:

О Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои проселки, перелески —
Все, что без памяти люблю...

Мои обиды и прощенья
Сгорят, как старое живье.
В тебе одной и утешенье,
И исцеление мое.

Оттого, наверное, и полны стихи Жигулина нравственной чистоты, что нет в них суетности, мелкого, преходящего. У него почти вовсе нет того, что называется лирическим репортажем. Как видно, чтобы чувство стало стихом, оно должно быть Жигулиным не только пережито, но и отстояться в памяти. Только тогда, отобранное и обогащенное временем, обретает оно значительность. Видимо, не случайно, что и стихи сибирского цикла, и многие другие были написаны десятилетия спустя, словно бы по воспоминаниям. Вот почему его стихи выявляют только жизненно необходимые связи, и среди них очень важное для поэта чувство родства с людьми.

А. Аннинский уже отметил поражающее своей неожиданностью словечко «братцы» в горьком стихотворении «Из российской истории», с которым поэт обратился к тем, кто сжигал старинные рукописи. И тем не менее это очень по-жигулински — так обратиться к «пожогщикам», от которых и сам поэт немало испытал, потому что и их не вычеркнуть из человеческой общности родства, как не снять с себя ответственности и за деяния их.

Многие стихи Жигулина печальны, но как просветлен в них мир, как чисто просвечен каким-то

особым сиянием. Оно проступает сквозь прозрачность излюбленного им осеннего пейзажа — этот «холодный свет от белой рощи и дальний синий полумрак». Однако еще сильнее в его стихах сияние любви и доброты.

Это свечение возникает из тех уроков добра и справедливости, которые воспринял поэт от окружающих его людей: матери Евгении Митрофановны, правнучки знаменитого «первого декабриста» В. Ф. Раевского, рассказывавшей сыну, как во время шкуровских погромов прятали они в своем доме еврейских детей; отца — Владимира Федоровича — потомка непокорных крестьян, часто повторявшего своим сыновьям сказку про Илью Муромца; дяди Васи, который учил будущего поэта музыке; своей любимой, которая стала ему опорой в трудных испытаниях, и, конечно, от своих товарищей по жизни, которым и десятилетия спустя будет поэт посвящать свои стихи, исполненные восхищения и благодарности:

Друзья мои! В лихие сроки
Вы были сильными людьми.
Спасибо вам за те уроки,
Уроки гнева и любви

Эти уроки воспринимал поэт и из отечественной истории, оживавшей для него не только с книжных страниц, но и из семейных преданий и реликвий. И всюду главным критерием отбора была строгая нравственная память поэта. Там же, где она изменяла ему, возникала чуждая, не по-жигулински моллодеватая, а то и бодрая интонация, вроде как в некоторых стихах цикла «Из разных лет, из разных далей», или же холодные и отстраненные строчки.

К счастью, такое с поэтом случается редко. Именно потому, что ничего не забыл он ни из своей жизни, ни из истории своей страны, потому что никогда не заслонялся от боли своего времени, в стихах Жигулина проступает отчетливая тональность мужества, и поэзия его перерастает из элегической в героическую.

Жигулин имеет право на слова, обращенные им к его родине, не только выстоявшей в испытаниях тысячелетия, но и сохранившей в себе человечность, мягкость и отзывчивость на чужую беду:

И я такой же — гнутый, битый,
Прошедший много горьких вех,
Твоей изрубленной ракуты
Упрямо выживший побег.

НИНА
ИСКРЕНКО

Нина Искренко родилась в г. Петровске Саратовской области. Окончила физический факультет МГУ, работает инженером-переводчиком. Участница Московской городской поэтической студии. Эта статья — дебют автора в критике.



ВЕРНЕМСЯ
К
ВОЗНЕСЕНСКОМУ

Дебют
«ЮНОСТИ»



Всякое открытие начинается с предположения, которое так или иначе противоречит здравому смыслу. В науке любая гипотеза должна подтверждаться практикой, тогда она перестает казаться неправдоподобной, становится нормой бытия. А в искусстве?

У Родена есть скульптура «Идущий человек», у которой отсутствует голова. Когда у Дега, посетившего выставку, спросили, нравится ли ему это произведение, он ответил:

- В нем великолепно передано движение.
- Фигура без головы?
- А разве головой ходят?

Изображенное художником не становится нормой бытия. Но означает ли это, что произведение его не несет внутренней правды? Может быть, с точки зрения Родена, часть стоит целого? Может быть, художник оспаривает привычное представление о том, что главное для человека — иметь голову на плечах? Истинная поэзия, как и истинная наука, всегда рождается из некой нетривиальной предпосылки, из интуитивного «предположим, что...». Земля — шар, это скажет каждый школьник, а для Галилея это было вопросом жизни и смерти. Художник тоже моделирует мир. Но как о нем мир? Действительное и воспринимаемое, вещи вне нас и вещи, преображенные нашим присутствием, бытие и сознание — совпадают ли они, с его точки зрения? Нет, не совпадают.

Час отличается от часа.
Он отличается тобой.

А что значит «предложить модель»? Рафинированных гуманитариев обычно пугает вторжение в область искусства всякой «внехудожественной» терминологии («Фу, как это механистично!»). Но не надо думать, что модель — это что-то вроде развернутой схемы телевизора или уродливого робота, разговаривающего на квинтер-финтер-жабском языке. Модель — это особая, необщепринятая логика сопоставления вещей и понятий, это индивидуальный закон их подобию, кредо поэта, его главная художественная мысль. Талантливая модель всегда компактна и изящна.

Если суть творчества (и научного, и художественного) — познание мира и человека, то суть творческого метода — сравнение, сопоставление понятий, «измерение» одного другим. «Сравнивать — значит подмечать сходство в природе» — кто это сказал? «Я сравниваю — значит, я живу», — вторит Мандельштам Данту, а Вознесенский Мандельштаму. Физики сравнивают с помощью уравнений, поэты — с помощью смысловых метафор. «Нет бытия вне сравнения».

Но физические картины мира сменяют друг друга, а Поэт не похож на Поэта. Зачем, почему, как? Затем, что миром движет любопытство и чем больше человек узнает, тем больше ему хочется узнавать. Освоившись с новой идеей, привыкнув к ней, появив, осознав ее, мы жаждем следующей. Конечно, многое в мире не меняется со временем. Квантовая теория пользуется такими старыми, избитыми понятиями, как масса и энергия, но устанавливает между ними новые соотношения. Подобно этому каждый поэт говорит о жизни и смерти, о любви, о долге, о подлости, о красоте и так далее, но истинный худож-

ник ищет и находит тот специфический тип связи всего сущего, то неожиданное «предположим, что», которое отличает его от предшественников. Иначе зачем новые поэты?

Вернемся к Вознесенскому. Предположим, что...

Суть поэзии подобна сути архитектуры, которая всегда зрима, конкретна, графична. Отсюда главное слово поэта: Вижу. Отсюда «изопы» и «позтархи», апельсиновые поляны и летающие памятники. Даже если памятник остается воображаемым, полет его реален. Таков принцип «магического материализма» поэта. Мир состоит из очертаний. Внутреннее родство предметов и событий, людей и поступков определяется видимым жестом, почерком их движения, скульптурой поз, воздушным пространством, заполняющим человеческий взгляд или пролет моста. «Предметы рождаются, аукаются», обмениваются контурами и объемами, входят друг в друга, смотрят на мир из чужих оболочек, живут и умирают друг в друге. «Человек тонет на площади», «негр рыж, как затмение солнца», «сущность женщины горизонтальная», а «зубчатая, как... почтовая марка, стена приклеена к палевому небу». Глубинное не спрятано внутри, его можно увидеть. Суть поднимается форме. Так не бывает? Да, если говорить о мире реальном, о мире «для всех». Но реальным миром занимаются физики. Не будем им мешать. Сделаем «как не бывает»: ведь именно такие взаимоотношения человека и мира идеальны, художественны, поэтичны. «Цель художества — идеал, а не нравочение», — говорил Пушкин.

Вернемся к Вознесенскому. Человек спешит увидеть, увидеть надо так много, что не хватает глаз. «Ухо становится органом зрения» — вот старая, давно найденная им формула мира. Но выдохнутое интуитивно порой мучительно осознается в течение долгого периода, может быть, всей жизни. Вначале, стремясь за своим великим кумиром дойти до самой сути, зерна предмета, поэт заставлял вещи «сбрасывать панцири, обложки, оболочки», но при этом с удивлением обнаруживал, что звук в зубах джазиста по-прежнему изгибается в форме саксофона, а чай — в форме чайника, а под содранной вместо платья кожей открывается никакая не суть, не тайная жизнь и не душа предмета, а просто боль, тупая, всепоглощающая физическая боль. «Оо-оо» — и больше ничего. Может быть, «обнажая суть вещей», не обязательно эти вещи «распиливать»? Ведь мир состоит из очертаний и, значит, достаточно просто внимательно смотреть на человека или предмет, смотреть буквально, увидеть глазами, как «Майя Плисецкая в золотом обтягивающем платье откидывается, как на черную спинку стула, на широкую волевою грудь Щедрина», чтобы понять, как создавалась «Кармен-сюита». Достаточно взглянуть на «архитектурное стихотворение» Константина Мельникова, чтобы почувствовать силу любви этого одержимого художника и человека: «Два туманных цилиндра полуотоплены друг в друга. Будто двое влюбленных стоят, обнявшись, во дворе, заслоненные от мира многотажными громадами. Она обнимает его со спины, положив голову на его плечо. Они, оцепенело прижавшись, рассматривают прохожих». Предмет открывается взгляду, он сам готов вывернуться наизнанку, как Василий Блаженный, создателя которого «вынесли интерьер на площадь», сделали суть зримой, выпуклой, околдовывающей.

И тогда безмянный заложник
выйдет в сумерках на косяг.
Как слепую белую лошадь,
он ведет за собою собор.

Освещение преобразует пейзаж. Взгляд преобразует мир. Человек, на которого смотрят чистыми глазами, сам становится чище.

Вы встречались в Алабино
с подмосковной сомнамбулой?
Но я звал тебя Аннабел Ли.

Слабое усилие, незначительный с виду, но искренний поступок, порыв рождает большую отдачу, ответное движение. Гора идет к Магомету. Увиденное Блейком «небо в чашечке цветка» было чистой метафорой, иносказанием, символом. Магический материалист Вознесенский буквально видит «чутьочку неба» в лоскутном полевом васильке. Небо, идя навстречу цветку, принимает его форму. Малое притягивает, удерживает на себе большее, как тянется композиционно большой Владимирский собор к «жемчужине на Нерли», а большой гетевский дворец — к домику юности немецкого поэта. Мир Вознесенского «нефизичен», он держится не на гравитационной, а на «сердечной тяге», не на пространственной, а на «исторической симметрии», поэтому в нем как бы нарушается закон сохранения импульса: ведь главное для поэта то, что обратная связь, отдача превышает само действие. «Тюльпан на фоне бетонного каземата кажется крамоллой, восстанием» — это о Лорке. Пастернак откликается на призыв начинающего Вознесенского, угадывая за ним будущее, вводя его в свой поэтический дом и даря ему гораздо больше, чем тот пока может отдать. Через много лет Вознесенский пишет «Мне четырнадцать лет», а путешествуя по Европе, уговаривает кого-то сделать крюк и заехать в Марбург, смутно чувствуя при этом, что, может быть, все его турне — это большой крюк вокруг маленького Марбурга, города, в домах и улицах которого он узнает, читает Пастернака. Проблема отдачи, отклика, обратной связи — вот та внутренняя ось, вокруг которой закручено поэтическое пространство «Прорабов духа», да и всех предыдущих книг поэта. В самых сильных его вещах возникает ощущение вольтовой дуги, пронзающей мироздание.

В композиции книги ощущается все тот же принцип «несохранения импульса», «ауканье» частного и общего, «историческая симметрия», уравнивающая единичный порыв с мировым эхом, а первую страницу книги — с последней. Голосу юного поэта («Мне четырнадцать лет») откликается «народ — зодчий речи» и «речь — зодчий народа». Все стихи объединены в комплекс «МАЛЫЙ ЗАЛ» и в основном посвящены близким поэту людям, их не очень заметным, но очень важным делам. «Малый зал Консерватории — скрипка скрытая Москвы», и стихи этого цикла дают представление о «малой родине» поэта. Обратную связь с этой малой родиной осуществляет «ДОМ ПРОЗЫ», мощный и густонаселенный духовный кооператив, или собственно «прорабы». В оглавлении он выглядит как рослая башня-многоэтажка, отечественный небоскреб, окна которого — литературные портреты «прорабов», начиная от соседей автора по дому и даче и кончая соседями по духу вопреки пространству и времени. В основном здесь все новоселы, кроме Плисецкой, Микеланджело и ау-ванкуверских современников поэта, перекочевавших в новое здание из прежних своих особняков, так сказать, «на улучшение». В подвальном этаже, который по логике обратной перспективы следует считать мансардой, разместились «Муки Музы» — размышления о современной молодой поэзии.

Пробуждая в словах скрытое созвучие, рифмуя «мыслящий промышленник» или «без димита — Ве-

лимира», поэт заставляет смысл откликаться на звук, включает обратную связь между самими словами. Так инструментовка, звучание, эвфония стиха отражают основную идею, смысл творчества поэта в целом. «Что такое сорняк? Это растение, достоинства которого еще не открыты», — сказал Эмерсон. Вознесенский одержим идеей отыскать, открыть потенциальные достоинства, «скрытую красоту», «ростки прорастава», в которых «подозреваются все».

«Высокое отношение к миру» — вот требование, которое сам мастер считает обязательным для художника, и ищет это высокое в человеке, в предмете, в слове как таковом. «Среди ора и толкучки он несет сияние взгляда на закинутом лице, как официант над головами приносит на закинутой руке поднос с сияющим хрусталем, наполненным волшебной влагой».

Трагичность мира ощущается поэтом как отсутствие желанного отклика, ауканья, как невстреча в прорываемом друг к другу туннеле Или как обратный, «антимирный» импульс большого зла в ответ на малый грех. Поэта мучит комплекс вины. Он ощущает себя камешком, способным спровоцировать обвал, лавину, стихийное бедствие. Он, может быть, не единственный такой камешек, но «высокое отношение к миру» побуждает его взять вину на себя, стать «органом стыда», «органом очищения» («Я — Гойя»). Поэт-громоотвод, поэт-набат, поэт-спасатель. Навязчивая идея вызвать словом реальное действие. Написать о человеке, спасшем тебе жизнь, — значит вернуть долг, спасти ему жизнь в слове, — подарить «вечностью». Написать о поступке — спасти поступок. Написать лицо человека — обессмертить это лицо. Магический материализм. Не случайна поэтому и тяга поэта к «поэзии факта». Миллион алых роз Пиросмани или огненная апельсиновая симфония сербского певца — это произведения, вся сила которых в однократности, в не вечности, в мгновенном умирании, благодаря чему смысл такого подарка приравнивается к смыслу жизни. Выдирая эти шедевры из черной дыры забвения своим вечным пером, поэт, в сущности, выступает как простой рассказчик, но этим малым движением души он одновременно делает подарок всем женщинам, которым не посчастливилось войти в число тех избранных. И всем мужчинам, которые живут и мыслят по-другому.

«Мир погибнет без поэтического безумства». Поэт вопит:

«Сделайте, сделайте, сделайте, хоть что-нибудь!». Поэт повелевает: «Встаньте, Ландау, погибший в комсомлаборанте!». Поэт напоминает: «Отвечьте детству!» Поэт не выносит трепа, трескотни «пустых сезалок разумного, доброго, вечного». Поэт уверен:

Нравственной гораздо завод колготок,
чем о бабской доле

абстрактная слеза.

Поэт верит в магический материализм, в подвижников слова и прорабов духа.

Его проза прозрачна, эвфонизирована, пронизана звуком. «Дом» ее построен из ломких кристаллов света и «парящих точек». Муза архитектуры наводит мост между бытом и вечностью. Суть подчиняется форме, и жилы подобны дому. Человек живет внутри своего имени. Пастернак — подросток, Корней Чуковский — человек с древесным именем. Соло Солоухина и час Чаклайса. Готический Федин и великолепный Ираклий. (Если бы Ираклия звали, к примеру, Зиновием, он, конечно, был бы не менее великолепен, но назвать его великолепным в том случае было бы уже неинтересно, «некрасиво», не видно.)

Между «МАЛЫМ ЗАЛОМ» и «ДОМОМ ПРОЗЫ» бьет фонтан. «О» — это наиболее разросшееся, «запущенное» стихотворение или, наоборот, самая поэтическая проза Андрея Вознесенского.

О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральные косточки, майских жуков!

О, мы подходим к самому из самых, к сокровенному из сокровенных, к Вознесенскому из вознесенских. Вспомним: мир состоит из очертаний и вот наконец его первичности, единица измерения, элемент мироздания, скромное «О» — кружочек, буква, дырка, глазок, маленькое «ничто», удерживающее на себе все поэтическое пространство поэта. (Так не бывает?)

Цитирую или пересказываю:

Буква О — самая распространенная в русском языке, основа нашей речи, а стало быть, и сознания. Рукопись «Слова», как кольчуга, сотканная из ржавых «о». О — это колесо чичиковской брички, это черное кольцо Ахматовой, это Осы Мандельштама и бОр Пастернака, это зрачок Катаева и его 200 кепок. О — это ионик, мельчайшие архитектурные детали, тысячами заполнявшие чертежи студенческой юности и откликающийся зрелому поэту с реальных галерей и палаток. О — это черная дыра памяти, гудящий энергетический пылесос, это открытые рты спящих в бомбоубежище, нули от анальгина в глазах. О — это скульптурные дыры Мура. Сквозь овальные пустоты фигур, как в иллюминаторах, проплывают сменяющиеся пейзажи, облака, ветреные кроны. Ом, омм — кричит Аллен Гинзберг на круглой арене лондонского Альберт-холла Пикассо в сетчатой майке, как крутящийся бильярдный шар в лузе — свой в доску, белая дыра спрессованного будущего, сам пожиратель дыр — высасывает дыни, мидии и мастерские других художников. Шостакович не был круглым. В нем была квадратура гармонии. Она смотрела из квадратных очков. Творческий союз с ним не состоялся. О — это одержимость и Оза, это ответ будущего и оловянное небо над овальными озерами. О — это грустное и смешное, великое и ужасное, деловитое, твердое, торопливое, струящееся, бесконечное. О — это о-о-очень большой отклик на призыв скромной закорючки. О, как ты меня мучила! Спасибо, что ты меня нашла.

Вернемся к Вознесенскому. «Даже теперь, когда он (Покров на Нерли) стал туристическим объектом, свет его неискраем». Даже сегодня, по прошествии стольких лет мэтр продолжает изучать мощное энергетическое поле, пронизывая наше восприятие силовыми линиями судьбы, увиденной с оими ушами. Нынешняя новая волна в поэзии исповедует иные отношения с миром, вещью и вечностью, но без архитектурного воображения и забористого озорства Андрея Вознесенского ее не было бы.

«Озера, как и церкви, всегда располагаются в самых красивых точках окрестностей. Они утоляют жажду. Природа ставит их в заповедный центр композиции». Поэты появляются в торях точках истории, в моменты, переломные для общечеловеческого сознания. Они призваны утолять жажду человека познать мир и самого себя. Здесь надо бы подвести черту, но она вырывается и замыкается в круг.

Вернемся к Вознесенскому.

КОМУ ДОПИСЫВАТЬ ПОВЕСТЬ?

«...Допустим, вы первый секретарь, у вас в райкоме вакансия. Кого из двух взяли бы вы на место второго секретаря: Олега Чеснокова или Алексея Бутенина?»

Что это? Может быть, профессиональный тест, в котором почему-то фигурируют герои повести Юрия Полякова «ЧП районного масштаба»? В известной мере да. Но про это поговорим потом.

Год назад появилась на страницах «Юности» повесть Ю. Полякова, но до сих пор о ней продолжают говорить и спорить — на собраниях и «круглых столах», в «первичках» и «аппаратах», в общесоюзной и местной печати. А в журнал идут письма, горячие, заинтересованные. Есть коротенькие отзывы, есть пространные исповеди, есть даже стихийная эпистолярная публицистика.

Сколько авторов — столько мнений. И все же тех, кто написал в редакцию, можно разделить на два лагеря — «за» и «против». Последних значительно меньше, поэтому им первым и дадим слово.

«Уважаемая редакция журнала «Юность»!

Прочитала повесть Ю. Полякова «ЧП», и даже обидно стало за нашу советскую молодежь. Неужели эта повесть не утрирование, не пародия, а правда? — пишет москвичка Н. Граменицкая. — ...Случившееся ЧП — закономерная цепь событий в райкоме с такими руководителями. И их вместе с Семеновым нужно посадить на скамью подсудимых, а уж если наказать, — то выговором, чтобы научились разбираться в людях, чтобы не калечили ребячью душу и не гасили первый святой порыв в их сердцах. Побольше бы читали Н. Островского и «Молодую гвардию» (научились бы принимать в комсомол)...»

Кстати, не одна Н. Граменицкая отождествляет поступки и высказывания персонажей с позицией автора, а ведь это все-таки неверно.

Но вот иная точка зрения — киевлянки И. Затворницкой:

«С увлечением прочитала повесть «ЧП». Ее содержание — не просто критика негативных черт комсомольской работы. Повесть заставляет задуматься над многим, что касается нашей работы. И в этом, по моему, основная ее ценность. Спасибо за мысли, проблемы, за живое комсомольское изложение, за то, что повесть не имеет «оформленного» окончания и оставляет надежду на то, что «первый» останется первым в борьбе за судьбы таких, как Семенов, и что за огромной «текучкой» мы не будем забывать о главном — о ЧЕЛОВЕКЕ! Еще раз спасибо, уже чисто по-комсомольски.

*Ирина,
секретарь комитета ВЛКСМ техникума».*

В нашей почте есть письма и от целых комсомольских организаций. Вот характерный пример:

«Здравствуйте, дорогие товарищи!

Пишу вам по поручению всей комсомольской организации, комитета комсомола нашей части. Только что закончили обсуждение повести Ю. Полякова. Повесть читали, что называется, запоем. Равнодушных не видел никого, и почти стихийно возникло желание поделиться своим, наболевшим. Обсуждали повесть, но больше и больше говорили о делах нашей организации, о делах комсомола вообще... Очень своевременно вышла эта работа в свет. О многом заставляет она задуматься, многое переосмыслить и переоценить. Особенно интересна и поучительна она для нас, комсомольских работников армии, ведь от нас тоже во многом зависит, какими наши комсомольцы придут в свою большую жизнь...

С уважением

*секретарь комитета ВЛКСМ части
старший лейтенант Калинин».*

На повесть откликнулись люди разных поколений. Но и студента и ветерана объединяет общая горячая забота о завтрашнем дне комсомола, резкая нетерпимость к недостаткам.

«Уважаемый г. Поляков!

С интересом прочитала я так взволновавшую меня Вашу повесть. Она близка мне тем, что в далеком прошлом (в 1940 году) и мне пришлось быть вторым секретарем Дрогобычского горкома комсомола и решать много проблем, схожих и несхожих с нынешними, — пишет из города Конотопа Р. Н. Фасенко. — Сложно было работать в областях, только что ставших советскими, но и необычайно интересно... Чувствуется, что и Вам пришлось заниматься комсомольскими делами. Считаю, эту повесть должен прочесть каждый комсомольский работник...»

Так считает не одна Р. Н. Фасенко. Читатели даже предлагали устроить обсуждение повести в каждой первичной организации. Конечно, замысел глобальный, но, как показывают письма, многих рядовых комсомольцев повесть в самом деле заставила задуматься или укрепила в желании искать новые формы комсомольского бытия. Вот, к примеру, похожее на исповедь письмо ленинградки О. Кузнецовой. Не со всем, что сказано в письме, можно согласиться. Но разве прямота и искренность — недостаток?

«Здравствуйте, Юрий Поляков!

Тема повести «ЧП» для меня — продолжение романа Б. Васильева «Завтра была война», поэтому тяжелее воспринимаешь такое гигантское различие: там — одухотворенность, крылья, решимость, здесь — тяжесть, вялость, хоть и сквозь табачный дым и шутки. Почему так случилось? Думаю, на этот вопрос есть у вас ответ, есть он и у меня — свой. Мысли о том, почему сегодня так, а не иначе, — камень на душе. Я говорю почти так же, как ваши герои в дискотеке, как Аня и Андрей.

Я бездействую, и сознательно. За неполные двадцать лет поняла, что за собой повести не могу, не могу зажечь людей, но готова идти и делать то, что надо. Помню, как «горели» мы в школе, но то была литературно-историческая школа... Случилось так, что два с половиной года в институте меня «потушили». В наших стенах действует прин-

цип: общественный деятель — преуспевающий, способный карьерист, либо человек, скажем, не очень умный, но жаждущий хорошо устроиться. Как, почему сформировался такой взгляд? Но сама считая так же.

Сегодняшняя наша работа никого не «зажигает», прежде всего нас самих, постоянно жмут сроки: сдача документов, подведение итогов, оформление «молний» и «экранов». Короче, все, как в повести. Комсомольское собрание на майонезном заводе — сцена, списанная с нашего очередного комсомольского собрания (хотя отчетные у нас проходят бурно!). Как итог, конечно, надо сказать, что не все так плохо. Но в силу свойств своего характера воспринимаю все, может быть, чуть хуже, чем есть на самом деле...

Такое стремительное время, и так медленно дышит комсомольская жизнь — парадокс...

О. Кузнецова, г. Ленинград.

Это тревожный, неравнодушный голос из «первички», из той самой, о которой первым делом вопрошают вступающего в ряды ВЛКСМ.

А вот позиция человека, знающего комсомол «ином срезе», еще недавно работавшего в райкоме комсомола. Очевидно, храня честь мундира, читательница подписала инициалами «Н. Г.».

«Уважаемая редакция!

Никогда не писала писем в газеты и журналы. Статьи — да. А вот писем не писала. Но вот повесть Ю. Полякова настолько взяла за живое, что взялась за перо.

Меня вырастил комсомол. Член комитета ВЛКСМ школы, старшая вожатая, инструктор, зав. отделом, секретарь одного из ленинградских райкомов ВЛКСМ — я прошла в комсомоле, как говорится, все «уровни». Конечно, я получила радость общения со сверстниками, преданными делу, у меня остались настоящие комсомольские друзья. Конечно, и мы пели (и сейчас люблю) комсомольские песни, работали ногами... Все так... Но!!

Про это «но», которое стало болью многих из нас, хотелось бы поговорить. Еще когда работала в аппарате, казалось, что делаю дело. Но и тогда уже вкрадывались сомнения: а то ли? Правильно говорит в повести Кононенко, райкомы могут «функционализировать» без комсомольцев. Будут инструкторы писать справки, сдавать отчеты, звонить по телефонам, секретари — проводить планерки... А комсомольцы бить стекла. Потому что куда там «дойти до каждого». До организации не дойти! Вот он, тип комсомольского работника: стол, заваленный бумагами, трубка, прижатая к уху, авторучка...

Работников аппарата знает узкий актив, остальные комсомольцы не знают их ни в лицо, ни по фамилии, ни по должности, ни по делам. Целое событие, если кто-то из работников аппарата пришел на заседание комитета, а уж на комсомольское собрание в группу — это из области фантастики. А если и пришел — помог? Скорее нет, чем да. Работников райкома ждут не как друзей и помощников, а как проверяющих... Взгляни на себя, работник райкома, посмотришь во внутреннее зеркало. И если ты еще не совсем «зааппаратился», перестраивайся! Или уходи...

И далее — о некоторых качествах современного комсомольского работника:

«...Ты первый секретарь, у тебя солидный кабинет, стол-аэродром, тебя приглашают на аппараты в РК КПСС... Но это пока дань уважения не тебе лично, а районной комсомольской организации... Ну, допустим, «газик» в сельском райкоме необходим. А в городе? Почему начальники цехов в свои

50—60 лет должны по утрам толкаться в городском транспорте, а ты — в свои 25 лет — вальяжно едешь в черной «Волге»? Тебе положено? Ну и зря! Комсомольский вожак должен быть легким на подъем, простым, близким ребятам... Надо думать, надо перестраиваться».

Кстати, выражая свое отношение к героям «ЧП», многие авторы писем размышляют именно о комсомольских вожаках, о том, каковы они есть и какими быть должны.

По-разному оценивают читатели Николая Шумилина: А. Левко из Воркуты считает, что он «слишком рассудочен», а вот Р. Сагайдак из Воронежской области видит в нем фигуру трагическую. Но что говорить о разнотолках вокруг первого секретаря, если, например, военнослужащему М. Бесидскому «больше всех в повести импонирует Олег Чесноков, это, если хотите, идеал». Сошлемся и на «круглый стол», опубликованный в газете «Комсомолец Кубани». Материал был прислан коллективом редакции в качестве отклика на повесть, поэтому и приводится в ряду читательских писем:

«Накануне, готовясь к разговору, мы предложили его участникам подумать... «Вы первый секретарь, у вас в райкоме вакансия. Кого из двух взяли бы вы на место второго секретаря: Олега Чеснокова или Алексея Бутенина?..» До этого мы задавали такой вопрос нескольким людям, не связанным непосредственно с аппаратной работой. И выбор был в общем-то единодушен: они хотели иметь дело с Бутениным. Поэтому точка зрения аппаратчиков оказалась нам несколько неожиданной. Они сказали: «Наверное, все-таки Чесноков».

— Понимаете, — аргументировал второй секретарь Ленинского райкома комсомола Олег Чуйков, — в аппарате есть «вопросы», которые, как мы говорим, «нужно решать». Никто от них не освобождает и не освободит. Чесноков «решать» умеет, Бутенин — еще неизвестно. Значит, лучшая кандидатура — Чесноков.

Почти все с ним согласны.

— Не так уж плох честный карьерист, он полезен — делает дело и делает его хорошо! — говорит Валерий Чагин, второй секретарь Октябрьского райкома комсомола. — По-моему, именно Чесноков может работать качественно. Из каких побуждений — второй вопрос».

«Вот так да?» — удивился бы, наверное, Николай Шумилин, узнав, какой популярностью пользуется его нахрапистый герой. Тут есть о чем задуматься.

Неоднозначно восприняли читатели и «открытую» концовку повести. «Когда дочитал, — пишет из Владивостока Ю. Рожков, — надеялся увидеть слова «продолжение следует». «Повесть осталась какой-то незаконченной! — пишет из Смоленской области Е. Белоус. — А я люблю ясность во всем!» Мы с мужем часто говорим о проблемах, поднятых Ю. Поляковым, — размышляет иркутянка М. Хохлова. — Наверное, выход из создавшегося положения можно найти только «всем миром».

Но, видимо, точнее других высказались участники «круглого стола» «Комсомольца Кубани».

«Называя проблемы, повесть не дает готовых рецептов, — говорит второй секретарь горкома Ю. Малехин. — Но мы, словно посмотрев на себя со стороны, о многом теперь задумаемся. Лично мне резко обрывающийся конец повести кажется теперь логичным. Остро оразив главные проблемы, стоящие сегодня перед комсомолом, автор поставил многозначие. Потому что решать их не ему на страницах журнала, а нам, в нашей практической комсомольской работе!

Значит, повесть дописывать нам».

КОНСТАНТИН
ВАНШЕНКИН

«ПРЕДСТОИТ НА СВЕТЕ ЖИТЬ...»



На снимке: Анатолий Аграновский. 1959 год.

*Н*ачну с конца. С того субботнего раннего звонка, когда сперва ни слова нельзя было разобрать. Потом другой, слышнее: это Галя Аграновская, говорит с Пахры, у Толи инфаркт... Нужно организовать перевозку, договориться с клиникой... Потом наши лихорадочные хлопоты. А потом еще звонок: ничего уже не нужно. И все это в течение часа.

Потом «Известия», панихида, дождь — как сквозь сон...

А по порядку? Галя мы вообще знаем с незапамятных времен. А его? Помню «Литгазету» начала пятидесятых, коллектив, подобранный Симоновым поштучно, как собирают коллекции. Оттуда многие вышли. «Ансамбль верстки и правки». Грандиозное выступление в перерыве московского писательского собрания в пятьдесят четвертом году, — наверное, пока печатали бюллетени для голосования, Аграновский — солист, красивый, почти смазливый, в тельняшке. Исполняется на мотив «Раскинулось море широко» песня о том, что честь смолodu нужно беречь, «а также и в зрелые лета». Толя поет со вкусом: «в зрелая лета»...

Еще раньше я видел и слышал его отца, известного в ту пору журналиста. Я учился в Литературном институте, а он в качестве руководителя ездил с тремя нашими студентами — Борисом Бедным, Владимиром Тендряковым и Григорием Баклановым — на Волго-Дон. Каждый из троих написал в результате очерк, их публично обсуждали в институтском конференц-зале. Лучшей была признана работа Бориса Бедного.

Документальную повесть о Волго-Доне «Утро великой стройки» (в соавторстве с В. Галактионовым) написал и Толя.

С 1957 года мы стали жить в одном доме. Рядом росли, а потом учились в одной школе наши дети. Аграновские сначала занимали двухкомнатную квартиру. Однажды, придя на день рождения Толи и собираясь позвонить в дверь, я обнаружил, что количество прожитых им лет совпадает с номером квартиры — 37. Спустя немалое время, когда они жили в нашем же доме, но в трехкомнатной квартире, я, тоже на дне рождения, вспомнил об этом и выразил пожелание, чтобы подобное совпадение в будущем повторилось — теперь номер их квартиры был 83. Увы, до этого возраста ему не хватило более двадцати лет.

Широко известны его очерки, его книги. Он имел своего умного обширнейшего читателя. Но как он стал журналистом такого класса? Конечно, способности, дарование. Однако главное: он поднял, воспитал и усовершенствовал себя сам — путем огромной и постоянной внутренней работы. В своих «известских» очерках он ставил проблемы государственной важности. Для этого нужна была немалая смелость. Он развил и продолжал развивать в себе это качество.

Он болел за дело не на словах. Он бывал отчасти оппонентом, если хотите, даже официальным, как при защите диплома или диссертации.

«Принципиальность» — пишут в служебных характеристиках едва ли не каждому. А у него были принципы. Не специально сформулированные и расположенные по параграфам, нет, они были в нем самом — к случаю, к месту.

У него был друг, Олег Писаржевский, я его хоро-

шо знал, публицист, ученый, занимавшийся главным образом делами и вопросами науки. Он работал взахлеб, не жалея себя, по восемнадцать часов в сутки, непрерывно глотая кофе и дымя сигарой. Он все делал стремительно, он и умер на бегу, упал на улице. Но ведь, в общем, похоже, умер и медлительный Толя.

И вот в день смерти Писаржевского пришло в редакцию обращенное к нему письмо, развязное письмо от очковтирателя, невежды, уверенного в своей неуязвимости.

Ответил Аграновский. Сдержанно, холодно, вежливо расщелкал адресата по всем пунктам. Но сперва поехал, конечно, в хозяйство, изучил положение на месте — он всегда шел от жизни, а не от придуманных заранее схем.

Он был остр, умен, тонок, ироничен, саркастичен, наконец, резок.

Он умел получить от собеседника то, что ему было нужно. У него безусловно была хватка, прежде всего журналистская. Он не стеснялся уточнять, надоедать, переспрашивать: ему нужно было дойти до сути.

А вообще-то он был, если угодно, тутодум. Писал не как газетчик, не обладал быстротой реакции, здесь скорее отличалось Галя. В этом было у него и что-то защитительное.

Мы с женой, а потом и с дочерью обычно читали в газете все его статьи. Я тут же и звонил: высказывал мнение.

Однажды, уже поздним вечером, позвонила Галя Аграновская:

— У вас все в порядке?

— Да,— ответила моя.— А что случилось?

— Напечатана статья Толи, а вы молчите, я и решила проверить...

Тогда сказал я: — В нашем экземпляре не было... (Разумеется, мы просто пропустили ее.)

Эта фраза вошла у нас в обиход. Когда печатали что-нибудь я или Инна, звонили Аграновские и начинали так: — В нашем экземпляре есть.

И еще забавная деталь в отношениях. Люди, столь близко знающие друг друга, говоря по телефону, обычно не называют себя, за них представляется их голос. И вдруг что случилось? Толя не узнал меня. Сказал свое обычное «аллаёу», но чувствую, говорит с кем-то другим. Я спрашиваю:

— А ты знаешь, с кем беседуешь?

Он несколько опешил и назвал имя — не мое. Я предложил:

— Называй уж меня просто Петей.

Он уже узнал и, несколько смущенный, протянул:

— Ла-адно. И ты меня, Петюня...

И мы стали так друг друга называть, сначала смеясь, а потом, попривыкнув, и серьезно. Люди, даже знавшие нас, порой таращили глаза, ничего не понимая.

Дошло до того, что его сыновья начали называть меня дядей Петей, а моя дочь именвала так его. А недавно — Толи уже не было — я поднялся к ним, и Антон, врач-офтальмолог Антон Аграновский, открывая мне дверь, сказал:

— Здравсьте, дядя Костя.— И тут же поправился: — Дядя Петя...

В этой его нарочитой как бы оговорке было что-то очень трогательное, преемственность, что ли.

Толя любил футбол, был давним приверженцем «Спартак». Предпочитал смотреть в одиночестве, на кухне, по маленькому черно-белому телевизору. Вертел шеей, словно ему что-то мешало, грыз от волнения ногти. То и дело хватался за коробку «Казбека» и, постучав мундштуком папиросы о ко-

робку, закуривал. (Даже когда он пел, у него часто торчала в углу рта «казбечина».)

Однажды я взял его на стадион. Он колебался, принять ли приглашение, потом согласился. Был прекрасный летний вечер, мы пошли пешком, заходя, и уже на Ленинских горах почтучествовали себя причастными к некоему важному, общему событию. Народ валил валом. Игрался официальный матч СССР — Венгрия на первенство Европы. В Будапеште наши недавно проиграли 0:2 и теперь жаждали реванша. Команда у нас была еще настоящая. Когда мы поднялись на трибуну и, отыскивая свои места, уселись, Толя был слегка ошеломлен реальной огромностью густо заполненной лужниковской арены. Стемнело. Включили прожектора. «И освещен прямоугольный поля, как поле билиардного стола».

Преимущество наших было подавляющее, но забili они в первом тайме только один гол.

— Ну как? — спросил меня Толя в перерыве, глубоко затягиваясь.

— По игре должны были закатить еще два,— ответил я.

На футболе незнакомые люди общаются, обмениваясь мнениями и репликами, с совершенной естественностью.

— Ну как? — спросил Толю человек, сидевший с другой стороны.

— Что сказать? — произнес Толя веско.— По игре-то ведь еще должны были закатить парочку. Так я понимаю.

— Да-да! — соглашался сосед с пылкостью.

Тем действительно и окончилось.

У них дома обычно бывали одни и те же люди: два-три литератора, крупные медики, партийные работники, авиаторы.

Это те, кто всегда. А еще я встречал у него академиков, генеральных конструкторов. Он не стеснялся приглашать их в свою даже маленькую двухкомнатную квартирку. Они интересовали его, а им было интересно с ним.

Чаще всего он писал на экономические темы, в том числе и тогда, когда говорил, к примеру, о медицине. Главной же привязанностью его жизни была авиация. И последняя его, посмертная, неоконченная статья начинается так: «Как сокращают аппарат? Любой. Ну, скажем, летательный. Способ один: убрать лишнее».

«Убрать лишнее» — главный принцип и в искусстве. Уметь это — признак высокого мастерства. В нынешней литературе это встречается столь редко.

Работа в газете, его статьи и очерки были для Аграновского основным. Но он писал и прозу, и сценарии художественных фильмов. А в документальном кино он считался мэтром,— его приглашали не только с собственными сценариями, но частенько — дотянуть чей-то, помочь, написать дикторский текст.

Он был отчасти артистом, не только, когда брал в руки гитару. Он хорошо рисовал, мастерил всякие поделки: из мягкого песчаника — руку с факелом или подаренную моей жене фигурку из яичных скорлупок, сидящую нога на ногу и читающую книжку с надписью на обложке: Инна Гофф. «Поэтом можешь ты не быть». А сколько он придумывал и конструировал всего для внуки Машеньки!

Он любил иногда сказать что-нибудь подчеркнутую аффектированно или пройти по комнате, что называется, эдаким фертом.

Они оба с Галей были в некотором роде светскими людьми: любили всевозможные премьеры, просмотры, вечера, посиделки. Он оживлялся там, даже преобразался и казался не таким, каким я привык его звать.

Они любили ходить в гости и принимать гостей.

За столом у них бывало весело: рассказывали, ка- ламбурили, острили, но, как правило, не он. Он по- смеивался, похмыкивал, иногда несколько таинст- венно.

Вот я сказал, что он любил повеселиться, рассе- яться. Но, казалось, и тогда что-то не отпускало его.

Он был очень внимателен к друзьям. За послево- енные годы я трижды лежал в больницах, и всегда он меня навещал. Мчался одним из первых. И по- сещал не меня только, разумеется.

(И вот тогда, апрельским утром, когда раздался звонок из Пахры, и Галя сказала, что у Толи подо- зревают инфаркт, в голове у меня мелькнуло: ну, инфаркт, ничего, выберется. Переведут из реанима- ции в палату, я приду к нему... Мелькнуло, на миг, а потом уже было не до этого.)

Он многим помогал в жизни, в том числе живу- щим в нашем доме: Власенковым, Фадеевой. Люди ценили это, уважали и уважают его...

Да, так вот опять о другом, о другом его таланте.

Он пел под гитару. Что он пел? Сперва чужое: песни Булата, Анчарова, старинные романсы, всяче- ского стилизацию. Они лихо пели с Галей на два голоса, он кивал ей в нужных местах: «Галка, да- вай!» С годами, когда иногда он пробовал вспо- мнить что-то старое и сбивался, она подсказывала ему слова. Оба сына, Алеша и Антон (у того и у другого в детстве была во дворе кличка «Агроном»), когда подросли, тоже играли на гитарах,— здорово, лучше, чем отец,— помогали, аккомпанировали ему. Гитары у всех троих были настоящие, старые, кажет- ся, краснощековские.

А потом он начал исполнять свое. Сочинял музы- ку на отысканные или приглянувшиеся стихи. И так же, как над статьями, работал долго, упорно.

Он пел песни и романсы на стихи Твардовского, Пастернака, Ахматовой. Пел Кедрина, непесенного Слуцкого (чем особенно был горд), Межирова, Са- мойлова, Тарковского.

Кайсын Кулиев, учившийся вместе с Толей на Высших литературных курсах, и не подозревал об этих его занятиях и, помню, восхитился через много лет, в Дубултах.

Пел Анатолий Аграновский и мое. А нашу, совме- стную с Инной, песенку «Пока ты рос, восил мат- роску» Сергей Орлов услышал на Беломор-канале и потом не хотел поверить, что она наша.

Толя обижался, если я отдавал стихи—после не- го! — профессиональным композиторам,— бывали и такие случаи. Обижался не вполне всерьез, конечно, но из своего репертуара песню исключал.

Одно время он пел мою песенку «Пожелай уда- чи!»:

Отплываю завтра я.
Что ж, не первый случай.
Ты, хорошая моя,
Зря себя не мучай.

Я вблизи тебя люблю,
А вдали тем паче.
На прощанье кораблю
Пожелай удачи

Там повсюду снег да лед...

и так далее.

Он очень душевно ее пел.

Это было в пятьдесят девятом году.

Вскоре я напечатал это стихотворение в «Правде». А затем вдруг, через месяц с небольшим, получил следующую радиограмму:

«Москва Воровского Союз писателей поэту Кон-

стантину Ваншенкину — 28 ноября ДЭ Обь направ- ляющемуся Антарктиду вечере самодеятельности свя- зи прохождением экватора впервые была исполнена ваша песенка Пожелай удачи мелодия моя тчк Успех объясняю прежде всего вашим искренним текстом близким каждому участнику экспедиции привет южного полушария — Кричак — ».

Согласитесь, приятно. Кто этот Кричак? Ясно, один из ученых, зимовщиков. Интересно с ним будет потом встретиться. (Его хорошо знал Юхан Смуул, ходил с ним в предыдущую экспедицию, после кото- рой написал «Ледовую книгу». Он с ходу назвал мне несколько других его песен — «Антарктический вальс», «Белый айсберг»,— Кричак был там признан- ным бардом.) Я послал на борт Дизель-электрохода ответную телеграмму с пожеланием удачи и сказал Толе: — Слушай, у тебя появился конкурент...

А потом было напечатано сообщение о трагиче- ской гибели в Антарктиде нескольких наших зимов- щиков. В том числе Оскара Кричака. Не только я, но и Толя принял это близко к сердцу. По его инициа- тиве появилась в «Известиях» статья об этой исто- рии.

А я с тех пор печатаю эти стихи с посвящением: «Памяти Оскара Кричака». Потом их положил на музыку Э. Колмановский, песня довольно часто исполнялась, была записана на пластинку. Кончалась она так:

Светят звезды в вышине.
Ветер. Ветки гнутся.
Предстоит уехать мне,
Предстоит вернуться.

Предстоит еще решить
Разные задачи.
Предстоит на свете жить.
Пожелай удачи!

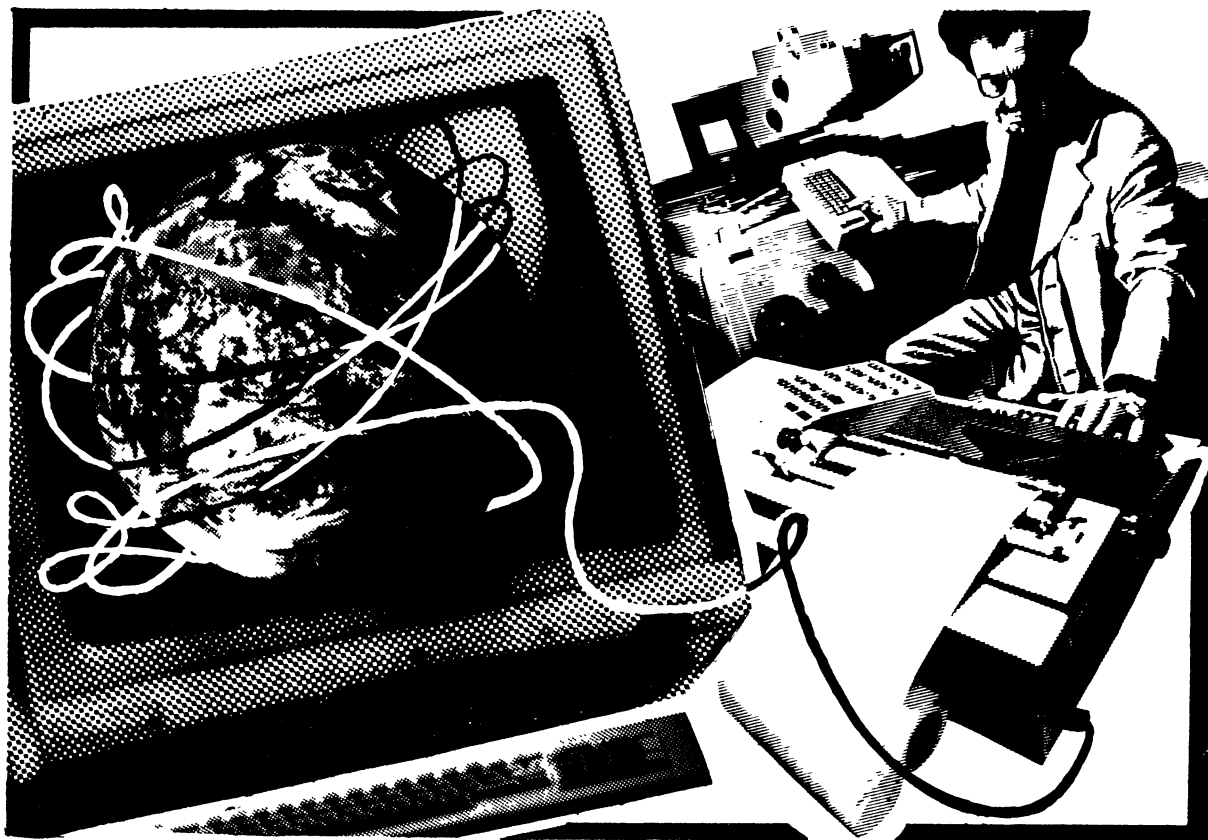
Так и звучит в ушах хриловатый Толин голос...

Когда я стоял у его гроба, а потом сидел у них дома, я думал и о том, что сыновья его уже взрос- лые мужчины, что новости потрясены горем, как родные его дочери.

Вижу его за машинкой, с папиросой в углу рта, на диване, с книгой, в разговорах, у нас или у них, за- просто, на кухне, сначала вчетвером, а впоследствии и с подключением ставших взрослыми детей. В раз- говорах— о чем? Как ответить? О жизни, вероятно.

Принято считать, что напечатанное в газете рабо- тает один день,— ведь назавтра выходит следующий номер.

С ним не так. Тому, что сделал он,— предсто- ит на свете жить. А нам предстоит его пом- нить, о нем думать.



ИНГА
АГЛИЦКАЯ

«СПАСИБО, КОЛЛЕГА!»

Рисунок А. Остроменецкого

Все-таки самое большое впечатление производят на человечество открытия, связанные с преодолением времени и пространства: телеграф, телефон, «самобеглая коляска», космическая ракета.

Мы любим, чтобы чудо по возможности совершалось на глазах, а мы чтобы могли запускать его, и желательно «с кнопки». Мы упиваемся мечтой о передаче мыслей на расстояние (а что есть телефон?) и грезим о нуль-транспортёрках (а что есть поющая и цветная во весь экран в нашей комнате Елена Образцова — образ? А эффект присутствия?).

Самое уникальное до нынешнего дня изобретение, помогающее преодолеть и пространство и время, — это письменность. Говоря менее эмоционально и более научно, письменность — это просто один из способов передачи информации, причем самый примитивный по оперативности и надежности хранения. А нам хочется чуда.

Нам хочется, чтобы письмо от любимой девушки, которое упало в наш почтовый ящик через час после того, как мы внезапно улетели в длительную командировку, нашло и согрело нас в том далеке своим теплом. Нам хочется, чтобы об удаче коллеги-физика из Праги, получившего вдруг результат, к которому идем параллельными путями, мы узнали,

наоборот, не из письма, не из телефонного разговора (все формулы не прокричишь) и уж, конечно, не из монографии, которая когда еще выйдет. И чтобы, сидя на конференции и слушая иной скучный доклад, не досадовать, что вот готовились, оформлялись, приехали, а теперь теряем время, которое лучше бы потратить на работу или в крайнем случае на другой одновременно проходящий симпозиум: может быть, там что-нибудь более существенное — кто же мог знать заранее?.. Нам хочется чуда...

И чудо, конечно, будет. Кто же придет здесь на помощь? На этот вопрос не сегодня-завтра сможет ответить каждый школьник: конечно, компьютер! И не только новомодный персональный, но и добрый старина Большой Компьютер, носящий часто еще почетное звание Центральной ЭВМ. Его приоритет в области обработки и хранения огромных массивов информации неоспорим. Он открывает доступ в свои «закрома» все большому числу потребителей информации — так называемых пользователей. Что же стоит ему связывать этих пользователей в оперативном режиме не только с базами всяческих данных, но и между собой? Да ничего не стоит. И примеров тому много.

Самый удачный пример для нашего разговора — это телеконференция. Дело молодое и для молодых «горячих» наук самое подходящее.

Телеконференции (ТК) никакого отношения к телевидению не имеют (хотя стереотип ассоциации в данном случае срабатывает немедленно); их правильнее было бы называть компьютерными конференциями, но термин уже родился, распространился и к тому же семантически имеет полное право на существование.

Итак, есть современный компьютер стандартной конфигурации: процессор, оперативная память, внешняя память (на магнитных дисках и лентах), устройства ввода-вывода, каналы ЭВМ. Чтобы он стал базовым компьютером телеконференции, никаких качественных изменений не требуется. Нужны лишь определенные, вполне характерные для современных ЭВМ объемы оперативной и дисковой памяти и достаточно обширная сеть удаленной периферии — устройств ввода-вывода, каждое из которых, как правило, состоит из дисплейного терминала с клавиатурой и принтера для вывода текста на печать. Такие терминалы подключаются к ЭВМ по обыкновенным телефонным каналам. То есть для того, чтобы стать участником (абонентом) телеконференции, вы должны быть технически оснащены терминалом и телефонной розеткой. В качестве терминала базовой ЭВМ можно использовать и персональный компьютер, если он имеется в вашем распоряжении. Со своей стороны организаторы конференции должны обладать соответствующим математическим обеспечением для создания и ведения баз данных, а также для того, чтобы с этими базами и друг с другом могли работать в режиме диалога пользователи — участники конференции. Вот и все.

(Конечно, специалисты не могут не заметить, что для популярности картина несколько упрощена. Кроме телефонных каналов и розеток, для работы терминальной сети ЭВМ нужны еще всякие другие хитрые вещи, но это уже, как говорится, дело техники и тех, кто ею владеет.)

Строить работу телеконференций можно по-разному, и разным может быть число конференций, «действующих» на одном базовом компьютере. Все зависит от инициативы организаторов и квалификации программистов. Хотя первые опыты ТК состоялись всего несколько лет назад, сегодня уже навсер-

няка ходят по свету близкие к универсальным пакеты прикладных программ: в компьютерном мире свято место пусто не бывает.

Обычно «джентльменский набор» информационных и коммуникационных услуг, предоставляемых участнику ТК, сводится к следующему. Абонент имеет доступ к информации (статьям, сообщениям, библиографии) по каждой проблеме любой телеконференции из объявленных в «меню» — списке, который в начале работы высвечивается на экране его дисплея. Он задает режим дальнейшей работы с нужной информацией: просто чтение с экрана, «с листанием страниц», или чтение с последующей распечаткой копии текста на принтере абонента, или только вывод на печать указанной статьи с возможностью одновременного использования экрана для других целей — ввода своей информации или чтения иной. Здесь компьютер скромно выполняет функции сверхоперативного библиотекаря, и функции эти для него не новы. Разве что свежесть информации — предмет престижа и показатель оперативности организаторов — отличает базу данных телеконференции: чем более интересных и видных ученых с переднего края науки удастся привлечь к участию в ТК, тем более актуальная информация оказывается в базе, привлекая все более интересных абонентов.

Компьютер предоставляет абоненту услуги «электронной почты». Всякий раз, подключаясь к нему, вы получаете прежде всего список всех новостей и личных посланий, которые накопились для вас в его памяти со времени предыдущего сеанса связи. Это письма ваших коллег, абонированных в той же телеконференции, и новые сообщения по проблемам всех телеконференций, в которых вы участвуете. А чтобы стать участником конференции, необходимо лишь набрать на клавиатуре дисплея ее название согласно «Списку конференций». Компьютер сообщает: «Вы не являетесь участником конференции. Хотите ли вы им стать? Да? Нет? Может быть?» Остается лишь набрать «Да», и загорается запись: «Вы — участник конференции «Биоконверсия природных ресурсов» (или «Японские компьютеры пятого поколения», или «Опыт работы в компьютерных конференциях», или «Английский язык» — разносторонность тематики ничем не ограничена: был бы материал и интерес), и далее сообщается, сколько для вас имеется в ней непрочитанных сообщений, хотя и так ясно, что все.

Кстати, система постоянно подсказываемых ответов и предугадываемых желаний не только создает у абонента ощущение комфорта, не только помогает ему правильно распорядиться своим временем, но и упрощает общение с компьютером — вам не надо хранить в своей памяти те, пусть даже простые слова, которые компьютер воспринимает как ваши приказы: они сами высвечиваются в нужный момент и в полном наборе возможных вариантов.

Но вернемся к услугам «электронной почты». Они существуют не только в системах телеконференций, но здесь дают возможность получать, словно свежие газеты, новости «с передовой», прочитать на экране введенное для вас в память ЭВМ — как брошенное в почтовый ящик — письмо, час назад письмо коллеги с другого континента, а потом распечатать его копию и взять с собой, чтобы на досуге подумать над формулами или немедленно послать ответ, если возникло неожиданное решение.

Компьютер предоставляет абоненту услуги междугородной, международной и даже межконтинентальной телефонной связи, «безголосой», но зато с памятью (записью «разговоров») и возможностью одновременно общаться с несколькими (или всеми) абонентами. В начале сеанса связи с базовым компьюте-

ром вы, может быть, не обратили внимания, что после списка не прочитанных вами сообщений, статей и писем появилась строчка: «Одновременно с вами сейчас в телесистеме работают еще 7 человек». Вы увлеклись тогда чтением интересного сообщения по вашей проблеме, и вдруг возник неотложный вопрос к ее автору. Вы вспоминаете еще об одной чудесной возможности и, погасив экран, набираете на нем всего одно слово: «Кто?» — получаете список всех участников конференции, работающих в настоящий момент параллельно с вами. Если искомый абонент значится в списке, то ваше сообщение, адресованное ему, будет ему предложено в первый же момент возобновления его диалога с компьютером. А дальше он при желании может просто вступить в прямой диалог с вами, что, по-видимому, и сделает.

Абонент, как мы уже знаем, может состоять участником нескольких конференций в одной телесистеме и периодически или эпизодически в них работать в любом из описанных выше режимов. Основная часть его работы будет проходить в так называемой асинхронной фазе ТК, когда каждый из абонентов независимо подкачается к системе в удобный для себя день, час, минуту.

Но время от времени планируется, тщательно организуется и обеспечивается синхронная фаза работы какой-либо конференции. И тогда все происходит почти так, как при организации обычной, например, международной конференции: солидные устроители, оргкомитет, подготовительный период... Телесистема выступает просто как средство в общем движении к высоким научным целям. Но раз прибегнув к этому средству, трудно от него отказаться — настолько оно удобно и надежно. Еще бы: для проведения телеконференции не нужно выбирать удобное для всех время и место, так как никому никуда не придется отлучаться.

Итак, минус расходы на аренду помещений, культурную программу и прочее — для организаторов; на поездку, проживание в отеле и прочее — для участников. Плюс возможность переключаться с общего, в конференции, на частное, в своей работе, собрать в часы работы конференции вокруг себя у терминала коллег и аспирантов, распечатать самые интересные сообщения, обсудить их вместе и сообщая сделать выводы, или, заметив неточности, «с места» направить замечание докладчику, или прервать просмотр неинтересного доклада и пригласить для «кулуарного» обсуждения автора интересного.

Важно отметить, что и подготовительный период конференции проходит в телесистеме. Не отлучаясь от своих насущных проблем, члены Оргкомитета символическижимают друг другу руки порой за тысячи километров, проводя свои заседания. Но разве теплота общения и успех дела от этого страдают? Нисколько!

Впервые советские ученые участвовали в телеконференции, организованной по инициативе ООН (посредством ЮНЕСКО и других специализированных учреждений) Европейским отделением Всемирной академии наук и искусств и Международной федерацией институтов по перспективным исследованиям (ИФИАС) в 1983 году.

Среди основных целей проведения Всемирной конференции, безусловно, были и демонстрация реальных возможностей компьютерных конференций и выявление научно-организационных и технических проблем их проведения. Тему же для Всемирной ТК решено было выбрать такую, которая представляет большой научный и практический интерес для всех стран и может обеспечить максимальное число участников.

И тут, естественно, взоры обратились на биотехнологию — науку молодую, пышущую энтузиазмом и подающую фантастические надежды на завтрашнее всеобщее благоденствие. Поток новостей в ней лавинообразен, а каждый камешек этой лавины может оказаться драгоценным. Итак, биотехнология и биотехнология!

В организацию конференции включился Центр ООН по микробиологическим исследованиям в Стокгольме совместно с 21-й международной организацией, среди которых Международный совет научных союзов, Международная организация по биотехнологии и биоинженерии, Международный союз микробиологических обществ, Международная организация по клеточным исследованиям и другие. Всемирная телеконференция была названа «Биоконверсия лигноцеллюлозы для получения топлива, пищевых продуктов и кормов». Актуальность этой темы вряд ли нуждается в комментариях.

Базовой телесистемой для проведения конференции была определена шведская система «КОМ», уже опробованная к тому времени в работе около 160 постоянно действующих в ней ТК, из которых, правда, 120 посвящены проблемам компьютерным. Надо сказать, что и Всемирной телеконференции по биоконверсии предшествовала международная компьютерная конференция «Планирование телеконференции по биоконверсии»; в ней принимали участие лишь члены программного комитета основной конференции и другие организаторы.

С советской стороны для участия во Всемирной телеконференции была сформирована группа из 12 человек. Возглавил группу заведующий лабораторией углеводов Института биохимии имени А. Н. Баха, лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола доктор химических наук, профессор А. А. Клесов.

В кабинете Анатолия Алексеевича Клесова, где все стены, как водится, в стеллажах для книг и папок, мое внимание привлекли несколько папок нарастающей толщины с поставленными красным фломастером годами на корешках — от 1975-го. Профессор проследил за моим взглядом и подтвердил предположение: в этих папках — оттиски всех интересующих Клесова и его сотрудников публикаций по проблемам биоконверсии целлюлозы, которые удалось получить из доступных источников.

— А вот в этой папке, — он показал на равную по толщине 1983 году, — все, что было до 1975-го. Так что на примере своей науки мы можем наглядно продемонстрировать один из парадоксов нашего времени: локальный информационный голод на фоне глобального информационного взрыва. Очень высоко ценится у нас оперативность получения информации: ведь отсутствие в нужный момент нужной информации может отнять впустую и время ученых, и силы, и деньги, затраченные на эксперимент. А нам дорог каждый день, приближающий к цели, ибо результат процесса биоконверсии целлюлозы (которой на земном шаре образуется от 100 до 700 миллиардов тонн в год) — это освобожденная глюкоза. А глюкоза — это та черепашка, на которой стоят три кита, поддерживающие наше существование: пища, энергия и медицина. Про пищу ясно. Энергия — это спирт, этанол, являющийся прекрасным топливом, которое уже сейчас, добавляемое в бензобаки в ряде стран, экономит пятую часть бензина, попутно решая экологические проблемы, так как при сгорании образует лишь воду и углекислый газ. А в медицине глюкоза является основой при производстве многих антибиотиков. Так что от нас ждут скорейших резуль-

татов. И вот представляете, мы получаем, в подтверждение состоятельности и живучести нашей технологии, 20 килограммов чистой глюкозы из целлюлозо-содержащих отходов (!). Это — серьезное достижение, и мы делаем о нем сообщение на конференции в Чехословакии в апреле 1983 года. На наше сообщение немедленно реагирует, публикуя его, сверхоперативное и супердорогое американское издание «Newswatch», выходящее нерегламентируемым объемом, порой в несколько листочков, содержащих самые свежие сливки научной информации. Число подписчиков этого элитарного издания очень мало в силу его дороговизны, и лишь незначительной частью пересекается с множеством наших коллег в мире... А в ходе телеконференции любая сенсация немедленно может стать достоянием каждого члена «семьи биотехнологов и биохимиков», так как в среднем абонент подключается к телесистеме 1—2 раза в день.

— Откровенно говоря, — улыбается профессор, — нас интересуют не только зарубежные сенсации. Хорошо, например, что коллеги из Киргизии, работающие в смежной области науки и знающие о насущной нашей проблеме получения термостабильного фермента-целлюлозы, вдруг позвонили и сообщили нам, что такой фермент случайно обнаружен ими... в желудке коровы одной из распространённых пород. Спасибо им за проявление коллегиальности и доброй воли, они нам очень помогли, очень! Но если бы у нас в стране была постоянно действующая телеконференция, я в критический момент рискнул бы обратиться ко всем (ко всем!) ее участникам с вопросом: «Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает о...» — и таким образом сильно уменьшил бы свою зависимость от слепого случая.

К сожалению, научные компьютерные конференции в нашей стране пока не проводятся. Однако у советских ученых имеется первый позитивный опыт в организации в сентябре 1984 года международной конференции «Стохастическая оптимизация» (Институт кибернетики Академии наук УССР, г. Киев) с помощью компьютерной связи с Международным институтом прикладного системного анализа (ИИАСА, г. Лаксенбург, Австрия).

Академия наук СССР является активным членом этого института — образованной в 1972 году по инициативе СССР и США неправительственной научной организации, в работе которой участвуют 16 государств, представленных авторитетнейшими национальными научными учреждениями.

Комитет Академии наук СССР по системному анализу координирует деятельность свыше 100 советских научных организаций, участвующих в работах ИИАСА. В его состав входят такие видные ученые, как вице-президенты академии Е. П. Велихов, Ю. А. Овчинников, А. Л. Яншин, Главный научный секретарь Президиума академии Г. К. Скрыбин, директор Института США и Канады академик Г. А. Арбатов, президент ВАСХНИЛ академик А. А. Никонов, председатель Госкомгидромета СССР член-корреспондент АН СССР Ю. А. Изразль и другие. Председатель комитета академик Д. М. Гвишиани является председателем Совета и Исполкома ИИАСА.

Основной целью ИИАСА, сформулированной в его уставе, являются инициирование, поддержка и проведение научных исследований по глобальным проблемам современного общества, вытекающим из научно-го и экономического развития.

За годы своего существования ИИАСА выполнил ряд крупномасштабных проектов методологического и прикладного характера, объединяя при разработке

методы точных и гуманитарных наук, провел свыше 300 международных конференций и семинаров, опубликовал 54 монографии и свыше 2000 других работ.

Такое объединение ученых разных стран в активный «научный интернационал» для решения глобальных проблем человечества естественно и с философской и с нравственной точки зрения. В юбилейном докладе по случаю 10-летия ИИАСА Джермен Михайлович Гвишиани привел слова, которые еще в 90-е годы прошлого столетия завес в свою записную книжку Антон Павлович Чехов: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения». Существующие национальные научные школы в обмен опытом и совместном поиске решений, безусловно, и обогащают друг друга и сообщая более действенно способствуют прогрессу.

Советские ученые успешно сотрудничают в ИИАСА, вносят существенный вклад в разработки его проектов и проведение исследований. Вычислительный центр АН СССР и Ставропольский институт сельского хозяйства разработали модель системы ведения сельского хозяйства Ставропольского края. Эта модель, а также работы ИИАСА по созданию глобальной системы взаимосвязанных сельскохозяйственных моделей получили высокую оценку президента ВАСХНИЛ академика А. А. Никонова.

ИИАСА явился стимулятором и организатором связи «Восток — Запад» с помощью сетей ЭВМ. И теперь материалами ведущих информационных центров СССР могут пользоваться зарубежные ученые. Созданные телекоммуникации дают возможность взаимного обмена информацией между советскими и зарубежными институтами и помогают совместному осмыслению и решению общих научных проблем.

Как видим, перспективы рождения истины в межконтинентальных научных спорах вполне реальны. Реальны и перспективы «компьютерного общения» внутри страны. И, уповая на завтра-послезавтра, когда войдет в строй, например, академсеть, можно пока работать, как говорят программисты, «в режиме ожидания», чтобы уж потом... Можно.

Но можно, не упуская из виду завтрашнего журавля в небе, создать, скажем так, временную синицу на базе сегодняшних реальных возможностей. Особенно если это необходимо для задач, требующих безотлагательного решения. А такие задачи есть. И к ним, безусловно, относится проблема наведения коммуникационного моста между наукой и практикой. Значение ее трудно переоценить. Потому что результатом должно быть ускорение выпуска и повышение качества промышленной продукции.

У Всесоюзного научно-технического информационного центра Государственного комитета по науке и технике (ВНТИЦ), как говорится, дел хватает. Ежедневно сюда поступает свыше 50 тысяч страниц документации по вновь начинаемым, ведущимся и законченным научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, защищенным кандидатским и докторским диссертациям, а также программам, средствам, включаемым в центральный фонд алгоритмов и программ. Всю эту массу информации нужно зарегистрировать, систематизированно накапливать и хранить, а главное, обеспечить ею пользователей, число которых растет.

Сезам научно-технической информации оснащен самой современной техникой для копирования, размножения, микрофильмирования материалов и по «информообороту» (позволим себе неологизм) вполне мог бы претендовать на статус производственного предприятия.

Однако нужно быть на современном уровне прогресса, решили руководители ВНТИЦ. И появилась у пользователей еще одна, сказочная, возможность войти в сезам, чтобы получить желаемое, задуманное, а порой даже «то, не знаю, что», которое, оказывается, уже существует и способно избавить от лишних хлопот. А для реализации сказочной возможности нужно, как и положено в сказке, всего лишь сказать заветное слово, точнее — набрать ключевое слово, обозначающее вашу проблему, на клавиатуре одного из 60 интеллектуальных терминалов. Такие терминалы установлены в территориальных Центрах научно-технической информации (то есть в каждом крупном областном промышленном центре). Сотые доли секунды терминал поразмыслит над этим словом, порежется в своей памяти (на то он и интеллектуальный) и, если ваша проблема покажется ему «неглупой», сформирует и направит запрос к одному из банков данных в Центральную ЭВМ. Краткое описание искомой разработки или программы появится на экране, и, ознакомившись с ним, вы можете через терминал запросить копию основной документации, чтобы, обсудив тонкости с коллегами и руководством, поскорее приступить к внедрению.

В самой возможности теледоступа к банкам данных здесь, конечно, нет ничего нового. Но воодушевляет то, что с июня 1984 года первая очередь автоматизированной системы информации по науке и технике бесперебойно обслуживает своих пользователей. Работает! Передача данных идет по низкоскоростным, но надежным каналам (та самая синица в руках). Зато к концу 1986 года около 1500 организаций-пользователей ВНТИЦ получат доступ к банку патентной информации научно-производственного объединения «Поиск», а затем и к волгоградскому банку передового производственного опыта. Образуется сеть из трех автоматизированных центров научно-технической информации. Это значит, что в течение минут одного сеанса связи можно получить информацию по своей проблеме из всех централизованных источников, где она может быть. Вот как здорово!

Но прежде чем воскликнуть: «И никаких проблем!» — надо осознать одну, весьма важную: потребность в оперативной информации о новостях науки и техники должна войти в плоть и кровь производства. В науке эта потребность очевидна. А в промышленности пока нет. И не только потому, что порой косны или ленивы руководители предприятий, главные инженеры, конструкторы и технологи. Материально-техническая база этих предприятий не всегда готова к быстрому внедрению желанных новинок — вернее, почти всегда не готова. Какая же разница, получим мы информацию в течение минут или недель, если перестраиваться нам под облюбованное усовершенствование придется месяцы, а то и годы.

(А вообще-то, конечно, «если бы директором была я...», вопрос «разработать или применить» я всегда решала бы в пользу применения готовой разработки: зачем изобретать велосипед, когда на нем где-то уже ездят...)

В поэзии достаточно предположить: «...Если звезды зажигают, — значит — это кому-нибудь нужно?» На практике это надо доказать и обеспечить. Иначе звездные мегаватты уйдут впустую.

Так что же, преждевременны усилия науки? И нужно ждать, когда забьют ключом потребности производства? Нет, ждать, пожалуй, не стоит. Да и не придется долго ждать, если помочь производству осознать свои потребности, предлагая новые возможности и прививая к ним вкус.

Директор ВНТИЦ, доктор физико-математических наук, профессор В. Г. Золотухин, и его заместитель, доктор технических наук А. В. Бутрименко, готовы хоть сейчас вести связь между авторами и потребителями в режиме, сходном с телеконференциями. Есть и технические возможности и конкретные технологические решения: на каждую разработку заводится анкета-досье, в которую пользователи вносят свои замечания, претензии, возникшие в ходе внедрения конкретной научной идеи или адаптации программы на ЭВМ. А если вписать в анкету еще и найденный путь преодоления препятствия (возможность возникновения которого не предусмотрел разработчик), — это же неоценимая услуга и автору и другим потребителям. Да тут и обмен мнениями возникает. Замечательно!

Но хотят ли этого те, кому такую возможность предложат? Потребители — безусловно: они деньги заплатили, им нужно, чтобы «эта штука» работала. А авторы? Вряд ли: деньги за разработку они получили, теперь с удовольствием получают за собственно-ручное внедрение — зачем же им делиться секретами через беспристрастный компьютер, да еще тиражировать свои откровения на весь свет?

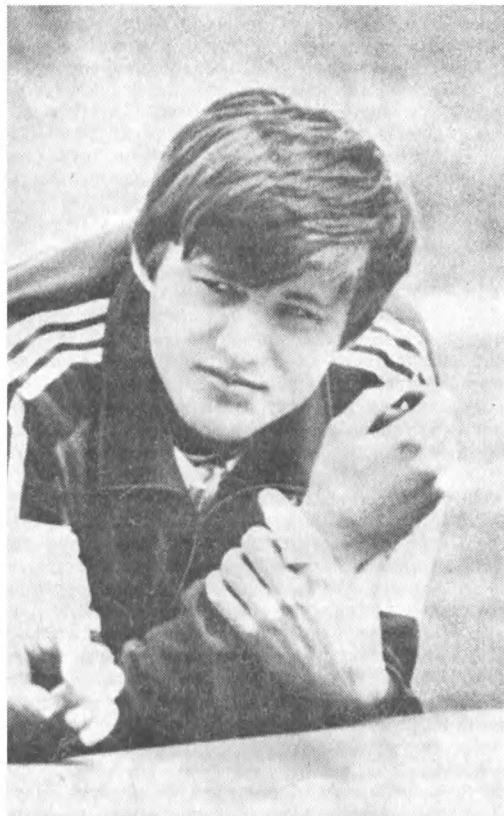
Ну что ж, сегодня не хотят делиться — завтра придется. Чьи-то сформировавшиеся потребности заставят их и работать по способностям и получать по труду.

Уже сегодня у министерств и ведомств, у Академии наук есть возможность получать во ВНТИЦ статистику обращений к научной продукции своих авторов. Это позволяет делать выводы об эффективности разработок. А выводы должны повлечь за собой оперативные меры стимулирования передовых и воздействия на отстающих. Сервис обратной связи, таким образом, дает мощный рычаг повышения ответственности разработчиков за свое дело. Этот рычаг, правда, еще не в полной мере используется — что ж, дайте срок привыкнуть к новым возможностям. Но прецедент формирования потребностей создан — это главное!

— Видите ли, — говорит Валерий Григорьевич Золотухин, — чтобы информация «превратилась в материю», необходимо сочетание множества факторов: организационных, экономических, научных. Мы реализуем с помощью ЭВМ только один аспект решения проблемы — сбор и распространение научно-технической информации. И стараемся делать это на уровне, обеспечивающем сегодняшние и в значительной мере завтрашние потребности науки и производства в оперативности и полноте данных.

Я знаю, что сегодня существуют и компьютерные системы, облегчающие труд редакторов различных изданий, что для журналистов созданы специальные информационные банки, обращение к которым позволяет, вероятно, писать репортажи, «не вставая из-за стола». Но хотелось бы верить, что эта область деятельности дольше других сохранит за собой прерогативу живого человеческого общения.

Вот и сейчас мне хочется напомнить, что, набирая на клавиатуре дисплея слова «Спасибо, коллега!» и отправляя их тому, кто издали помог советом, поделился идеей и опытом, вы адресуете свою благодарность и новому, активно действующему лицу в мире общения — компьютеру, а значит, — людям, производящим и умело применяющим его для наших сегодняшних и завтрашних нужд.



ГЕННАДИЙ ШВЕЦ КТО ПЕРЕПРЫГНЕТ ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА?

На снимках:
рекордсмен мира Игорь Паклин (слева)
и экс-рекордсмен Рудольф Поварницын.

Помню, лет двадцать назад кто-то из моих друзей предложил: «А теперь давайте прыгаем через футбольные ворота». Мы посмеялись — такой прыжок казался возможным тогда разве что на Луне... А весной 1978 года я приехал в Ялту повидать Владимира Ященко — он только что возвратился из Милана с зимнего чемпионата Европы, где взял высоту 2 метра 35 сантиметров! И на ялтинском стадионе Ященко, выполняя тренерское задание, запрыгивал на перекладину футбольных ворот как на планку.

В конце прошлого лета киевлянин Рудольф Поварницын перепрыгнул 2 метра 40 сантиметров. Через полмесяца Игорь Паклин, студент из Фрунзе, прибавил к этому мировому рекорду еще 1 сантиметр. До «покорения» футбольных ворот осталось совсем немного: высота их верхней кромки — 2 метра 56 сантиметров.

Прыжки в высоту таят благодатную символику, обратиться к которой всегда соблазнительно. Вот, например, читаю книгу Людмилы Гурченко «Аплодисменты» и нахожу такие строчки: «Чтобы сделать рекордный прыжок в высоту, нужно знать, на какой отметке планка стояла до тебя. Варишься в собственном соку, прыгаешь, прыгаешь, а его уже давно, оказывается, установили и забыли. Вот и радуешься, как говорится, «для дома с оркестром».

Мне повезло. Еще мальчишкой я вблизи видел прыжок

на 228 — то был завершающий мировой рекорд Брумея. Я был на тбилисском стадионе «Динамо» в те минуты, когда мировой рекорд установил Яценко — 234 сантиметра. В 1980-м видел в Лужниках, как Герд Вессиг взял 236. Игоря Паклина я видел на стадионе в японском городе Кобэ, на Всемирной универсиаде, когда он перепрыгнул 241. И вот, считая себя знатоком прыжков в высоту, часто рассуждая о достоинствах того или иного высотника, я в течение месяца полностью разуверился в этой своей осведомленности, в том, что могу объяснить события в прыжковом секторе. Если бы мне в начале августа 1985 года предложили со ста попыток угадать имя очередного рекордсмена мира, я бы не угадал. Если бы мне в конце августа дали шанс отыграться, дали еще сто попыток, чтобы я восстановил свой престиж знатока, — я бы опять опростоволосился.

Одним прыжком Рудольф Поварницын установил два мировых рекорда! Никакой ошибки в этих словах нет. На стадионе в Донецке 11 августа он прибавил один сантиметр к рекорду китайца Чжу Цзяньхуа — это один мировой рекорд. Второй — Рудольф на 14 сантиметров улучшил свое личное достижение. Таких показателей прогресса история легкой атлетики не знала. Честно говоря, если бы кто-либо из хорошо известных лидеров — Чжу Цзяньхуа, Карло Трейнхардт, Дитмар Мегенбург, Валерий Середа, Патрик Шеберг, Геннадий Авдеев — перемахнул футбольные ворота, изумление знатоков было бы меньше. А между прочим, если названные спортсмены прибавят к личным рекордам по 14 сантиметров, то они в общем-то проскользнут над поперечной футбольных ворот, разве что чуть задев ее.

Когда в цирке наблюдаешь иллюзион «летающая женщина», то поражаешься, замираешь. Но даже и не пытаешься понять секрет, зная, что он за семью печатями, что это все-таки вечный обман этого искусства. В спорте надо разгадывать, объяснять феномены, ибо они всамделишные. Ничего не спрятано под турнирной ареной. Никакие зеркала не рассеивают зрительское внимание. Нет на секторах стадиона хитроумно расставленных ширм. Делай разбег — и лети. Полет Поварницына на 240 видели не многие. Говорят, что снимал его всего лишь один фотокорреспондент. Зато через неделю, когда Рудольф приехал зрителем на Кубок Европы в Лужники, на него были израсходованы километры фотопленки. Красивый, стройный парень ростом 201 сантиметр. Двигается уверенно, не смущаясь вниманием представителей массовой информации. Я наблюдал за ним со стороны, задавал себе вопрос: «Почему именно он?» Внешне, по-научному говоря, антропоморфические данные завидные, легкие, как страус — словно бы не шагает по ступеням лужниковских трибун, а парит. А что у него внутри, какая там скрыта энергия? И все же я спрашивал себя, верю или не верю в его рекорд. И вдруг поверил. Вот в какой момент. На скамьях для почетных гостей и участников не было свободных мест. И тогда Рудольф вспрыгнул на металлический поручень, разделяющий два яруса трибун. Положение его было весьма невыгодным — у всех на виду. А ведь спортсмену уже достаточно досадили фотокорреспонденты и любители автографов, он уже понял, что от них надо прятаться. Может, все-таки решил покрасоваться? Нет, ни тени тщеславия на лице. Просто нет свободных мест, и он облюбовал себе высокую жердочку. Я разыскал тренера мирового рекордсмена Владимира Кибу. Кибя еще недавно сам прыгал, выступал за сборную СССР. Я знаю его лет пятнадцать, когда-то мы вместе прыгали, но он младше меня, и в свое время мои 2,05 были для него еще непродвинутым этапом. Помню, как первый раз увидел этого высокого сим-

патичного паренька на юношеских соревнованиях в Одессе, в спортивном зале на улице Пушкинской: Кибя потратил две попытки на высоту 175 сантиметров, пропустил следующую высоту и, имея в запасе всего один прыжок, установил личный рекорд — 185. При этом с его лица не сходила хитрая усмешка игрока. Он и после, добившись результатов мирового класса, отличался турнирной авантюристкой, рискованностью, что-нибудь всегда выдумывал. Например, соединил в своем прыжке два взаимоисключающих стиля: разбег делал по дуге, как при прыжке способом «фосбери», а планку переходил классическим «перекидным».

— Почему Поварницын не испугался? — спросил я у Кибя. — Можно быть готовым к личному рекорду, к высокому прыжку. Но цифра 240 — это гири, привязанные к ногам.

Цифры на табло пугают прыгунов. Один мой приятель установил личный рекорд на матче с американцами в США. Объяснял этот успех так: «Высота объявлялась в футах и дюймах, а я потерял листок, на котором давался перевод в метрическую систему».

— Рудольф — нерасчетливый человек, — ответил мне Кибя. — Для него цифры ничего не значат. У него есть своя шкала отсчета. Он, как человек искусства, прыгает по вдохновению.

Старший тренер сборной СССР по прыжкам Роберт Зотько подобных прыгунов так и называет — «артисты». «Артисты» великолепно чувствуют себя на публике, зажигаются ее благосклонным вниманием, демонстрируют эффектные трюки, жестами разговаривают со зрителями, спрашивая их, например, какую следующую высоту заказать. Приоритет здесь принадлежит без сомнения, американцу Дуайту Стоунзу. Он, установив несколько мировых рекордов, умудрился не выиграть ни одного серьезного соревнования и прославился тем, что в прыжковом секторе разыгрывал целые представления — ему аплодировали, но его и освистывали. А вот Яценко всегда был любимцем публики. Его летящий бег по зеленому полю стадиона после рекордного прыжка, его символические объятия, адресованные трибунам, его ритуальное лежание на газоне перед решающей попыткой — это был всегда блистательный бенефис. Олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Ядек Вшолла играл в секторе другую роль — ясный, устремленный вдаль взор, мягкая походка, при которой он словно бы лишь по необходимости касается земли, долгое стояние в начальной точке разбега... Сейчас на подмостках прыжковой арены властвует молодой швед Патрик Шеберг. На зимнем чемпионате Европы в Афинах он заморозил публику уже во время разминки: перепрыгивал высоту 2 метра всеми мыслимыми и немыслимыми способами — ветхозаветными «ножницами», в позе «сидя на стуле»... Говорят, что на коммерческих турнирах иногда он даже зажигает сигарету, сидя на скамеечке в секторе, нарочито курит «в рукав»... И если ему удастся настроить зрителей на свою волну, эта волна вздымает его над высотами; прошлой зимой он, например, сумел перепрыгнуть 239.

Рудольф Поварницын в прыжковом секторе тоже хорошо смотрится, хотя трюков и фокусов себе не позволяет. Есть в нем артистическая жилка. Да и жена его, кстати, артистка балета. После мирового рекорда Поварницын в считанные дни дал и рекордное количество интервью. Вопросы ему задавали разные, но один из них неизменно повторялся: «Когда следующий старт?» Каждого интересовало: удастся ли этому нежданному рекордсмену доказать свой класс? Может быть, его прыжок на 240 лишь случайное стечение обстоятельств... Вскоре Поварницын на соревнованиях среднего ранга, опять же в До-

нецке, взял 230. Что говорить, сомнения оставались. И вот в составе сборной страны Поварницын едет в Токио на матч СССР — США — Япония, начинает соревнования с высоты 215 сантиметров, трижды сбивает планку, толком ни разу даже не взлетев над ней...

История легкой атлетики знает случаи, когда какой-либо спортсмен единственный раз в жизни показывал выдающийся результат, ни до, ни после не приблизившись к этому рубежу. Классический пример: прыжок Роберта Бимова на длину на 8 метров 90 сантиметров. Ближе к нашей теме: 3 июля 1971 года на заштанном турнире в Беркли американец Патрик Матцдорф на один сантиметр превысил мировой рекорд Валерия Брумеля, взял 229 сантиметров. То в общем-то было чудо, хотя бы потому, что Матцдорф «лег» на планку, она прогнулась под ним, потом долго тряслась на стойках, однако устояла. Судьи вполне могли признать попытку неудачной. Но рекорд был утвержден. Матцдорф после этого как в воду канул, его фамилия не появлялась в списках призеров больших соревнований.

...Игорь Паклин преодолел высоту 241 сантиметр на глазах пятидесяти тысяч зрителей, наблюдавших соревнования Универсиады. А миллионы телезрителей хорошо видели, что он пролетел над рекордом с таким запасом, что планку смело можно было поднять в момент прыжка еще на 2—3 сантиметра — она все равно бы не шелохнулась. Через две недели после этого там же, в Японии, на тройственном матче, где потерпел фиаско экс-рекордсмен мира Поварницын, Паклин победил всех с результатом 231 (в 1983 году в канадском городе Эдмонтоне он выиграл с этим результатом предыдущую Универсиаду).

А в Кобэ, на этой Универсиаде, я приехал однажды в «олимпийскую деревню», где жили спортсмены. Сразу окунулся в атмосферу карнавала. Из всех окон звучала музыка. От входных ворот до жилых блоков — около полукилометра. Можно пройти это расстояние пешком, можно преодолеть его на велосипедах, множество которых стояло на полянке. В часы пик, однако, велосипедов не хватало. И спортсмены поступали следующим образом: один садился за руль, второй занимал место на багажнике, причем пассажиры предпочитали ехать стоя. При мне этот трюк закончился столкновением французского и австралийского экипажей, травмами спортсменов. Наши участники предпочитали являть атлетические умения в строгом соответствии с протоколом соревнований. Веселились в меру. Игоря Паклина мне в тот раз разыскать не удалось. Бесполезное дело, сказал кто-то из тренеров, Паклин прячется. Ему было, наверное, труднее всех здесь, на Универсиаде. 24 августа Паклин первым из советских спортсменов вступил на арену соревнований — на торжественном открытии Игр он нес знамя делегации. И должен был последним покидать стадион — четвертого сентября соревнования по прыжкам в высоту завершились Универсиада. Почти две недели томительно го ожидания. Жара под сорок градусов...

Я встретился с ним уже после рекорда. Игорь вел себя так, словно ему только еще предстояло выйти на старт, был сосредоточен и даже несколько печален. Он и после приземления с высоты 241 не ликовал, не падал на колени, не катался в экстазе по траве. Улыбнулся, коротким взмахом руки поблагодарил публику — и все. После соревнования восемь часов ехал в автобусе из Кобэ в Токио, в аэропорт. О чем думал, что переживал в эти первые часы своей всемирной славы? Уснуть не мог. Сиденья в автобусе расположены так, что человеку ростом 191 сантиметр приходится прижимать колени к подбородку. В эти бессонные часы Игорь смирял, гнул

в три погибели и свою гордыню, или, как сам сказал, утихомиривал себя.

Сила характера проверяется как в радости, так и в беде. Шесть лет назад у Игоря случилась травма (не менее серьезная, чем та, которая выбила из седла Владимира Яценко). Почти год боль не позволяла ему даже на сантиметр оторваться от земли. Один известный спортсмен, по его словам, в аналогичной ситуации ежевечерне принимал дозу коньяка — «обезболивающее средство». В тот именно год, будучи повязанным по рукам и ногам травмой, Игорь Паклин делал первый шаг разбега к высоте 241. Он почти отказался от еды — в бездействии спортсмены быстро набирают вес. Он читал книги по медицине, познавал себя.

В спортивной лексике есть термин — «режимщик». Так называют спортсменов, которые умеют сдерживать естественные потребности организма. Самая прозаичная из этих потребностей — жажда. Иногда тренеры во время соревнований и сборов заказывают в гостиницах номер, в котором нет водопроводного крана, и запирают в этом «карцере» водохлебов на ключ. На Универсиаде в Кобэ жажда изводила спортсменов. Я видел, как в кафе «олимпийской деревни» участники загружали сумки банками и пакетами с прохладительными напитками, несли ящиками кока-колу в номера — благо питание бесплатное.

— А тебя жажда не мучила? — спросил я Игоря.

— Нет. Я съedal скибку арбуза, выпивал стакан чаю — и больше мне не требовалось.

Если уж речь зашла о питании, то надо сказать, что Игорь не ест мяса. Это удивительно — большинство спортсменов высокого класса не мыслят себе застолье без увесистого куска вырезки, без громадной отбивной: мол, требуется компенсировать колоссальные энергозатраты, сопряженные с тренировочным процессом. Игорь Паклин предпочитает питаться «травкой», на сборы он привозит пакеты орехов, моркови, прочих овощей. Он говорит: «В организме не должно быть шлаков. Нужно оставаться чистым. Тогда улучшается нервная и мышечная проводимость».

Тренирует Паклина Анатолий Иванович Вогуль. Он любит нетрадиционные формы тренировок. На сутки уходит с учениками в горы, они бродят по крутым тропам, взбираются на перевалы, карабакаются по стенам. Осмыслиют законы покорения высот? Приучаются дышать разреженным воздухом вершин? И тренер, и его ученики воздерживаются от объяснений. Говорят лишь, что горы, жизнь в горах способствуют ясности мышления.

У Вогуля есть своя трактовка, своя версия идеального прыжка в высоту. Этот тренер мало обращает внимания на частности, не заставляет учеников отбатывать, отшлифовывать отдельные элементы движения — создает в их сознании цельный образ прыжка. Считает, что какую-нибудь ошибку можно исправить, не замечая ее, а совершенствуя стиль в целом. Если прыжок будет в своей идее правильным, то ненужное, случайное будет отторгнуто само по себе. А для этого нужно, чтобы вся спортивная жизнь была подчинена единой идее, и без ограничений, без спокойной веры в единственно верную идею не обойтись. Я сказал Игорю: «У тебя нет ярко выраженных сильных качеств. Рост обычный для прыгуна. В скоростных данных ты проигрываешь товарищам по сборной. За счет чего же ты прыгнул выше всех в мире?» Он ответил: «За счет гармонии. Стараюсь органично сочетать все качества и все элементы прыжка».

Мне так хотелось закончить рассказ о мировом рекордсмене по прыжкам в высоту на высокой ноте.

Вчерне этот очерк был готов уже в конце сентября. Но следовало ожидать окончания сезона, который завершался соревнованиями на Кубок мира в Канберре.

В Канберре рекордсмен мира занял четвертое место, взял всего лишь 225.

Так, значит, и он уязвим, нестабилен?

Прыжок в высоту способом «фосбери-флоп» — занятие тонкое. Разбегаясь на большой скорости по крутой дуге, можно не вписаться в поворот, центробежная сила выворачивает стопы прыгуна. В момент отталкивания спортсмен перестает видеть планку, поворачивается к ней спиной — можно потерять ориентацию. Прыгающие способом «перекидной» чаще всего задевают планку коленом или бедром толчковой ноги. А при исполнении «флопа» прыгун может задеть планку затылком, шеей, лопатками, спиной, поясницей, тазом, голеньями, «ахиллами», пятками. Словом, все тело может стать ахиллесовой пятой. Нужно лететь по струне, по струнке. Недавно я спросил у Бориса Робульца, тренирующего чемпиона мира Геннадия Авдеенко, почему Гена не показал в этом сезоне ни одного высокого результата, ведь он превзошел все свои прошлогодние контрольные показатели. Я рискнул сделать замечание опытному тренеру: «Авдеенко во время толчка прижимает руки к груди, а следовательно, округляет спину, а нужно же распахнуться, прогнуться над планкой». Робулец сказал: «Конечно, надо в толчке «раскрываться», пускать маховую руку вперед-вверх, на планку. Но ты же знаешь, какие у Гены «рычаги», какие у него длиннющие руки при его двухметровом росте. Он бросает руку вперед, чуть-чуть не рассчитывает размах — и тело соскальзывает с траектории, отклоняется сначала на миллиметр, в следующую сотую долю секунды — на сантиметр... И вот уже мой Гена летит в стойки, в тартарары. Так что мы связываем себя, как говорится, рукам волю не даем. Гене надо привыкнуться к новой силе, хорошенько ее облетать на средних высотах».

Теперь можно разбираться, почему рекордсмен мира Игорь Паклин плохо прыгнул в Канберре. Мне помог это сделать старший тренер сборной Роберт Зотько. В начале разговора он достал из стола листок — схематический план стадиона, где разыгрывался Кубок мира. Показал кончиком карандаша: «Вот здесь прыжковый сектор. Линия разбега Паклина проходила через беговую дорожку, а начиналась прямо у финишного створа, где постоянно толчея — бегуны, корреспонденты, врачи, судьи. Паклин обычно долго настраивается на прыжок, «уходит» от окружающего мира, ловит струну, ноту, идею. И вот его то и дело просят посторониться, толкают. Для такого прыгуна, как Паклин, — это просто беда. Если первый шаг разбега Игорь сделает чуть-чуть не так, как хотел, — потом уже не выправится. Он решил попросить судей чуть развернуть прыжковую яму — те сначала согласились. Но Патрик Шеберг запротестовал. Не надо бы Игорю вступать в эти общения — рассеял он свое внимание, поступил вопреки своей натуре».

Я думаю, что такой подход поможет как-то оправдать и неудачу Роберта Поварницына на соревнованиях в Токио. Все-таки первые крупные соревнования у него за рубежом. Все-таки шел дождь, мешающий разбегу. И еще должен сказать, что в последние годы ни один из лучших прыгунов мира не избежал нескольких турнирных провалов. Трехкратный мировой рекордсмен Цзяньхуа, например, проиграл чемпионат мира, Олимпийские игры.

Рекордсменом по всем статьям был Валерий Брумель: шесть раз он покорял планку на высоте мирового рекорда. Еще один его рекорд: за четыре года,

участвуя в ста с лишним турнирах, Брумель проиграл всего лишь трижды: Джону Томасу, Роберту Шавлакадзе, Виктору Большову. У нынешних восходителей на рекордные высоты этой стабильности нет. Последним из фаворитов-высотников, не знавшим поражений, был Владимир Яценко. Кстати, он и был последним из мировых рекордсменов, прыгавших стилем «перекидной».

Только ли в уязвимости стиля причина спадов у блистательных фаворитов? Что скажет на это надежнейший из прыгунов Валерий Брумель? Он знал секреты борьбы: если прыгал низко, заставлял соперника прыгать еще ниже...

— Хлюпки они, — говорит он о своих преемниках. — Разбег делают по синтетической дорожке, приземляются на «воздушную подушку» — чего им не хватает? Характера не хватает!!

Этот же вопрос я задал и еще одному олимпийскому чемпиону и экс-рекордсмену мира — Яцеку Вшолу, который, как известно, продолжает еще выступать на турнирах.

— Чем выше вершина, тем труднее на ней удержаться. — Яцек вздыхает, вспоминая, наверное, и свои срывы. — И еще я думаю, что теперь молодые прыгуны не так дорожат первенством, властью — им важно, им достаточно всего один раз прославиться на весь мир. Они не отличаются спортивной жадностью, как не отличаются и большой спортивной злостью.

Мне лично более импонирует объяснение Яцека Вшолы.

Но все-таки когда же кто-нибудь перепрыгнет через футбольные ворота?

Игорь Паклин говорит: «245 будут преодолены в ближайшие два года. 250 — рубеж следующего поколения прыгунов. Чтобы взлететь на такую высоту, нужно взойти на новую ступень общефизической и волевой подготовки».

А я думаю, что уже от этих ребят в любой миг можно ждать чего-нибудь такого...

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЯНА ЦАПЛИНА

Так сложилось, что «Хрустальный тюльпан» — специальный приз «Юности», ежегодно вручаемый самой артистичной участнице Кубка СССР по художественной гимнастике, до сих пор доставался звездам нашей гимнастики. Но на этот раз его обладательницей стала четырнадцатилетняя Яна Цаплина из Баку, имя которой еще мало что говорит любителям спорта.

Яна была приглашена на эти соревнования в числе сильнейших юных гимнасток страны. Каждый выход бакинской школьницы трибуны встречали аплодисментами. А она, по всему чувствовалось, очень хотела понравиться зрителям: была лукава и заразительно весела в одном упражнении, темпераментно и подчеркнуто гротескна в другом. Яна никому не подражала и в самых непредвиденных обстоятельствах оставалась сама собой — самой обаятельной и артистичной гимнасткой Кубка.

Специалисты предсказывают новой обладательнице нашего «Хрустального тюльпана» большое будущее.

В. НАЙПАК



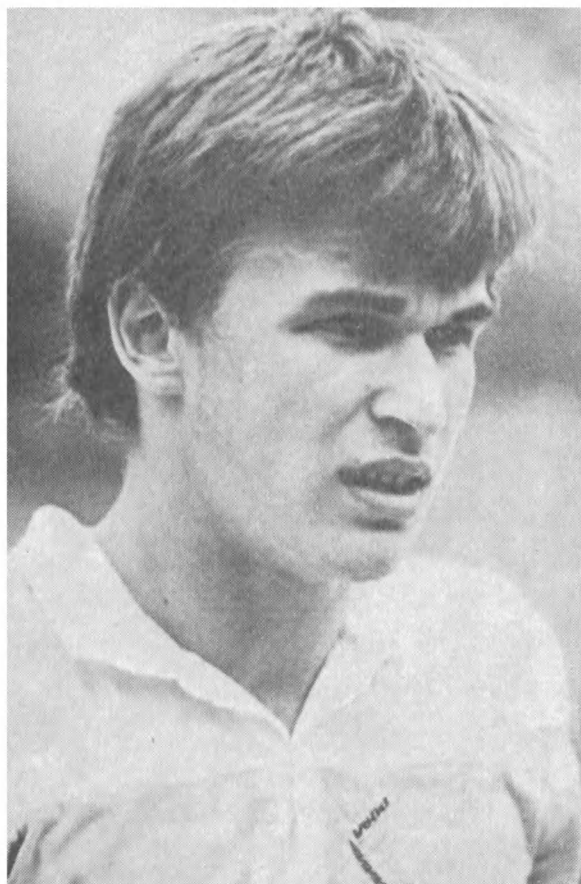
И ВНОВЬ— АНДРЕЙ ЧЕСНОКОВ

Прошедшим летом многие, даже далекие от тенниса люди, увидев на телеэкране, как 17-летний Борис Беккер из ФРГ выигрывал Уимблдонский турнир, долго пребывали под впечатлением столь раннего и яркого торжества незаурядной личности. Отметим также, что за долгую историю этого славного турнира впервые его победителем стал «несеянный» игрок, то есть обреченный жеребьевкой наткнуться в каждом круге на более именитых соперников.

Но если бы наше телевидение показало и осенний матч Кубка Дэвиса на кортах Буэнос-Айреса, где решался вопрос, останется ли наша команда в высшей лиге этого престижного теннисного марафона, то, риску сказать, у многих возник бы вопрос: а не появился ли у нас «свой Беккер»? Дело в том, что герой этого матча, 19-летний Андрей Чесноков, стоявший в ту пору в мировой теннисной классификации под номером 201, убедительно победил в Буэнос-Айресе двух недостижимых, казалось бы, для него соперников.

Год назад «Юность» уже рассказывала об этом многообещающем теннисисте. Остается добавить, что в конце октября Андрей Чесноков впервые выиграл звание чемпиона страны и намерен всю эту зиму посвятить усиленным тренировкам на «быстрых» кортах — ему не дает покоя триумф реактивного Беккера.

Ю. ЛЕОНИДОВ



АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ

ИРОНИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Лауреат Государственной премии СССР Анатолий Преловский известен читателям как автор эпических поэм. Его произведения отмечены высоким поэтическим мастерством. Однако не все знают, с каким трудом оно достигается. Стремясь к совершенству, А. Преловский крайне придирчив к своей работе. Он беспощадно вычеркивает каждое лишнее слово, каждый разонравившийся ему эпитет. Временами тут он перегibtает палку, и дело доходит до того, что количество вычеркнутых строк значительно превышает количество оставшихся. Когда ему хочется вычеркнуть что-нибудь еще, да больше уже нечего, А. Преловский в отчаянии зачеркивает обозначение «поэма» и вместо него пишет более точное — «ироническая миниатюра». Так появляются произведения нового жанра и осваивается смежная профессия.

ВОЗРАСТНОЕ

Футбольный мяч
был опытен и стар:
он отвечал шипеньем
на удар.

УЛИТКА

Достославная улитка
мало что идет неспрытко,
но зато и не всегда
знает: как? зачем? куда?



ПОЛЕНЬЯ

Смолистые поленья
на службе у котла
достойны поощренья,
когда сгорят дотла.

ТОЖЕ НАСТАВНИК

Жил высоко и нелюдимо,
но думал, что необходимо
раз в год спускаться
к молодым,
чтоб их стихи развеять в дым.

ОПТИМИСТ

Все ему, молчуну, нипочем...
А жена удрала с трепачом.

ЛЮБИТЕЛЬ

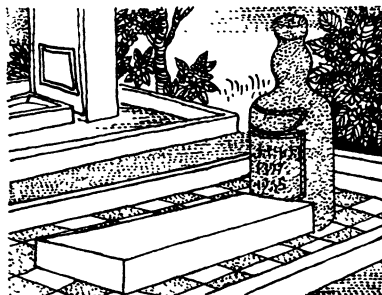
Любил описанья:
как сеяли, жали,
но сам не любил он ни сеять,
ни жать.
Любил, чтоб любовью
его окружали,
но сам никого не спешил
окружать.

ХОРОШИЕ ЗАДАТКИ

«Не такой я плохой!» —
уверяет...
(Два достоинства у подлеца:
если пьет — головы не теряет,
если врет — не теряет лица.)

НЕИЗЛЕЧИМЫЙ

Пил и помер — и в земле
пребывал навеселе.



НАСТАВЛЕНИЕ

Лишь доживши до седины,
ты поймешь, мой дорогой,
что один в душе — один,
а другой в душе — другой.

ОКНО

Если ты в мир
прорубаешь окно,
не думай,
что двери заменит оно.



ЧТО ЗА МОДА

Что за мода? Что за жизнь?
Что за люди завелись?
Предлагаешь никотин,
отвечают: «Не хотим!»
Предлагаешь алкоголь,
отвечают: «Ах, уволы!»
Что еще вам предложить?
Отвечают: «Долго жить!»

ЗЕБРА

Грустно зебре неспроста —
ей помочь никто не волен:
зебра даже и на воле
в шкуру-клетку заперта.

ЛЕСНОЙ ЗАКОН

Дальше в лес — больше дров,
кто же спорить станет?
Но учти, закон суров:
если будет больше дров:
леса меньше станет.

ИСКУШЕННОСТЬ

Паразита паразит
новизной не поразит

УРОК НЕ ВПРОК

Попугая научили
не по-птичьи говорить...
Скажет он, чему учили,—
людям стыдно повторить.

МОРЕ

Море прачку разочаровало:
соли много, синьки мало.

ГОРОДСКАЯ РЫБКА

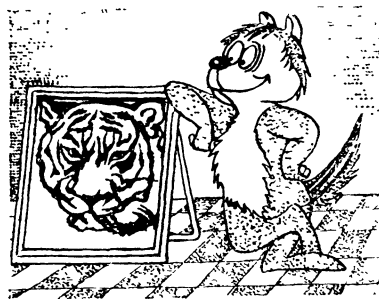
Близ цементного завода
весельчак-пескарь живет,
неживую эту воду
малой родиной зовет:
«Я в цементе, как в броне,
зубы щуки — не по мне».

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Ужас к Ужасу ходил —
Ужас в ужас приводил.

БУРУНДУК

Думал: «Если полосат,
значит, тигру старший брат...»
Ну, а кто о том не знает,
тот бедягу забирает.



ТОЖЕ ЛЮБОВЬ

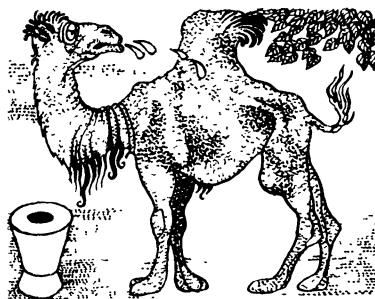
Мать уж так детей любила:
чем ни попада лупила —
не жалела «ласки» им.
Била, била, добивалась,
чтобы к старости осталась
с одиночеством своим.

ЮНОСТИ ЗЕРЦАЛО

Юнцу к лицу
не подражать
отцу,
но стыдно для юнца —
не продолжать
отца.

ВЕРБЛЮД

Наплевательски живет:
свысока на всех плюет —
в небо, наземь, на ребят
и на то, что сам горбат.



ЗЕМЛЕПРОХОДЧЕСКОЕ

Куда
не ступала
нога
человека,
туда
досягала
рука
человека.

ПАУК

Приходил ко мне паук
без звонка, как старый друг.

Как придет, придет, придет,
так плетет, плетет, плетет.

А прогонишь паука —
без него опять тоска.

СОВЕТ НЕУДАЧНИКУ

Глупая женщина
с умной улыбкой
умно поступит —
уйдет с дураком...
Ты не считай это
личной ошибкой,
а помолись PROVIDENY тайком,
что не осталась с тобой,
дураком.

ПОГОВОРКА С ОГОВОРКОЙ

«Пасти не умеешь —
за кнут не берись!..»
Пастушеский принцип
да в нашу бы жизнь.

Рисунки В. Лосева

БЕРИТЕ В РУКИ КАРАНДАШ...

Уважаемые писатели и читатели! В этой колонке помещено серьезное, совершенно юмористическое сообщение.

Ни для кого не секрет, что на наших сатирических страницах публикуются разнообразные произведения. Каждое из них «Зеленому портфелю» по своему дорого. И тем не менее журнал хотел бы высказывать отношение к их качеству более определенно. В связи с этим мы решили вручать в конце года ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Отныне авторы всех публикаций с января по декабрь каждого года считаются участниками постоянно действующего конкурса «Зеленого портфеля» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Цель конкурса — дальнейшее повышение художественного уровня произведений и рост материального благосостояния их создателей.

Но это еще не все. Хорошо известно, что разного рода премии и призы имеют оригинальные названия. Достаточно вспомнить литературную премию «Клуба ДС» — «Золотой теленок», «Серебряную салатницу» для теннисистов или «Хрустальный глобус» кинофестиваля в Карловых Варах.

«Зеленый портфель» тоже хочет как-то обозвать свою премию и объявляет конкурс на лучшее название.

Название должно быть кратким, остроумным и отражать полное пренебрежение нашего отдела к драгоценным камням и металлам.

В конкурсе могут участвовать все, кому не лень. Свои предложения присылайте на открытках с пометкой «Премия-86». Срок отправления — 30 марта сего года (пусть у вас останется еще денек для подготовки юмористического пороха к 1 апреля).

Нужно ли добавлять, что автор названия премии автоматически становится ее первым обладателем.

Председатель
и единственный член жюри
Галка ГАЛКИНА



Под этой рубрикой в «Зеленом портфеле» будут публиковаться произведения начинающих сатириков, дебютантов нашего журнала. Думается, генезис такого названия понять легко. Он обусловлен двумя причинами. Во-первых, ощущения авторов подобных публикаций в чем-то сродни чувствам Наташи Ростовской, обуреваемой ею в связи с первым балом. Во-вторых, каждая публикация служит в активе автора зачетным баллом для получения в дальнейшем звания мастера, а возможно, чем черт не шутит, и гроссмейстера сатиры.

ВЛАДИСЛАВ ДЬЯКОВ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ

[Краткое содержание типового сценария
молодежной лирической комедии]

В маленьком провинциальном городке (далеком поселке, высоких горах, затеряншемся селе, за Полярным кругом) живет никому не известная некрасивая (неказистая, невзрачная, местами конопатая) девочка, страстно мечтающая стать знаменитой киноактрисой (эстрадной певицей, артисткой оригинального жанра, солисткой ансамбля Мойсеева). Все смеются над мечтой Лены. Все, кроме ее одноклассника Алеши, который видит, что под угловатой (нескладной, мешковатой, зачуханной) внешностью Лены скрывается талант синтетической актрисы.

Готовясь к осуществлению своей мечты, Лена не теряет зря времени. Для устранения врожденного дефекта (правая нога немного короче левой) Лена передвигается по улице и дома исключительно при помощи роликовой доски, а для придания прямым от рождения ногам классической балетной формы тайно катается на лошадях соседнего колхоза (совхоза, конезавода), через что и конфликтует с его руководством. «Пора силос развозить, а ты, поди, жеребца загнала. Эвон как дышит-то», — выговаривает ей директор, но уже ничто не может остановить Ленку в ее безумном желании поступить в театральное училище. Здесь и проявляется ее бойцовский характер. Для исправления дефекта речи (ведь Лена не выговаривает 24 буквы алфавита), вместо привычных леденцов она постоянно перекатывает во рту камни. Зритель чувствует, что этот гадкий утенок еще непременно покажет кое-что (кое-кому, кое-где).

А вот и сцена приема в театральное училище. Конкурс: пятьсот человек на одно место. Но это не радует умудренного председателя приемной комиссии. Он ищет Талант среди полутысячи детей маститых мастеров сцены. «Как ду-

маешь, Петровна, будет нынче самородок?» — обращается он к своему заму. «А как не быть-то, — отвечает та, — уж третий год как ищем. Только не пропустить бы, узнать». А в это время Лена, едва не загнавши лучшего жеребца, успевает к последнему туру. Перед горячим конем расступаются дети народных и заслуженных, и через образовавшийся коридор Лена верхом въезжает на сцену и с ходу читает монолог Жанны д'Арк на французском языке с английским акцентом. Строгая приемная комиссия ошеломлена творческим напором босоногой девочки. Всем становится ясно: да, это Актриса. У председателя комиссии от нахлынувших чувств запотевают очки, сквозь которые он (и зритель) уже видят будущую актрису, исполняющую веселую песенку (шуточный танец, комплекс упражнений производственной гимнастики) на трапеции, подвешенной к куполу цирка (летающему дельтаплану, парящему высоко в небе орлу), а затем ныряющую в воду, где ее подхватывает дельфин (голубая акула, матрос со спасательного катера «Шустрый»), на спине которого (которой) она и заканчивает песенку (танец, производственную гимнастику).

И, наконец, хэппи энд. К служебному входу концертного зала, где дает свой моноспектакль Лена, а теперь уже знаменитая актриса Елена Петровна, подъезжает Алеша, а теперь уже капитан второго ранга Алексей Елисеевич. В прицепе его «Жигулей» — один миллион алых роз. Уловив запах и зная веселый характер Алеши, Лена догадывается о шутке, которую он ей приготовил. «Миллион?» — спрашивает она Алешу. «Сам считал», — смущенно отвечает он и по-братски целует ей руку. «Тогда спасибо», — уже посерьезнев, говорит Лена и крепко, поговорицески целует его в губы.

ЮРИЙ ШАНИН

БЕЗ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКИ

Опыт стихотворной рецензии

Трудясь, поют насмешники
скворцы.

А я дела важнейшие оставил
И наслаждаюсь книжкой

«Бубенцы»

(Издат. «Сов. пис.».

Создатель — Хмара Павел).

Заглавье — мысли авторской
венец —

Подсказано не только лит.
делами:

Порой веселый, легкий бубенец
Соперничает и с колоколами!

Наш пародист, взволнован,
как жених,

Подъехав к сорока
и двум поэтам,

Сказал им все, что думает
о них.

Оставшись очень вежливым
при этом.

Ирония не причиняет вред,
Изъяны изживая без изъяна...

А. В. Кафанов — этой книги ред.
Художник — Константинова

Татьяна.

И снова вспомню, как
«весны гонцы»,

В сравнении с орлами — вроде б
крохи,

Тон задают
насмешники скворцы —

Пернатые шуты и скomorохи.
Разит пороки ироничный

стих,

Его объекты ощущают женье...
Когда ж последней строчки

я достиг,

То завопил: «А где же
продолжение?!»

Но наш шутник, с нешуточной
мольбой

Во взоре, спросил
и скорбно замер:

«Скажи, читатель,
сдал ли я экзамен

На право быть прочитанным
тобой?»

Так хорошо вещает о плохом
Поэт-сатирик (море обаяния!),

Что я свой отзыв выразил
стихом,

Подвергнувшись могучему
влиянию.

г. Киев.

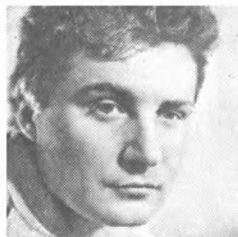
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПОЛЕВОГО



Жюри конкурса
на соискание премий
имени **БОРИСА ПОЛЕВОГО**
в области прозы,
поэзии, публицистики,
критики
рассмотрело произведения,
опубликованные
в 1984—1985 гг.

Премии присуждены:

ВАЛЕРИЮ ПОВОЛЯЕВУ
за повесть «Игорь и Ирина»
№ 2, 1985 г.



ЮРИЮ ПОЛЯКОВУ
за повесть
«ЧП районного масштаба»
№ 1, 1985 г.

КИМУ СЕЛИХОВУ
за повесть
«В сердце афганских гор»
№10, 1985 г.



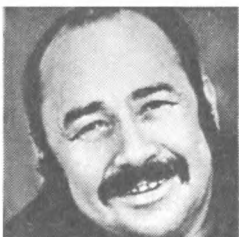
РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ
за цикл стихов
№ 6, 1985 г.

ЕВГЕНИЮ ЕВТУШЕНКО
за цикл стихов
№ 9, 1985 г.



ЛЮБОМИРУ ЛЕВЧЕВУ
(Народная Республика Болгария)
за цикл стихов
№ 8, 1985 г.

ГРИГОРИЮ ПОЖЕНЯНУ
за цикл стихов
№ 12, 1984 г.



ЮРИЮ БЕЛЯВСКОМУ
за очерки
«Спасатель» № 9, 1985 г.,
«Рецепт успеха», № 12, 1985 г.

АЛЛЕ КИРЕЕВОЙ
за критические статьи
последних лет



РОЛАНУ БЫКОВУ
за статью
«До и после «Чучела»
№ 9, 1985 г.

Лауреаты награждаются памятными медалями и почетными дипломами.
«Юность» сердечно поздравляет своих лауреатов
и желает новых творческих успехов.

Юность. 1986 г. № 1. 1—112

Индекс 71120

Цена 70 коп.

